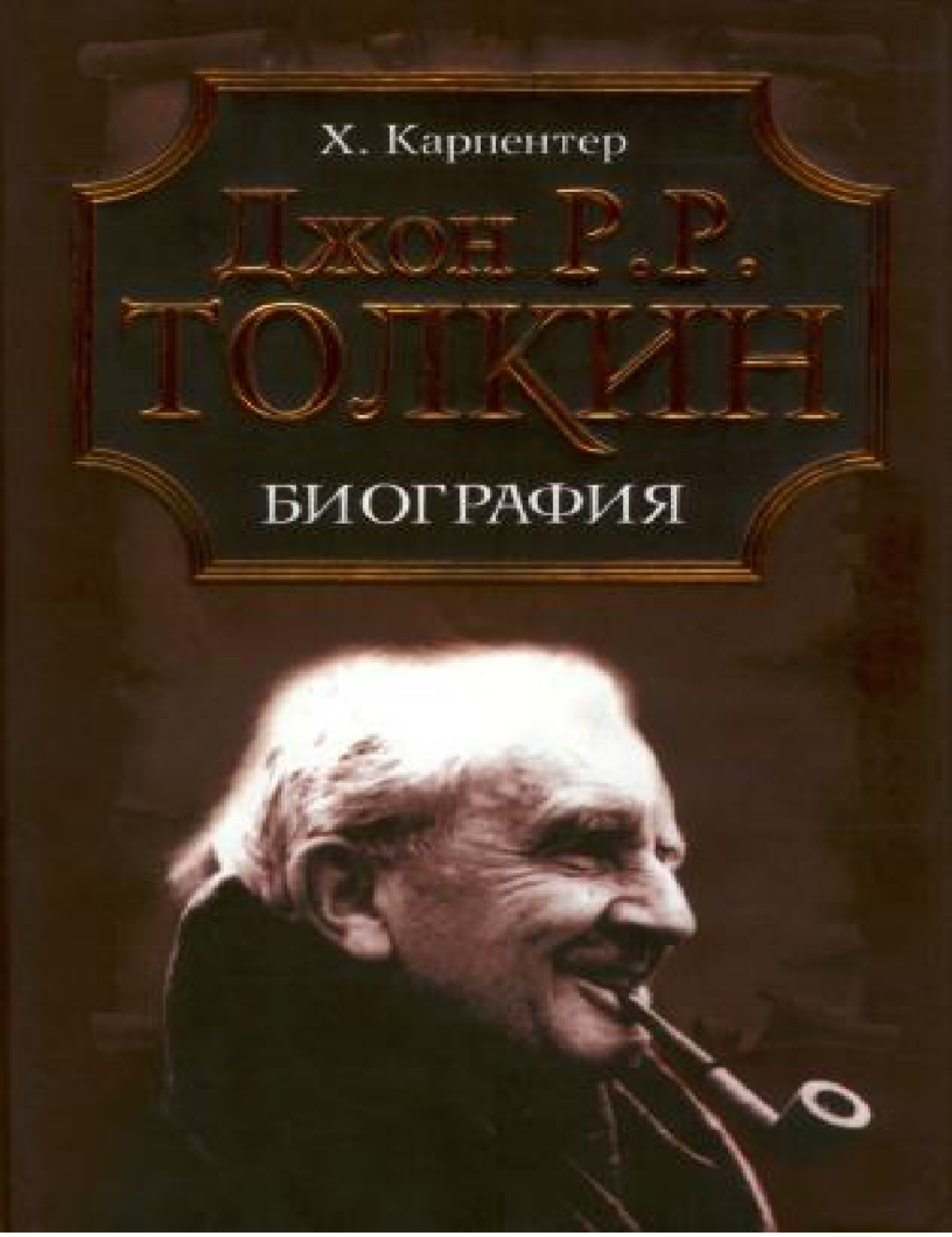
Х. Карпентер

Джон Р.Р. Толкин

Биография



SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Впервые на русском языке подробная и достоверная биография культового писателя XX века.

Сам Толкин не очень–то одобрял биографии. Точнее сказать, ему не нравилось, когда биографию превращают в разновидность литературоведческого исследования. «Я абсолютно уверен, что изучать биографию автора ради того, чтобы понять его труды, — пустое дело». Однако он не мог не сознавать, что, раз его произведения пользуются такой колоссальной популярностью, вероятность написания биографии после его смерти весьма велика. И, похоже, Толкин понемногу сам собирал материалы для своей будущей биографии: старые письма и бумаги он снабдил своими комментариями. Кроме того, он написал несколько страниц воспоминаний о своем детстве. Так что есть надежда, что он все же не был категорически против выхода этой книги. Но его настоящая биография — это «Хоббит», «Властелин Колец» и «Сильмариллион», ибо истинная правда о нем содержится в этих книгах. Он мог посмеяться над кем угодно, но чаще всего смеялся над собой. Один раз на новогодней вечеринке в тридцатые годы Толкин накрылся каминным ковриком из исландской овчины, вымазал лицо белой краской и изображал белого медведя. В другой раз он оделся англосаксонским воином, вооружился боевым топором и вышел погоняться за ошарашенным соседом.

В старости он любил подсовывать рассеянным продавцам вместе с горстью мелочи свою вставную челюсть. «Юмор у меня простоватый, — писал он, — и даже самые доброжелательные критики находят его утомительным».

- ДЖОН Р. Р. ТОЛКИН. БИОГРАФИЯ
  - ПРИМЕЧАНИЕ АВТОРА
  - Часть 1
  - Часть 2
    - Глава 1
    - Глава 2
    - Глава 3
    - Глава 4
    - Глава 5
    - Глава 6
    - Глава 7
    - Глава 8
  - Часть 3
    - Глава 1

- Глава 2
- Глава 3

○ Часть 4
- ■
- Глава 1
- Глава 2
- Глава 3
- Глава 4
- Глава 5
- Глава 6

○ Часть 5
- Глава 1
- Глава 2

○ Часть 6
- Глава 1
- Глава 2
- Глава 3

○ Часть 7
- Глава 1
- Глава 2
- Глава 3

○ Часть 8

○ ПРИЛОЖЕНИЯ
- КРАТКОЕ ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОЕ ДЕРЕВО
- ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ ЖИЗНИ ДЖ. Р. Р. ТОЛКИНА
- ИСТОЧНИКИ И ЛЮДИ, ПОМОГАВШИЕ МНЕ В РАБОТЕ НАД КНИГОЙ

ДЖОН Р. Р. ТОЛКИН. БИОГРАФИЯ

ПРИМЕЧАНИЕ АВТОРА

Эта книга основана на письмах, дневниках и других бумагах покойного профессора Дж. Р. Р. Толкина, а также на воспоминаниях его родных и близких.

Сам Толкин не очень–то одобрял биографии. Точнее сказать, ему не нравилось, когда биографию превращают в разновидность литературоведческого исследования. «Я абсолютно уверен, — писал он в свое время, — что изучать биографию автора ради того, чтобы понять его труды, — дело пустое». Однако он не мог не сознавать, что, раз его произведения пользуются такой колоссальной популярностью, вероятность написания биографии после его смерти весьма велика. И похоже, Толкин понемногу сам собирал материалы для этой будущей биографии: в последние годы жизни он снабдил множество старых писем и прочих бумаг пояснениями и комментариями. Кроме того, он написал несколько страниц воспоминаний о своем детстве. Так что есть надежда, что он все же не был бы категорически против выхода этой книги.

Я со своей стороны старался просто рассказать о жизни Толкина, не пытаясь обсуждать его литературные произведения. Я придерживался этого подхода отчасти из уважения к взглядам самого Толкина, но еще и потому, что первая увидевшая свет биография писателя представляется мне не самым подходящим местом для критики его книг. В конце концов, такие суждения зачастую говорят не столько об их предмете, сколько о самом критике. Тем не менее я все же попытался обрисовать некоторые литературные и иные впечатления, которые не могли не оказать влияния на творчество Толкина, в надежде, что это прольет новый свет на его книги.

Х. К.

Оксфорд, 1976

Часть 1
ВИЗИТ

1967 год, весеннее утро. Я выехал из центра Оксфорда, через мост Магдалины, по лондонскому шоссе, поднялся на холм — и очутился в респектабельном, но унылом пригороде Хедингтоне. У большой женской частной школы я сворачиваю налево, на Сэндфилд–Роуд, улицу, застроенную двухэтажными кирпичными коттеджами, перед каждым из которых разбит аккуратный палисадничек.

Дом номер семьдесят шесть расположен довольно далеко. Стены дома выбелены, и с улицы его почти не видно: его заслоняют высокий забор, зеленая изгородь и разросшиеся деревья. Я ставлю машину у обочины, открываю калитку с арочкой, и короткая дорожка, идущая меж розовых кустов, приводит меня к дверям. Я звоню. Довольно долго стоит тишина, слышится только отдаленный шум машин на шоссе. Я уже начинаю прикидывать, позвонить еще раз или уйти, когда дверь открывается. Меня встречает профессор Толкин.

Он ниже, чем я думал. В своих книгах он придает большое значение высокому росту, и теперь я слегка удивлен, обнаружив, что сам он — даже ниже среднего, не намного, но достаточно, чтобы это было заметно. Я представляюсь. О моем визите было договорено заранее, меня ждали, а потому вопросительный и немного настороженный взгляд, которым меня встретили, сменяется улыбкой. Мне протягивают руку и приветствуют крепким рукопожатием.

За спиной хозяина виднеется прихожая — маленькая, чистенькая, именно такая, какую ожидаешь увидеть в доме престарелой супружеской четы, принадлежащей к среднему классу. У. Х. Оден необдуманно назвал этот дом «кошмарным» — его замечание потом цитировали в газетах, — но это чепуха. Обыкновенный пригородный коттедж. Ненадолго появляется миссис Толкин, поприветствовать меня. Она пониже мужа, аккуратная пожилая леди с гладко зачесанными седыми волосами и темными бровями. Мы обмениваемся любезностями, а потом профессор выходит на улицу и ведет меня в свой «кабинет», расположенный рядом с домом.

Кабинет оказывается не чем иным, как гаражом. Впрочем, машины тут нет и в помине — хозяин поясняет, что машины не держит с начала Второй мировой, а когда вышел на пенсию, переоборудовал гараж под кабинет и перенес сюда свои книги и

бумаги, которые прежде хранились в его кабинете в колледже. Полки забиты словарями, книгами по этимологии, по филологии и изданиями текстов на множестве языков — больше всего древнеанглийских, среднеанглийских и древнеисландских, но несколько полок заставлены переводами «Властелина Колец»: польский, голландский, датский, шведский, японский; а к подоконнику приколота кнопками карта выдуманного им «Средиземья». На полу — старый–престарый чемодан, набитый письмами, на столе — чернильницы, металлические перья, перьевые ручки–вставочки и две пишущие машинки. Пахнет книгами и табачным дымом.

Здесь не особенно уютно. Профессор извиняется за то, что принимает меня тут, и объясняет, что в комнате, служащей ему кабинетом и спальней, где он в основном и работает, чересчур тесно. Впрочем, говорит он, все равно это все временное — Толкин надеется, что вскоре ему удастся завершить хотя бы основную часть большого труда, обещанного издателям, и тогда они с миссис Толкин смогут позволить себе переехать в дом поуютнее, в более приятной местности, подальше от докучливых посетителей… Тут он несколько смущается.

Я пробираюсь мимо электрокамина и по приглашению хозяина усаживаюсь в старинное кресло. Он достает трубку из кармана твидового пиджака и принимается объяснять, почему он может уделить мне не больше нескольких минут. В другом углу комнаты громко тикает блестящий голубой будильник, как бы подчеркивая, что время дорого. Толкин сообщает, что ему нужно ликвидировать вопиющее противоречие в одном месте из «Властелина Колец», на которое указал в письме кто–то из читателей, — дело срочное, потому что исправленное издание вот–вот пойдет в печать. Он объясняет все это очень подробно и говорит о своей книге так, словно это не его собственное сочинение, а хроника реальных событий; такое впечатление, что он воспринимает себя не как автора, сделавшего малозначительную ошибку, которую надо либо ликвидировать, либо как–то разъяснить, а как историка, которому предстоит пролить свет на темное место в историческом документе.

Похоже, он думает, что я знаю книгу так же хорошо, как и он сам. Это несколько выбивает из колеи. Нет, конечно, я ее читал, и даже несколько раз, — но профессор говорит о деталях, о которых я не имею никакого представления или, по крайней мере, весьма смутное. Я побаиваюсь, что он вот–вот задаст мне какой–нибудь каверзный вопрос, который раскроет всю глубину моего невежества. И вот вопрос действительно задан — но, по счастью, он чисто риторический и явно не требует ничего, кроме

подтверждения.

Я все еще нервничаю. А вдруг за этим вопросом последуют другие, куда более сложные? Нервозность моя еще более усиливается от того,что я разбираю далеко не все из сказанного профессором. Голос у него странный: низкий, глухой; произношение чисто английское, но с каким–то странным оттенком, а с каким — трудно сказать. Такое впечатление, что этот человек принадлежит иному веку или иной культуре. Однако большую часть времени профессор говорит довольно невнятно. Он горячится, выпаливает слова залпами. Целые фразы съедаются, комкаются, теряются в спешке. Время от времени хозяин теребит губы рукой, отчего речь его становится еще менее разборчивой. Он изъясняется длинными сложноподчиненными предложениями, почти не запинаясь, — но внезапно останавливается. Следует длительная пауза. Видимо, от меня ждут ответа. Ответа на что? Если тут прозвучал вопрос, я его не расслышал… Внезапно профессор снова начинает рассуждать (так и не закончив предыдущего предложения). Он с пафосом завершает свою речь. На последних словах он сует в рот трубку, договаривает сквозь стиснутые зубы и, поставив точку, чиркает спичкой.

Я лихорадочно пытаюсь придумать, что бы такого умного сказать. Но профессор снова принимается говорить, прежде чем я успеваю найти подходящий ответ. По какой–то тонкой, одному ему понятной ассоциации он начинает обсуждать замечание в какой–то газете, которое его разгневало. Тут я наконец вижу возможность поучаствовать в разговоре и вставляю что–то, что, как я надеюсь, звучит достаточно умно. Профессор выслушивает меня с вежливым интересом и отвечает весьма пространно, подхватывая мое высказывание (на самом деле довольно тривиальное) и развивая его, так что в конце концов мне начинает казаться, будто я и впрямь сказал нечто стоящее. Потом снова перескакивает на какую–то новую тему, и я опять теряюсь. Я могу лишь односложно поддакивать тут и там; однако мне приходит в голову, что, возможно, мною дорожат не только как собеседником, но и как слушателем. Во время разговора он непрерывно двигается, расхаживает взад–вперед по темной комнатушке, с энергичностью, смахивающей на непоседливость. Он жестикулирует трубкой, выколачивает ее о край пепельницы, снова набивает, чиркает спичкой, раскуривает, но делает не больше нескольких затяжек. У него небольшие, аккуратные, морщинистые руки, на среднем пальце левой руки — простенькое обручальное кольцо. Одежда немного помята, но сидит на нем хорошо. Ему семьдесят шестой год, но под пуговицами яркого

жилета — лишь намек на брюшко. Я почти все время, не отрываясь, смотрю ему в глаза. Временами профессор рассеянно обводит глазами комнату или смотрит в окно, но то и дело оборачивается ко мне — то искоса глянет в мою сторону, то, сказав что–то важное, вопьется в меня взглядом. Вокруг глаз — морщинки и складки кожи, которые непрестанно двигаются, подчеркивая любую перемену настроения.

Поток слов ненадолго иссякает — профессор вновь раскуривает трубку. Я улучаю момент и сообщаю наконец, зачем пришел, — хотя теперь цель моего визита кажется уже не важной. Однако Толкин реагирует с большим энтузиазмом и внимательно меня выслушивает. Завершив эту часть разговора, я поднимаюсь, чтобы уйти, — но, очевидно, хозяин не рассчитывает, что я отбуду прямо сейчас, потому что он снова начал говорить. Он снова рассуждает о своей собственной мифологии. Его взгляд завороженно устремлен куда–то вдаль. Похоже, хозяин вовсе забыл о моем присутствии — он сунул трубку в рот и говорит сквозь зубы, не отпуская мундштука. Мне приходит в голову, что со стороны Толкин — вылитый оксфордский «дон», рассеянный профессор, какими их изображают в комедиях. Но на самом деле он совсем не такой! Скорее похоже, будто некий неведомый дух прикинулся пожилым оксфордским профессором. Тело может расхаживать по тесной комнатенке в пригороде Оксфорда, но мысль — далеко отсюда, бродит по равнинам и горам Средиземья.

А потом беседа заканчивается. Меня выпускают из гаража и торжественно провожают к калитке напротив входной двери, объясняя, что ворота приходится держать запертыми на амбарный замок, чтобы болельщики, приехавшие смотреть футбол на местный стадион, не ставили машины на дорожке, ведущей к дому. К моему немалому удивлению, меня приглашают заходить еще. Только не сейчас: они с миссис Толкин оба приболели и к тому же уезжают отдохнуть в Борнмут, и работа стоит вот уже несколько лет, и куча писем, на которые надо ответить… «Но вы все равно заходите!» Профессор пожимает мне руку и немного потерянно удаляется в дом.

Часть 2
1892–1916: ЮНЫЕ ГОДЫ

Глава 1
БЛУМФОНТЕЙН

В один из мартовских дней 1891 года пароход «Рослин–Касл» отплыл из Англии в Кейптаун, На кормовой палубе парохода стояла и махала провожавшим ее родственникам, вновь увидеть которых ей предстояло не скоро, хрупкая миловидная девушка двадцати одного года от роду. Мэйбл Саффилд отправлялась в Южную Африку, чтобы выйти замуж за Артура Толкина.

Это был поворотный пункт в ее жизни, с какой стороны ни взгляни. Позади оставался Бирмингем, туманы, семейные чаепития.

Впереди ждала неведомая страна, вечно палящее солнце и брак с мужчиной, который был на тринадцать лет старше ее.

Мэйбл была еще очень молода, но замуж собиралась давно: девушка приняла предложение Артура три года назад, вскоре после своего восемнадцатого дня рождения. Однако отец в течение двух лет не позволял заключить официальную помолвку, говоря, что его дочь еще слишком молода. Так что они с Артуром могли только втихомолку обмениваться письмами, а встречались лишь на семейных вечеринках, под пристальным наблюдением всей родни. Письма Мэйбл доверяла своей младшей сестре Джейн, которая передавала их Артуру на платформе Нью–Стрит–Стейшн в Бирмингеме, по дороге из школы домой, в пригород, где жили Саффилды. А на семейных вечеринках обычно занимались музицированием, и Артур с Мэйбл лишь украдкой обменивались взглядами. В лучшем случае удавалось соприкоснуться рукавами, пока Артуровы сестры играли на фортепьяно.

Фортепьяно, разумеется, было толкиновское — одно из тех пианино, что выпускались на фабрике, на которой семейство Толкинов составило свое скромное состояние. На крышке красовалась надпись: «Надежное фортепьяно: сделано с расчетом на суровые климатические условия»; однако фабрика перешла в другие руки, отец Артура обанкротился, и у него не осталось дела, которое можно было бы передать сыновьям. Артур пытался сделать карьеру в «Ллойдз банк» [Один из крупнейших коммерческих банков; основан в 1865 году. (Здесь и далее примечания без указания авторства принадлежат переводчику.)], но возможности для продвижения по службе в бирмингемском отделении представлялись нечасто. Артур понимал, что, если ему придется содержать жену и семейство, необходимо подыскать

что–нибудь еще. И он обратился мыслями к Южной Африке. Обнаруженные там золото и алмазы вызвали бурный расцвет банковского дела, и перед служащими открывались большие перспективы. Так что менее чем через год после того, как Артур сделал предложение Мэйбл, он получил место в Африканском банке и отплыл в Кейптаун.

Инициатива Артура вскоре была вознаграждена. В течение первого года ему приходилось много ездить: его посылали в разные временные отделения банка в городах, расположенных между Кейптауном и Йоханнесбургом. Молодой человек хорошо себя зарекомендовал и в конце 1890 года был назначен менеджером крупного банковского филиала в Блумфонтейне, столице Оранжевой республики. Ему предоставили дом, жалованье было приличное, так что Артур наконец мог позволить себе жениться. В конце января 1891 года Мэйбл отпраздновала свой двадцать первый день рождения, и не прошло и двух месяцев, как она взошла на борт «Рослин–Касл» и отплыла в Южную Африку, к Артуру. Ее отец наконец благословил их брак.

Или, точнее будет сказать, смирился с неизбежным. Джон Саффилд был человек гордый. В частности, он весьма гордился своим происхождением — возможно, потому, что больше ему гордиться было особенно нечем. Некогда он владел процветающим магазином тканей в Бирмингеме, но теперь обанкротился, как и отец Артура Толкина. Ему приходилось зарабатывать себе на жизнь в качестве коммивояжера, торгуя дезинфицирующими средствами «Джейз» [Фирменное название дезинфицирующих и моющих средств одноименной компании]. Однако потеря состояния заставила его лишь сильнее гордиться своими предками — старым, почтенным семейством из Мидленда, центральных графств Англии. А кто такие эти Толкины? Какие–то немецкие иммигранты, прожившие в Англии всего несколько поколений. Разве это достойная пара для его дочери?

Но если Мэйбл и размышляла о чем–то подобном в течение всего трехнедельного путешествия, в тот день в начале апреля, когда пароход вошел в гавань Кейптауна, она уж точно думала не об этом. На пристани ее ждал красивый мужчина в белом костюме, с роскошными усами, которому вряд ли можно было дать его тридцать четыре сейчас, когда он с волнением высматривал в толпе свою драгоценную Мэб.

Артур Руэл Толкин и Мэйбл Саффилд обвенчались в центральном соборе Кейптауна 16 апреля 1891 года, а медовый месяц провели в отеле в Си–Пойнте, неподалеку от Кейптауна. А потом — утомительная семидесятимильная поездка по железной

дороге в столицу Оранжевой республики и дом, первый и единственный дом, где Мэйбл суждено было жить с Артуром.

Блумфонтейн возник за сорок пять лет до того как крохотная деревушка. Да и сейчас, в 1891–м, он был невелик. Уж конечно, когда Мэйбл с Артуром сошли с поезда на недавно выстроенном вокзале, город не произвел на новобрачную особого впечатления. В центре города раскинулась рыночная площадь, куда говорившие по–голландски фермеры из вельда привозили на продажу в фургонах, запряженных волами, круглые тюки с шерстью. Шерсть составляла основу экономики республики. Вокруг рыночной площади высились солидные приметы цивилизации: дом парламента с колоннадой, здание голландской реформистской церкви с двумя башнями, англиканский собор, больница, публичная библиотека и дворец президента. Имелся в городе клуб для европейцев (немцев, голландцев и англичан), теннисный клуб, суд и довольно много магазинов. Но деревьев, посаженных тут первопоселенцами, было еще маловато, и городской парк представлял собой, по выражению Мэйбл, «десяток ив и мелкую лужицу». Всего в нескольких сотнях ярдов за домами начинался открытый вельд — дикая степь, где бродили волки, дикие собаки и шакалы, угрожающие стадам, и где припозднившийся почтальон рисковал встретиться со львом. С этих безлесных равнин в Блумфонтейн прилетал ветер, взметавший тучи пыли на широких немощеных улицах. В письме домой Мэйбл подытожила свои впечатления от города следующим образом: «Дичь и глушь! Просто ужас!».

Однако ради Артура ей придется привыкнуть к этим местам и даже полюбить их… Впрочем, условия, в которых она жила, нельзя назвать некомфортабельными. Здание Африканского банка, расположенное на Мэйтленд–Стрит, начинающейся у рыночной площади, включало в себя просторную квартиру с большим садом. В доме были слуги, частью черные и цветные, частью белые иммигранты. В городе имелось достаточно обширное общество, состоящее из англоговорящих жителей; организовывались регулярные, хотя, возможно, и немного однообразные, танцевальные вечеринки и званые обеды. Мэйбл зачастую оказывалась предоставлена самой себе: Артур, помимо основной работы, посещал еще курсы голландского, государственного языка, на котором велась вся официальная переписка; к тому же ему еще следовало бывать в клубе, чтобы завязывать полезные знакомства. Позволить себе расслабиться Артур не мог: несмотря на то, что в Блумфонтейне имелось всего два банка, вторым был Национальный банк Оранжевой республики; в то время как Африканский банк, местное

отделение которого возглавлял Артур, являлся здесь пришельцем, uitlander, и терпели его только благодаря специальному парламентскому акту. А вдобавок бывший менеджер Африканского банка перешел в Национальный. Так что Артуру приходилось работать за двоих, чтобы выгодные клиенты не ушли следом за его предшественником. В округе все время появлялись перспективные новые проекты, которые можно было обратить на пользу банку, связанные с алмазами Кимберли на западе или золотом Витватерсгранда на севере.

Это был решающий момент в карьере Артура, и к тому же Мэйбл видела, что муж абсолютно счастлив. Правда, здоровье у него оставляло желать лучшего с тех пор, как он приехал в Южную Африку, но, похоже, этот климат соответствовал его темпераменту — более того, Мэйбл с легким ужасом обнаружила, что ему тут явно нравится. Сама она через несколько месяцев пребывания в Южной Африке всей душой невзлюбила эти места. Жуткая жара летом и холодная, сухая, пыльная зима действовали ей на нервы куда больше, чем она решалась признаться Артуру, — а до «отпуска» была еще целая вечность: они не имели права посетить Англию, пока не проведут в Блумфонтейне еще три года.

Но Артура она обожала и бывала счастлива всякий раз, как ей удавалось оторвать его от рабочего стола. Они гуляли или катались, играли в теннис, в гольф или читали друг другу вслух. А вскоре у Мэйбл появилась новая забота: она обнаружила, что беременна.

4 января 1892 года Артур Толкин написал домой, в Бирмингем:

> «Дорогая матушка!
> На этой неделе у меня для вас радостное известие. Вчера вечером (3 января) Мэйбл подарила мне чудесного сыночка. Ребенок родился до срока, но малыш крепенький и здоровый, и Мэйбл прекрасно перенесла роды. Мальчик, разумеется, очарователен. У него такие славные ручонки и ушки, пальчики очень длинные, волосики светленькие, глазки толкиновские, а ротик совершенно точно саффилдовский. В общем и целом очень похож на второе, улучшенное издание своей тети Мэйбл Миттон. Когда мы вчера впервые вызвали доктора Столрейтера, он сказал, что это ложная тревога, и велел акушерке отправляться домой и подождать пару недель, но доктор ошибся. Я вызвал его снова около восьми, и он оставался до 12.40, а потом мы налили виски и выпили за мальчика. Первое имя мальчика будет Джон, в честь

дедушки; а полное, наверно, Джон Рональд Руэл. Мэб хочет назвать его Рональдом, а я хочу сохранить Джона и Руэла…»

Руэл было второе имя самого Артура, а вот Рональдов в семье прежде не было. В конце концов Артур и Мэйбл стали называть своего сына именно этим именем. Так его потом называли и все родственники, и жена. Но сам он временами говорил, что ему кажется, будто это не настоящее его имя; и в самом деле, люди, похоже, колебались насчет того, как к нему обращаться. Несколько близких школьных друзей звали его Джон Рональд — длинновато, зато благозвучно. Когда он вырос, его друзья обычно обращались к нему по фамилии (в те времена так было принято) или называли Толлерсом — дружеское прозвище, тоже типичное для той эпохи. Ну а менее близким знакомым он был известен как Дж. Р. Р. Т. Возможно, в конце концов оказалось, что именно эти инициалы лучше всего подходят для данного человека.

Джон Рональд Руэл Толкин был окрещен в соборе Блумфонтейна 31 января 1892 года, а несколько месяцев спустя его сфотографировали в саду при здании банка, на руках няньки, которую наняли ухаживать за младенцем. Его мать явно лучится здоровьем, а Артур, в котором всегда было что–то от денди, здесь выглядит настоящим щеголем в своем белом тропическом костюме и соломенной шляпе. На заднем плане — двое черных слуг, горничная и лакей Исаак. Оба, похоже, несколько удивлены и польщены тем, что их тоже снимают. Мэйбл считала отношение буров к туземцам неприемлемым, и в здании банка царила терпимость. Особенно показательна из ряда вон выходящая история с Исааком. Он в один прекрасный день украл маленького Джона Рональда Руэла и отнес его к себе в крааль, похвастаться невиданным белым младенцем. Естественно, исчезновение ребенка всех напутало, и в доме поднялся большой переполох, однако же Исаака не уволили. В благодарность он назвал собственного сына Исаак Мистер Толкин Виктор. Виктор — это в честь королевы Виктории.

В доме Толкинов случались и другие происшествия. Однажды соседские ручные обезьянки перебрались через стену и сжевали три детских слюнявчика. В дровяной сарай время от времени заползали змеи, так что приходилось соблюдать осторожность. А много месяцев спустя, когда маленький Рональд учился ходить, он наступил на тарантула. Паук укусил малыша, и тот в панике метался по саду, пока нянька не поймала его и не отсосала яд. Став взрослым, он вспоминал жаркий день и как он в ужасе

бежит, путаясь в высокой жухлой траве, но самого тарантула забыл начисто и утверждал, что никакого особого отвращения к паукам этот эпизод ему не внушил. Однако же в его книгах не раз встречаются чудовищные пауки, укус которых ядовит.

Однако по большей части жизнь в здании банка текла размеренно. Рано поутру и ближе к вечеру малыша выносили в сад, где он мог смотреть, как папа подрезает виноградные лозы или сажает новые деревца на еще не занятых участках внутри ограды. В первый год жизни мальчика Артур Толкин насадил небольшую рощицу кипарисов, елей и кедров. Может быть, именно поэтому Рональд всю жизнь так любил деревья.

С половины десятого до половины пятого ребенка держали в доме, подальше от палящего солнца. Но и в доме было ужасно жарко, поэтому мальчика одевали во все белое. «Малыш — вылитый эльфик, когда весь из себя разодет в белые оборочки и в белых ботиночках, — писала Мэйбл матери мужа. — А когда он весь из себя раздет, то, по–моему, еще больше похож на эльфа!»

Теперь круг общения Мэйбл расширился. Вскоре после того, как Толкины отпраздновали первый день рождения мальчика, приехали из Англии ее сестра и зять, Мэй и Уолтер Инклдон. Уолтер, торговец из Бирмингема, которому было немного за тридцать, интересовался южноафриканским золотом и алмазами. Он оставил жену и маленькую дочь Марджори в здании банка, а сам отправился в золотодобывающие районы. Мэй Инклдон прибыла как раз вовремя, чтобы помочь сестре пережить еще одно зимнее лето в Блумфонтейне — сезон тем более тяжкий, что Артур тоже уехал по делам на несколько недель. Было ужасно холодно, сестры жались к камину в столовой, Мэйбл вязала детские вещи, и они с Мэй разговаривали о былых днях в Бирмингеме. Мэйбл не скрывала, как надоела ей эта блумфонтейнская жизнь, этот климат, эти бесконечные светские визиты и нудные званые обеды. Ничего, скоро они смогут съездить домой — где–нибудь через годик, хотя Артур все ищет поводы отложить поездку в Англию. «Но откладывать надолго я ему не позволю, — писала Мэйбл. — Он буквально влюбился в здешний климат, и мне это не нравится. Жалко, что я никак не могу привыкнуть к этим местам: похоже, Артур теперь уже не захочет обосноваться в Англии».

А поездку все–таки пришлось отложить. Мэйбл обнаружила, что снова беременна. 17 февраля 1894 года она родила второго сына. Его окрестили Хилари Артуром Руэлом.

Хилари оказался здоровым малышом. Климат Блумфонтейна, похоже, пришелся ему по вкусу — он рос не по дням, а по часам. А вот у его старшего брата дела обстояли похуже. Рональд был

крепким и красивым, с белокурыми волосами и голубыми глазами. «Настоящий юный сакс!» — говаривал отец. Он уже неплохо разговаривал и забавлял банковских клерков своими ежедневными визитами в отцовскую контору, расположенную на первом этаже, под их квартирой. Он требовал карандаш и бумагу и малевал каракули. Но когда у малыша начали резаться зубы, ему пришлось несладко: его лихорадило, так что каждый день приходилось вызывать доктора, и вскоре Мэйбл совершенно измучилась. Погода стояла хуже некуда: началась сильная засуха, которая мешала торговле, действовала людям на нервы и вдобавок принесла с собой нашествие саранчи, которая заполонила вельд и погубила хороший урожай. И, однако, невзирая на все это, Артур написал отцу то, что так боялась услышать Мэйбл: «Думаю, мне будет хорошо в этой стране. Вряд ли я теперь смогу снова надолго поселиться в Англии».

Но, нравилось ему здесь или нет, было очевидно, что жара очень вредит здоровью Рональда. Нужно было срочно отправить его в более прохладные края. А потому в ноябре 1894 года Мэйбл увезла обоих мальчиков за много сотен миль, на море близ Кейптауна. Рональду почти исполнилось три года, и он был достаточно большой, чтобы сохранить смутные воспоминания о долгом путешествии на поезде и о том, как он бежал от моря к купальне по широкому белому песчаному пляжу.

После этих каникул Мэйбл с мальчиками вернулась в Блумфонтейн, и они стали готовиться к поездке в Англию. Артур заказал места на пароходе и нанял няньку, которая должна была ехать с ними. Ему ужасно хотелось поехать с семьей, но он не мог позволить себе оторваться от дел: банк должен был финансировать проекты постройки новых железных дорог, и Артур писал отцу: «В наше время, когда кругом конкуренты, не хочется оставлять дело в чужих руках». К тому же во время отпуска ему оплачивали только половину жалованья, а этого Артур себе позволить не мог: путешествие и так обошлось бы довольно дорого. Поэтому он решил пока что остаться в Блумфонтейне и присоединиться к жене и детям попозже. Рональд смотрел, как отец выводил на крышке дорожного сундука «А. Р. Толкин». Это было единственное отчетливое воспоминание, оставшееся у него об отце.

Пароход «Гвельф» увез Мэйбл и мальчиков из Южной Африки в начале апреля 1895 года. От Африки в памяти Рональда остались только несколько слов на африкаанс и смутные воспоминания о голой, сухой и пыльной равнине. Хилари же был слишком мал, чтобы запомнить хотя бы это. Три недели спустя Джейн, младшая сестренка Мэйбл, ныне уже взрослая девушка,

встречала их в Саутгемптоне; еще через несколько часов они прибыли в Бирмингем и водворились в тесном домике в Кингз–Хите. Отец Мэйбл был, как всегда, весел и добродушен, сыпал шуточками и ужасными каламбурами, а матушка казалась такой доброй и всепонимающей. Итак, они остались жить у родителей Мэйбл; миновала весна, а за ней и лето; здоровье Рональда заметно поправилось; Артур писал, что ужасно скучает по жене и детям и жаждет приехать повидать их, но ему все время что–то мешало.

А потом, в ноябре, пришло известие, что Артур заболел ревматизмом. Он уже частично оправился, но английская зима не пойдет ему на пользу, и придется подождать, пока он выздоровеет, прежде чем отправляться на родину. Это Рождество принесло Мэйбл немало тревог. Зато Рональд веселился вовсю. Он был буквально зачарован первой в своей жизни рождественской елкой, которая совсем не походила на жухлый эвкалипт, что наряжали в банке в прошлом декабре.

Наступил январь. Пришло письмо, что Артур по–прежнему чувствует себя неважно, и Мэйбл решила, что надо ехать обратно в Блумфонтейн и ухаживать за ним. Стали готовиться к отъезду. Взбудораженный Рональд продиктовал своей няне письмо к отцу:

> «Кингз–Хит, Эшфилд–Роуд, 9,
> 14 февраля 1896 года.
> Дорогой папочка!
> Я так рад что приеду и увижу тебя мы так давно уехали я надеюсь пароход привезет нас всех обратно к тебе маму малыша и меня. Я знаю ты будешь так рад получить письмо от своего маленького Рональда я так давно тебе не писал я стал такой большой потому что у меня пальто как у большого и курточка тоже мамочка говорит ты не узнаешь ни меня ни малыша такие мы стали большие мы получили уйму подарков на Рождество мы тебе покажем приходила тетя Грейси в гости я каждый день хожу гулять, а в коляске почти не езжу. Хилари шлет тебе привет и много–много поцелуев и любящий тебя Рональд».

Это письмо так и не было отправлено: пришла телеграмма, в которой говорилось, что у Артура открылось сильное кровотечение и Мэйбл должна готовиться к худшему. На следующий день, 15 февраля 1896 года, Артур скончался. К тому времени как рассказ о последних часах Артура Толкина дошел до его вдовы, его тело было уже погребено на англиканском

кладбище в Блумфонтейне, в пяти тысячах миль от Бирмингема.

Глава 2
БИРМИНГЕМ

Когда миновал первый шок, Мэйбл Толкин поняла, что нужно принять какое–то решение. Она с двумя мальчиками не могла навсегда остаться в тесном пригородном коттеджике своих родителей, однако на то, чтобы поселиться в отдельном доме, средств у нее едва хватало. Несмотря на то что Артур Толкин трудился не покладая рук и откладывал каждый сэкономленный грош, ему удалось собрать весьма скромный капитал, большая часть которого была вложена в копи Бонанца. Эти акции давали высокие дивиденды, но тем не менее весь доход исчислялся тридцатью шиллингами в неделю. Этого было маловато, чтобы содержать себя и двоих детей, даже по самым скромным меркам. Кроме того, оставалась еще проблема образования мальчиков. Допустим, в первые несколько лет она может учить их сама: она знала латынь, французский, немецкий, умела рисовать, писать красками и играть на фортепьяно. Позднее, когда Рональд с Хилари подрастут, им придется сдать вступительные экзамены в школу короля Эдуарда в Бирмингеме — лучшую классическую школу [Среднее образование в Англии делилось — и до сих пор делится — на две направленности: классическую (grammar schools) и современную (modern schools). В первой, унаследованной от средневековых школ, основной упор делается на изучение гуманитарных предметов, и в первую очередь — древних языков, латыни и греческого.

В современных школах программа имеет практическую направленность и изучение древних языков не предусматривается. Некоторым аналогом этого разделения могут служить дореволюционные российские гимназии и реальные училища.] в городе, где учился и сам Артур Толкин. А пока что нужно снять дешевую квартиру. Квартир в Бирмингеме предостаточно, но мальчикам необходимы свежий воздух, и возможность гулять за городом, и такой дом, чтобы они могли быть счастливы там, несмотря на бедность. И Мэйбл принялась просматривать объявления.

Рональд, которому шел пятый год, потихоньку приспосабливался к житью под кровом бабушки с дедушкой. Отца он почти забыл — еще немного, и мальчик начнет воспринимать его как нечто из далекого, почти легендарного прошлого. Переезд из Блумфонтейна в Бирмингем сбил его с толку: иногда он ожидал, что, выйдя из дедушкиного дома на Эшфилд–Роуд,

увидит перед собой веранду здания банка; но шли недели, месяцы, воспоминания о Южной Африке начинали стираться, и мальчик стал обращать больше внимания на взрослых, что его окружали. Дядя Вилли и тетя Джейн по–прежнему жили с родителями, а еще в доме был жилец, страховой агент с волосами песочного цвета, который напевал «Полли–Волли–Дудль», сидя на ступеньках и подыгрывая себе на банджо, и строил глазки тете Джейн. Семейство считало его вульгарным. Когда Джейн объявила о помолвке с ним, все пришли в ужас. Рональд втайне мечтал о банджо.

По вечерам дедушка возвращался домой, измотанный беготней по бирмингемским улицам и улещиванием лавочников и управляющих, которых надо было уговаривать приобрести партии «Джейза». Джон Саффилд носил длинную бороду и выглядел очень старым. Ему стукнуло шестьдесят три, и он клялся, что доживет до ста. Большой весельчак, он, похоже, вовсе не возражал против того, чтобы зарабатывать себе на жизнь трудом коммивояжера, несмотря на то что когда–то владел собственным магазином тканей в центре города. Иногда он брал листок бумаги и ручку со специальным тоненьким перышком, обводил кружком шестипенсовую монету и мельчайшим каллиграфическим почерком вписывал в этот кружок весь текст «Отче наш». Его предки были граверами — видимо, от них Джон Саффилд и унаследовал это искусство; он с гордостью рассказывал про то, как король Вильгельм IV даровал их семейству собственный герб за тонкую работу, выполненную по его заказу, и про свое дальнее родство с лордом Саффилдом (последнее — неправда).

Так Рональд начал понемногу усваивать обычаи семейства Саффилдов. Постепенно они сделались для него куда более близкими людьми, чем семья его покойного отца. Его дедушка Толкин жил совсем рядом, на той же улице, и иногда Рональда водили к нему в гости; но Джону Бенджамину Толкину было уже восемьдесят девять лет, и смерть сына сильно подкосила старика. Через полгода после смерти Артура его отец тоже скончался. Так оборвалась еще одна связь, соединявшая мальчика с Толкинами.

Однако оставалась еще тетя Грейс, младшая сестра Артура, которая много рассказывала Рональду о предках Толкинов. Все ее истории выглядели совершенно невероятными, но тетя Грейс утверждала, что все основано на фактах. Она говорила, будто фамилия семейства первоначально была фон Гогенцоллерн, потому что эта семья происходила из той части Священной Римской империи, что принадлежала Гогенцоллернам. По ее словам, на осаде Вены в 1529 году некий Георг фон Гогенцоллерн

сражался на стороне эрцгерцога Фердинанда Австрийского. Он возглавил незапланированную вылазку против турок, выказал неслыханную отвагу и захватил штандарт самого султана. Потому, рассказывала тетя Грейс, его и прозвали «Tollkuhn», «безрассудно отважный»; и это прозвище пристало ко всему семейству. Она утверждала также, что у их семейства есть и французские корни: оно породнилось со многими знатными фамилиями Франции, а их фамилия была даже переведена на французский и звучала как дю Темерер. Насчет того, когда и почему предки Толкинов перебрались в Англию, мнения в семействе расходились. Более прозаичная версия гласила, что это произошло в 1756 году и что им пришлось спасаться бегством, когда в Саксонию, где находились их земли, вторглись прусские захватчики. Тетя Грейс предпочитала более романтичную, хотя и неправдоподобную, историю о том, как один из дю Темереров бежал за Ла–Манш в 1794 году, спасаясь от гильотины, и, видимо, именно тогда и взял себе вариант прежней фамилии Толкин. Этот дворянин славился как искусный клавесинист и часовщик. Разумеется, эта история — одна из многих подобных легенд о происхождении рода, которые бытуют в семействах, принадлежащих к среднему классу, — изрядно романтизировала появление в Лондоне в начале XIX века семейства Толкинов, которые зарабатывали изготовлением карманных и настенных часов и фортепьяно. А несколько лет спустя Джон Бенджамин Толкин, отец Артура, переселился в Бирмингем и основал там фирму, производящую и продающую фортепьяно.

Толкины всегда любили рассказывать истории, окутывавшие их происхождение романтической дымкой; но, правдивые они или выдуманные, к тому времени, как на свет появился Рональд, Толкины давно уже стали обычной английской семьей, англичанами по характеру и по внешности, неотличимыми от тысяч других деловых людей среднего класса, проживавших в пригородах Бирмингема. Во всяком случае, Рональд куда больше интересовался семьей своей матери. Он вскоре привязался к Саффилдам и всему, что они в себе воплощали. Он узнал, что, хотя сейчас большинство Саффилдов перебралось в Бирмингем, корни семейства следует искать в тихом вустерширском городке Ившем, где жило много поколений Саффилдов. Рональд в определенном смысле был бездомным ребенком, поскольку отъезд из Южной Африки и последовавшие за этим скитания начинали вызывать у него ощущение неприкаянности, а потому он привык считать своей настоящей родиной западный Мидленд вообще и Ившем в частности. Много позднее он писал: «Моя фамилия Толкин, но по вкусам, способностям и воспитанию я

Саффилд». А о Вустершире он говорил: «В любом уголке этого графства, будь он прекрасным или запущенным, я неким неуловимым образом чувствую себя «дома», как нигде в мире».

К лету 1896 Мэйбл Толкин удалось найти квартиру, достаточно дешевую, чтобы она с мальчиками могла поселиться отдельно, и они перебрались из Бирмингема в деревушку Сэрхоул, примерно в миле от южной окраины города. Это новое место произвело на Рональда глубокое, неизгладимое впечатление. В том самом возрасте, когда у ребенка начинает просыпаться воображение, он попал в английскую деревню.

Дом, куда они переселились, был номером 5 по улице Грейсвелл, кирпичным коттеджем на две семьи на самом краю деревни. Мэйбл Толкин сняла его у местного землевладельца. За воротами шла дорога, уводящая вверх по склону холма, в деревню Моузли, а оттуда в Бирмингем. В противоположном направлении она вела в Стратфорд–он–Эйвон. Но движение на дороге ограничивалось редкими фермерскими телегами или повозками торговцев, и нетрудно было забыть, что город так близко.

За дорогой был луг, спускавшийся к реке Коул, которая в тех местах немногим шире обычного ручья. На реке стояла сэрхоулская мельница, старое кирпичное здание с высокой трубой. Здесь на протяжении трех столетий мололи зерно, но времена менялись. На мельнице установили паровую машину, чтобы не прерывать работу, когда в реке слишком мало воды, и теперь мельница молола в основном не зерно, а кости на удобрения. Однако вода по–прежнему шумела в шлюзе и крутила большое колесо, а внутри здания все было покрыто мельчайшей белой пылью. Хилари Толкину было всего два с половиной года, но вскоре и он начал сопровождать старшего брата в экспедициях через луг к мельнице, где они сквозь щели в заборе глазели на мельничное колесо, вращающееся в своей темной пещере, или, обежав забор, заглядывали во двор, где рабочие забрасывали мешки в ожидающую телегу. Иногда мальчики даже решались зайти в ворота и сунуть нос в открытую дверь. За дверью виднелись кожаные ремни, шкивы, валы и люди за работой. Мельников было двое, отец и сын. У старика была черная борода, но мальчики больше боялись сына в пыльной белой одежде и с пронзительным взглядом. Рональд прозвал его Белым Людоедом. Когда он рявкал на них, чтобы они убирались, мальчики опрометью бросались со двора и, обогнув мельницу, выходили на берег тихого пруда, в котором плавали лебеди. В конце пруда темная вода внезапно обрывалась вниз и падала через шлюз на большое колесо внизу. Это было страшное и заманчивое место.

Неподалеку от сэрхоулской мельницы, вверх по холму, в сторону Моузли, был глубокий песчаный карьер, край которого порос деревьями. Этот карьер стал еще одним излюбленным местом мальчиков. Собственно говоря, открытия поджидали со всех сторон — хотя порой изыскания были сопряжены с риском. Старого фермера, который как–то раз шуганул Рональда за то, что мальчик собирал грибы у него на участке, братья прозвали Черным Людоедом. Подобные опасные приключения были самой солью тех дней в Сэрхоуле. Вот как вспоминает о них Хилари Толкин, почти восемьдесят лет спустя:

> «Мы чудесно проводили лето — просто собирали цветы и шастали по чужим участкам. Черный Людоед имел обыкновение забирать ботинки и чулки, которые мы оставляли на берегу, чтобы походить босиком по воде, и приходилось догонять его и выпрашивать обувь обратно. Ух и влетало же нам от него! Белый Людоед был не такой опасный. Но для того чтобы попасть в то место, где мы собирали ежевику (оно называлось Лощина), надо было пройти через земли Белого, а он нас не особо жаловал, потому что узкая тропинка шла через его поле, и мы по дороге украдкой рвали куколи и другие красивые цветы. Мать один раз принесла нам обед в это славное место. Она пришла и как закричит страшным голосом, а мы как бросимся бежать!»

В Сэрхоуле было мало домов, кроме того ряда коттеджей, в котором жили Толкины, но тропинка через брод вела в деревню Холл–Грин. Рональд с Хилари иногда ходили покупать сладости у беззубой старушки, которая держала там ларек. Постепенно они подружились с местными ребятами. Это было не так–то просто: деревенские смеялись над их городским произношением, длинными волосами и передничками, а сами братья Толкины были непривычны к уорикширскому диалекту и грубым манерам сельских мальчишек. Но вскоре они и сами принялись заимствовать деревенские словечки, привыкнув называть свиной бок «chawl», мусорное ведро — «miskin», сдобную пышку — «pikelet», а хлопчатобумажную ткань — «gamgee». Последнее слово было обязано своим происхождением доктору Гэмджи, врачу из Бирмингема, который изобрел «gamgee–tissue», хирургическую повязку из хлопка. В этом округе его имя стало словом нарицательным.

Мэйбл вскоре принялась обучать сыновей, и лучшего учителя им не приходилось и желать. Да и сама Мэйбл не пожелала бы

ученика более способного, чем Рональд, — к четырем годам он уже умел читать, а вскоре после этого освоил и письмо. Почерк его матери отличался очаровательной самобытностью. Она переняла у отца искусство каллиграфии и писала в изысканном стиле, без наклона, украшая каждую заглавную букву замысловатыми завитушками. Рональд вскоре тоже принялся упражняться в каллиграфии. У него почерк был иной, чем у матери, но со временем он сделался таким же элегантным и неповторимым. Однако больше всего Рональд любил уроки, посвященные языкам. Вскоре после того, как семья поселилась в Сэрхоуле, мать обучила его начаткам латыни, и латынь ему ужасно понравилась. Его интересовало не только значение слов, но и само их звучание и облик. Мэйбл начала замечать, что мальчик обладает особыми способностями к языкам.

Она стала обучать его французскому. Французский понравился ему куда меньше, без каких–либо особых причин: просто звучание французских слов не так радовало его слух, как латынь и английский. Мать пыталась приохотить его к игре на фортепьяно, но безуспешно. Казалось, слова заменяют ему музыку, и он получает удовольствие, слушая их, читая их и повторяя их вслух, почти не обращая внимания на смысл.

Рисование тоже давалось ему хорошо, особенно когда мальчик брался изображать пейзаж или дерево. Мать сообщила ему немало сведений по ботанике, и к ним Рональд тоже не остался равнодушен. Вскоре он научился неплохо разбираться в растениях. Но и тут его больше интересовали облик растения и ощущение от него, нежели ботанические подробности. Особенно это относилось к деревьям. И хотя Рональд любил рисовать деревья, больше всего он любил быть вместе с деревьями. Он лазил по ним, прислонялся к ним, даже болтал с ними. И очень огорчался, когда ему случалось обнаружить, что не все разделяют его чувства. Один случай особенно запал ему в память: «Над мельничным прудом росла ива, и я научился залезать на нее. Ива принадлежала, кажется, мяснику, жившему на Стратфорд–Роуд. И в один прекрасный день ее спилили. С ней ничего не сделали: просто спилили и оставили валяться. Я этого никак не мог забыть».

В часы, свободные от занятий, мать в изобилии снабжала его детскими книжками. «Алиса в Стране чудес» Рональда очень позабавила, хотя пережить такие же приключения, как Алисе, ему не хотелось.

«Остров сокровищ» ему не понравился, так же как сказки Андерсена и «Крысолов из Гамельна» [Стихотворение, написанное для детей Робертом Браунингом (1812—1889). В основу

стихотворения легла распространенная средневековая легенда]. А вот книжки про индейцев он любил и мечтал научиться стрелять из лука. Еще больше ему нравились сказки про Керди Джорджа Макдональда [Джордж Макдональд (1824—1905) — англо–шотландский детский писатель, один из основоположников жанра фэнтези; автор ряда сказок, проникнутых христианской символикой. В число этих сказок входят и сказочные повести о Керди («Принцесса и гоблин», 872, и «Принцесса и Керди», 1883), ставшие классикой детской литературы. Макдональд оказал большое влияние на Г. К. Честертона, К. С. Льюиса и Дж. Р. Р. Толкина], действие которых происходит в далекой стране, где в горах бродят уродливые и злые гоблины. Восхищался он и легендами артуровского цикла. Но больше всего Рональду пришлись по душе «Цветные книги сказок» Эндрю Лэнга [Эндрю Лэнг (1844—1912) — английский поэт, переводчик, фольклорист и антрополог, составитель 12 сборников детских сказок, именуемых по цвету обложки («Синяя книга сказок», «Красная книга сказок» и т. п.), куда вошли как сказки разных народов, так и пересказы наиболее известных мифов], в особенности «Красная книга сказок», потому что в ней, ближе к концу, он нашел лучшую историю, которую когда–либо читал. Это была повесть о Сигурде, который убил дракона Фафнира, — легенда причудливая и захватывающая, действие которой происходило на безымянном Севере. Сколько раз Рональд ни перечитывал ее, каждый раз он не мог оторваться. «Я всей душой мечтал о драконах, — скажет он много позднее. — Нет, конечно, я, со своими скромными силенками, вовсе не жаждал, чтобы они жили где–нибудь по соседству. Но мир, где существовал Фафнир, хотя бы воображаемый, казался богаче и прекраснее, несмотря на опасность».

Но просто читать о драконах ему было мало. Когда Рональду исполнилось лет семь, он принялся сочинять свою собственную сказку про дракона. «Я ее начисто забыл, кроме одной филологической подробности, — вспоминал он. — Моя мать насчет дракона ничего не сказала, но заметила, что нельзя говорить «зеленый большой дракон», надо говорить «большой зеленый дракон». Я тогда не понял почему и до сих пор не понимаю. То, что я запомнил именно это, возможно, важно: после этого я в течение многих лет не пытался писать сказок, зато был всецело поглощен языком».

В Сэрхоуле лето сменялось осенью, осень — зимой, зима — весной, а весна — снова летом. Праздновали бриллиантовый юбилей королевы Виктории, и колледж на вершине холма в Моузли украсился разноцветными фонариками. Мэйбл как–то

удавалось кормить и одевать мальчиков на свои скудные средства, к которым время от времени прибавлялись вспомоществования от Толкинов или Саффилдов. Хилари все больше становился похож на отца, в то время как Рональд унаследовал внешность Саффилдов, их худощавое, вытянутое лицо. Временами его тревожил странный сон: огромная волна вздымается к небу и неотвратимо надвигается, накрывая собой деревья и зеленые поля, стремясь поглотить его и все, что вокруг. Этот сон повторялся на протяжении многих лет. Позднее Толкин называл его «мой комплекс Атлантиды». Однако обычно он спал хорошо, и сквозь повседневные заботы гнетущей бедности сияла его любовь к матери и к окрестностям Сэрхоула, сулящим приключения и утехи. Он не уставал наслаждаться сельскими радостями, с каким–то отчаянным самозабвением, словно предчувствуя, что придет день — и всего этого не станет. И этот день пришел, и довольно скоро.

Со дня смерти мужа все большую роль в жизни Мэйбл Толкин играло христианство. Каждое воскресенье Мэйбл брала мальчиков с собой в «высокую» англиканскую церковь. А однажды в воскресенье Рональд с Хилари обнаружили, что идут незнакомой дорогой совсем в другую церковь: собор Святой Анны на Алсестер–Стрит, в трущобах близ центра Бирмингема. Этот собор принадлежал римско–католической церкви.

Мэйбл уже давно подумывала о том, чтобы перейти в католичество. К тому же она решилась на этот шаг не в одиночку. Ее сестра Мэй Инклдон вернулась из Южной Африки. У нее тоже было уже двое детей. Ее муж Уолтер остался в Африке заканчивать свои тамошние дела. И Мэй решила втайне от мужа перейти в католичество. Весной 1900 года Мэй и Мэйбл прошли катехизацию в соборе Святой Анны и в июне того же года были приняты в лоно римской церкви.

На них обрушился гнев всего семейства. Их отец, Джон Саффилд, был воспитан в лоне методистской школы, а теперь принадлежал к унитарной церкви. И то, что дочь его стала «паписткой», он воспринял как личное оскорбление. Супруг Мэй, Уолтер Инклдон, считал себя столпом местной англиканской церкви и не понимал, как Мэй могла переметнуться на сторону Рима. Вернувшись в Бирмингем, он запретил жене посещать католическую церковь, и той пришлось повиноваться. Ища утешения — а может быть, и из мести, — она обратилась к спиритуализму.

После смерти Артура Толкина Уолтер Инклдон оказывал Мэйбл небольшую материальную поддержку. Разумеется, теперь об этом не могло быть и речи. Вместо этого и Уолтер, и все

прочие члены ее семьи стали относиться к ней враждебно, не говоря уже о Толкинах, большинство которых были баптистами и ненавидели католичество. Напряжение, вызванное этой враждебностью, а также дополнительные финансовые трудности плохо повлияли на здоровье Мэйбл. Но ее верность своей новой конфессии осталась неколебимой, и, невзирая на сопротивление семьи, Мэйбл принялась наставлять Рональда и Хилари в католической вере.

А тем временем Рональду пришла пора поступать в школу. Осенью 1899–го, в возрасте семи лет, ему пришлось сдавать вступительные экзамены в школу короля Эдуарда, которую закончил его отец. Экзаменов он не выдержал — возможно, его мать была чересчур снисходительной наставницей. Однако год спустя он снова держал экзамены — и поступил и в сентябре 1900–го начал посещать школу. Дядя Толкин, который, в отличие от прочих родственников, относился к Мэйбл благодушно, согласился взять расходы на себя. Плата за обучение составляла тогда двенадцать фунтов в год. Школа находилась в центре Бирмингема, в четырех милях от Сэрхоула, и в первые несколько недель Рональду приходилось проделывать большую часть пути пешком, потому что его мать не могла оплачивать поездки на поезде, а трамваи так далеко не ходили, разумеется, долго это длиться не могло, и Мэйбл поняла, что деревенскому житью, увы, пришел конец. Она сняла дом в Моузли, ближе к центру города и рядом с трамвайной линией, и в конце 1900 года они с мальчиками собрали свои пожитки и оставили коттедж, где были так счастливы в течение четырех лет. «Всего четыре года, — писал Рональд Толкин в старости, оглядываясь назад, — но сейчас мне кажется, что это была самая долгая часть моей жизни, оказавшая наибольшее влияние на формирование моей личности».

Путешественник, прибывший в Бирмингем по Лондонской и Северо–Западной железной дороге, не мог бы не заметить школы короля Эдуарда, что величественно высилась над дымом и чадом вокзала Нью–Стрит. Тяжеловесное, почерневшее от сажи здание в неоготическом стиле, напоминающее столовую богатого оксфордского колледжа, было творением Барри, автора заново отстроенного здания парламента [Школу, построенную Барри, снесли в тридцатых годах XX века после того как школа переехала в новый комплекс. (Прим. авт.)]. Школа, основанная Эдуардом VI, имела неплохой постоянный доход от дарственных вкладов и пожертвований, и директора могли позволить себе открывать филиалы в более бедных районах города. Но тем не менее образовательные стандарты самой школы короля Эдуарда, «Высшей школы», не имели себе равных в Бирмингеме, и многие

из тех сотен мальчиков, что протирали штаны на ее скамьях, разбирая Цезаря под свистки паровозов под окнами, позднее получали награды в ведущих университетах страны.

К 1900 году школе короля Эдуарда сделалось уже тесновато в старом здании. Там было многолюдно и шумно — устрашающая перспектива для мальчика, выросшего в тихой деревне. Неудивительно, что большую часть своего первого триместра Рональд Толкин не посещал школу по причине болезни. Но постепенно он привык к толкучке и шуму, и ему даже стало нравиться в школе, хотя особых способностей он пока что не проявлял.

А вот домашняя жизнь сильно отличалась от того, к чему он привык в Сэрхоуле. Его мать сняла домик на центральной улице в пригороде Моузли, и вид из окна сильно отличался от уорикширского сельского пейзажа, причем не в лучшую сторону: трамваи, ползущие в гору, унылые лица прохожих и вдалеке — дымящие трубы фабрик Спаркбрука и Смолл–Хита. Рональду дом в Моузли запомнился как «ужасный». Но не успели они устроиться, как пришлось снова переезжать: здание собирались снести, чтобы построить пожарную часть. Мэйбл подыскала жилье меньше чем за милю оттуда в ряду соединенных между собой стандартных домов позади станции Кингз–Хит. Таким образом, они очутились неподалеку от дома ее родителей. Но выбор Мэйбл был продиктован тем, что на той же улице стояла новая римско–католическая церковь Святого Дунстана, снаружи отделанная рифленым железом, а изнутри — смолистой сосной.

Рональд по–прежнему отчаянно тосковал по Сэрхоулу, но новый дом отчасти его утешил. Зады дома в Кингз–Хите выходили на железную дорогу, и жизнь оттенялась ревом паровозов и грохотом товарных вагонов на угольном складе. Однако склоны выемки, по которой проходила железная дорога, поросли травой, и там можно было собирать цветы и травы. И еще кое–что привлекало его внимание: странные названия на стенках вагонов с углем, стоявших на запасных путях внизу. Он не знал, как читаются эти названия, но было в них нечто притягательное. Так и вышло, что, пытаясь разобрать слова Nantyglo, Senghenydd, Blaen–Rhondda, Penrhiwceiber и Tredegar, Рональд узнал о существовании валлийского языка.

Когда мальчик немного подрос, ему случилось побывать в Уэльсе. И, глядя на названия проносящихся мимо станций, он видел слова, которые привлекали его больше, чем все, с какими ему доводилось сталкиваться до сих пор, язык древний и в то же время живой. Рональд попытался разузнать о нем побольше, но все валлийские книги, какие ему удалось добыть, оказались

непонятными. Но все же это знакомство, каким бы кратким оно ни было, открыло ему путь в иной языковой мир.

А матери его тем временем не сиделось на месте. Ей не нравился дом в Кингз–Хите, она обнаружила, что ее не устраивает церковь Святого Дунстана. Поэтому она опять пустилась на поиски и снова начала брать сыновей на длинные воскресные прогулки, присматривая храм божий, который бы ей подошел. И вскоре Мэйбл обнаружила Бирмингемскую Молельню, большой храм в пригороде Эджбастон, находившийся под покровительством общины священников. Неужели среди них не найдется для нее друга и понимающего духовника? Вдобавок при Молельне имелась классическая школа Святого Филиппа, которой руководило местное духовенство. Плата за обучение в школе была ниже, чем в Школе короля Эдуарда, и к тому же здесь ее сыновья могли воспитываться в католическом духе. Решающим фактором послужило то, что совсем рядом со школой сдавался внаем дом. А потому в начале 1902 года Мэйбл с мальчиками переехали из Кингз–Хита в Эджбастон, и Рональд с Хилари, которым теперь было десять и восемь лет, были зачислены в школу Святого Филиппа. Бирмингемская Молельня была основана в 1849 году Джоном Генри Ньюменом [Джон Генри Ньюмен (1801—1890) — влиятельный церковный деятель и писатель, возглавивший так называемое «Оксфордское движение», направленное на реформацию англиканской церкви в духе католицизма; впоследствии перешел в католичество и стал кардиналом–диаконом], в ту пору лишь недавно обратившимся в католическую веру. В ее стенах он провел последние четыре десятилетия своей жизни и умер там же в 1890 году. Дух Ньюмена все еще витал в высоких залах Молельного дома на Хэгли–Роуд, и в 1902 году в общине еще оставалось немало священников, которые были его друзьями и служили под его началом. Одним из таких священников был отец Френсис Ксавье Морган, сорока трех лет от роду. Вскоре после того, как Толкины переехали в этот район, он взял на себя обязанности приходского священника и зашел навестить своих новых прихожан. В нем Мэйбл обрела не только понимающего духовника, но и бесценного друга. Отец Френсис Морган, наполовину валлиец, на четверть англичанин, на четверть испанец (семья его матери занимала большое место в торговле хересом), не блистал выдающимся интеллектом, но зато был настоящим кладезем доброты, юмора и отличался экспансивностью, которую многие приписывали его испанским корням. Это был человек очень шумный, разговорчивый и эмоциональный. Дети его поначалу побаивались, но, узнав поближе, привязались к нему всей душой.

И вскоре отец Френсис сделался неотъемлемой частью дома Толкинов.

Если не считать этой дружбы, жизнь Мэйбл и ее сыновей ненамного улучшилась в сравнении с предыдущими двумя годами. Жили они в доме 26 по Оливер–Роуд, и дом этот был немногим приличнее трущобы. Вокруг — сплошные нищие переулки. Да, до школы Святого Филиппа была всего пара шагов — но разве можно было сравнить ее голые кирпичные классы с неоготической роскошью школы короля Эдуарда? Да и образовательный уровень уступал «эдуардовскому». Рональд вскоре без труда обогнал своих одноклассников, и Мэйбл поняла, что школа Святого Филиппа не даст ее сыну того образования, которого он заслуживает. Поэтому она забрала Рональда из школы и снова взялась учить его самостоятельно — и не без Успеха: несколько месяцев спустя он заслужил благотворительную стипендию в школе короля Эдуарда и осенью 1903–го вернулся туда. Хилари тоже забрали из школы Святого Филиппа, но сдать вступительные экзамены в школу короля Эдуарда он пока что не сумел. «Это не моя вина, — писала его мать родственнице. — И нельзя сказать, что ему не хватает знаний; но он вечно витает в облаках и пишет очень медленно». Так что младшего сына она пока что продолжала обучать дома.

В школе короля Эдуарда Рональда приняли в шестой класс, где–то в середине между самым младшим и самым старшим. Теперь он учил греческий. О своем первом знакомстве с этим языком он впоследствии писал так: «Греческий очаровал меня своей текучестью, подчеркиваемой твердостью и своим внешним блеском. Но немалую часть обаяния составляли его древность и чуждость (для меня). Он не казался родным». Шестой класс вел энергичный человек по имени Джордж Бруэртон, один из немногих учителей, которые специализировались на преподавании английской литературы. Этого предмета в программе считай что не было, а то, что было, сводилось к изучению пьес Шекспира. Рональд вскоре обнаружил, что Шекспира он «от души ненавидит». Позднее он вспоминал горькое «разочарование и отвращение своих школьных дней, вызванное тем, как бездарно распорядился Шекспир «приходом Бирнамского леса на Дунсинанский холм». Я жаждал придумать такие обстоятельства, в которых деревья действительно могли бы пойти в бой». Но если Шекспир ему не понравился, то кое–что другое пришлось ему по вкусу. Его классный наставник Бруэртон был прирожденным филологом–медиевистом. Ярый пурист, он требовал, чтобы школьники обходились простыми, старыми, исконно английскими словами. Если, к примеру, мальчик

произносил слово «manure» («компост»), Бруэртон немедленно прерывал его:

— «Компост»? Что за «компост»? Это называется — «muck», «дерьмо». Повторите три раза! Дерьмо, дерьмо, дерьмо! [В данном случае проблема состоит в том, что, в то время как слово «manure» — литературное, и притом французского происхождения, слово «muck» не только германское (точнее, скандинавское), выглядящее как исконно английское, но еще и достаточно грубое. Таким образом, достойный наставник готов был пожертвовать благопристойностью ради чистоты английского языка. Исследуя тексты Толкина, мы не раз столкнемся с тем фактом, что он последовательно избавлялся от французских заимствований в своих текстах, невзирая на то, что они вросли в английский язык так же прочно, как вросли в Русский язык многочисленные иностранные заимствования]

Бруэртон рекомендовал своим ученикам читать Чосера и декламировал им «Кентерберийские рассказы» в оригинале, на среднеанглийском. Для Рональда Толкина это было настоящее открытие, и он решил побольше разузнать об истории языка.

На Рождество 1903 года Мэйбл Толкин писала своей свекрови:

> «Дорогая миссис Толкин!
> Вы говорили, что Вам куда больше хотелось бы получить в подарок рисунки мальчиков, чем что–нибудь, что они могли бы купить на свои деньги, поэтому они нарисовали вам вот это. Рональд в этом году продвигается просто–таки семимильными шагами — он устроил целую выставку в комнате отца Френсиса, — с тех пор, как их 16 декабря распустили на каникулы, он трудился не покладая рук. Кстати, я тоже. Надо Вам сказать, что я почти месяц не выходила из дому — даже в Молельню! — но сейчас, в эту мерзкую, сырую оттепель, мне полегчало, а поскольку у Рональда каникулы, я могу высыпаться по утрам. Меня по–прежнему неделями мучает бессонница, и вдобавок мне все время холодно и дурно, так что просто сил никаких нет.
> Я нашла почтовый перевод на 2/6, который Вы послали мальчикам довольно давно — год назад, если не больше, но он затерялся. Они весь день провели в городе, растранжирили на подарки эти деньги и еще чуть–чуть. Все мои рождественские закупки делали тоже мальчики. Рональд способен подобрать подкладку под цвет ткани

или оттенки краски для рисунка не хуже настоящей «парижской модистки». Возможно, сказывается кровь предков–мануфактурщиков? В школе он делает большие успехи — греческий он знает лучше, чем я латынь, — говорит, что на каникулах займется со мной немецким, хотя сейчас мне больше всего хочется прилечь и не вставать.

Один священник, молодой и веселый, учит Рональда играть в шахматы — он говорит, Рональд слишком уж начитан, прочел все, что подходит для мальчика, которому нет еще и пятнадцати, так что из классических вещей ему и порекомендовать нечего. На это Рождество у Рональда будет первое причастие, так что в этом году у нас действительно великий праздник. Я говорю об этом не затем, чтобы Вас огорчить, — просто Вы просили, чтобы я Вам о них все рассказывала.

Искренне любящая Вас Мэб».

Новый год начался не слишком удачно. Сперва Рональд и Хилари слегли с корью, потом подхватили коклюш, а у Хилари к этому добавилось еще и воспаление легких. Уход за больными потребовал от их матери чрезмерного напряжения, которое окончательно ее сломило, и, как она и опасалась, никаких сил не осталось. В апреле 1904–го она попала в больницу. Врачи поставили диагноз: диабет.

Дом на Оливер–Стрит заперли, жалкие пожитки сложили в кладовку, мальчиков отправили к родственникам: Хилари — к дедушке и бабушке Саффиддам, а Рональда — в Хоув, в семью Эдвина Нива, того самого страхового агента с песочными волосами, который теперь был мужем тети Джейн. Инсулинотерапии еще не существовало, и родные очень тревожились за Мэйбл, но к лету она достаточно оправилась, чтобы выписаться из больницы. Было очевидно: для того чтобы окончательно прийти в себя, ей потребуется немало времени и заботливый уход. И отец Френсис Морган предложил следующее. Кардинал Ньюмен выстроил в Реднэле, деревушке в Вустершире, в нескольких милях от окраины Бирмингема, скромный загородный дом, который служил местом отдыха для священников Молельни. На краю участка стоял небольшой коттеджик, где жил местный почтальон. Его жена могла сдать Толкинам комнату и спальню и заодно готовить для них. Это было бы идеальное место для выздоравливающей больной, Да и мальчикам сельский воздух пошел бы на пользу. И вот в конце

июня 1904 года сыновья воссоединились с матерью, и все трое отправились на лето в Реднэл.

Они словно возвратились в Сэрхоул. Коттеджик стоял на повороте тихой сельской дорожки, позади дома раскинулись поросшие лесом земли, принадлежавшие Молельне, и маленькое кладбище при часовне, где покоились святые отцы из Молельни, в том числе и сам Ньюмен. На территории Молельни мальчики могли свободно бродить где вздумается, а немного дальше начинались крутые тропы, ведущие через лес на высокий холм Лики. Жена почтальона, миссис Тилл, кормила их на славу, и месяц спустя Мэйбл писала в открытке своей свекрови: «Мальчики так поздоровели — даже смешно сравнивать их с бледными призраками, с которыми мы ехали на поезде месяц назад!!! Хилари сегодня впервые оделся в твидовый костюмчик и итонский воротничок! Выглядит просто потрясающе. Погода стоит прекрасная. Мальчики напишут в первый же дождливый день, но сейчас они собирают чернику, пьют чай на сеновале, запускают змеев с отцом Френсисом, рисуют, лазают по деревьям — в общем, никогда еще у них не было таких веселых каникул».

Отец Френсис то и дело к ним наведывался. Он держал в Реднэле собаку по кличке Лорд Роберте и частенько сиживал на увитой плющом веранде дома Молельни, покуривая большую трубку вишневого дерева. «Это особенно бросалось в глаза, — вспоминал Рональд, — потому что курил он только там. Быть может, именно отсюда берет начало моя собственная привязанность к трубке». Когда отца Френсиса не было и никто из других священников там не жил, Мэйбл с мальчиками ездили к мессе в Брумсгров в наемной повозке вместе с супругами Черч, садовником и экономкой Молельни. Это была идиллическая жизнь.

Однако скоро — слишком скоро — наступил сентябрь, а с ним — начало нового учебного года. Рональду, окрепшему и поздоровевшему, пора было возвращаться в школу короля Эдуарда. Однако его мать никак не могла заставить себя покинуть домик, где им было так хорошо, и возвратиться в дымный и грязный Бирмингем. Так что в течение некоторого времени Рональду приходилось вставать спозаранку и отправляться на станцию, более чем за милю от дома, чтобы успеть на поезд. К тому времени как он возвращался домой, уже темнело, и Хилари иногда выходил его встречать с фонарем.

Состояние Мэйбл снова начало ухудшаться, но ее сыновья этого не замечали. Так что, когда в ноябре она снова слегла, это оказалось для них полной неожиданностью. Ужасной неожиданностью. Мэйбл впала в диабетическую кому, и через

шесть дней, 14 ноября, все в том же домике, она умерла на руках у отца Френсиса и своей сестры Мэй Инклдон, дежуривших у ее постели.

Глава 3
«ЛИЧНЫЙ ЯЗ.» — И ЭДИТ

«Моя дорогая мамочка была настоящая мученица. И не каждому господь дарует столь легкий путь к дарам Своим, как нам с Хилари. Он дал нам мать, которая погубила себя трудами и заботами ради того, чтобы мы могли хранить свою веру».

Рональд Толкин написал это через девять лет после смерти матери. Эти слова дают некоторое представление о том, до какой степени материнский образ ассоциировался для него с собственной принадлежностью к католической церкви.

Можно даже сказать, что после смерти Мэйбл религия заняла в его жизни то место, которое прежде занимала мать. Вера давала ему не только духовное, но и эмоциональное утешение. Быть может, смерть матери закрепила также и стремление Рональда к изучению языков. В конце концов, ведь именно Мэйбл была его первым наставником, именно она приучила его интересоваться словами. И теперь, когда она ушла, он решился идти этой дорогой не сворачивая. И, разумеется, утрата матери повлияла на его характер. Он сделался пессимистом.

Или, точнее, она сделала его натуру двойственной. От природы Рональд был человеком веселым, можно сказать, неугомонным, страстно любящим жизнь. Он любил поболтать и поразвлечься. Он был наделен отменным чувством юмора и легко находил себе друзей. Но отныне в его характере появилась и другая сторона. Она не так бросалась в глаза, но находила себе выход в дневниках и письмах. Эта сторона была способна испытывать приступы глубочайшего отчаяния. Точнее — и это наверняка было связано со смертью матери, — когда Рональд бывал в таком настроении, он испытывал острое ощущение грозящей утраты. Ничто не вечно. Ничто не надежно. Любая победа рано или поздно оборачивается поражением.

Мэйбл Толкин похоронили в ограде католической церкви в Брумсгрове. Над ее могилой отец Френсис Морган поставил каменный крест — точно такой же, какие стояли над могилами священников на кладбище в Реднэле. В завещании Мэйбл назначила его опекуном своих сыновей — и выбор ее оказался удачным: отец Френсис относился к мальчикам с неизменной щедростью и любовью. Щедрость его была облечена во вполне материальную форму: у отца Френсиса были свои доходы от семейной торговли хересом, и, поскольку устав Молельни не обязывал ее членов вносить свое имущество в общую казну, он

мог использовать эти деньги по своему усмотрению. После Мэйбл осталось всего восемьсот фунтов капитала, вложенного в акции, и мальчикам пришлось бы жить на проценты с этих акций, но отец Френсис втихомолку пополнял их из собственного кармана, заботясь о том, чтобы Рональд и Хилари не испытывали нужды ни в чем необходимом.

После смерти их матери надо было как можно быстрее подыскать мальчикам место, где жить. Это было не так–то просто. Идеальным выходом, конечно, было бы поселить их у родных, но существовала опасность, что дядюшки и тетушки с обеих сторон попытаются вырвать детей из объятий католической церкви. Родня уже и без того поговаривала, что следовало бы опротестовать завещание Мэйбл и отправить ее сыновей в протестантский пансион. Однако была у них одна родственница — точнее, свойственница, — которая относилась к религии достаточно равнодушно и могла сдать внаем комнату. Она жила в Бирмингеме, неподалеку от Молельни, так что отец Френсис решил, что ее дом вполне подойдет. И вот, спустя несколько недель после смерти матери, Рональд и Хилари (которым теперь было тринадцать и одиннадцать лет) поселились у своей тетушки, в комнате под самой крышей.

Тетушку звали Беатрис Саффилд. Она жила в мрачном доме на Стерлинг–Роуд, длинном переулке в районе Эджбастон. В распоряжении мальчиков оказалась просторная комната, и Хилари был счастлив: он мог высовываться из окна и швырять камнями в кошек. Но Рональд, все еще не пришедший в себя после удара, каким стала для него смерть матери, возненавидел эти бесконечные крыши и заводские трубы. Вдалеке за ними виднелись зеленые поля и леса, но они теперь принадлежали невозвратному прошлому. Рональд оказался заточен в городе. Смерть матери отрезала ему путь к вольному воздуху, к холму Лики, где он собирал чернику, к домику в Реднэле, где они были так счастливы. И поскольку именно кончина матери разлучила его со всеми этими радостями, он постепенно начал отождествлять их с матерью. Тоска по сельской жизни, и так уже обостренная расставанием с нею, когда Толкинам пришлось уехать из Сэрхоула, теперь была многократно усилена чувством личной утраты. Эта любовь к воспоминаниям о деревенском детстве позднее стала основой его творчества. И в глубине души она была неразрывно связана с любовью к памяти матери.

Тетя Беатрис предоставила им с братом стол и кров — и ничего больше. Она овдовела незадолго до того, детей у нее не было, и жила она бедно. Увы, особой сердечностью она тоже не отличалась. Чувства мальчиков ее не интересовали. В один

прекрасный день Рональд зашел на кухню, увидел в очаге кучку пепла и узнал, что тетя сожгла все бумаги и письма его матери. Ей даже не пришло в голову, что, возможно, племяннику хотелось бы сохранить их.

По счастью, оттуда было недалеко до Молельни. И вскоре Молельня стала для Рональда и Хилари настоящим домом. Рано утром мальчики бежали в храм, чтобы прислуживать отцу Френсису на мессе в его любимом боковом приделе. Потом они завтракали в незатейливой трапезной. Поиграв с кухонным котом в свою любимую игру — они катали его на вращающемся кухонном люке, — мальчики отправлялись в школу. Хилари наконец сдал вступительные экзамены и теперь тоже посещал школу короля Эдуарда. Если времени было достаточно, мальчики вместе шли пешком до Нью–Стрит. Если же часы на Файв–Вэйз показывали, что они опаздывают, Рональд с Хилари садились в омнибус.

В школе Рональд сдружился со многими ребятами. А с одним из мальчиков они вскоре и вовсе стали закадычными друзьями. Этого мальчика звали Кристофер Уайзмен. Сын методистского священника, жившего в Эджбастоне, он был на год младше Рональда, светловолосый, с широким добродушным лицом и критикующий все и вся. Мальчики познакомились в пятом классе осенью 1905 года. Толкин был первым учеником в классе — он теперь подавал большие надежды, — а Уайзмен вторым. Соперничество вскоре переросло в дружбу, основанную на общем интересе к латыни и греческому, любви к регби (в футбол в школе короля Эдуарда никогда не играли) и страсти к спорам обо всем на свете. Уайзмен был неколебим в своей верности методизму, но мальчики обнаружили, что можно спорить о религии без взаимных обид.

Они вместе переходили из класса в класс. Рональд Толкин явно обладал большими способностями к языкам — его мать давно это обнаружила, — а школа короля Эдуарда предоставляла идеальные условия для развития таких способностей. Основой программы было изучение латыни и греческого. Особое внимание изучению обоих языков уделялось в первом (то есть старшем) классе, куда Рональда перевели незадолго до его шестнадцатого дня рождения. За первым классом надзирал своим зорким оком директор школы, Роберт Кэри Джилсон, человек довольно примечательный. Он носил аккуратную заостренную бородку, был изобретателем–любителем, прекрасно знал точные науки и при этом был опытным преподавателем классических языков. В числе его изобретений имелись ветряная мельница, заряжавшая батареи, обеспечивавшие его дом электричеством, разновидность

гектографа, на котором размножали экзаменационные задания для школы (мальчики утверждали, что читать их было невозможно), и пистолет, стрелявший мячами для гольфа. В своих учениках он поощрял стремление исследовать соседние области знания и досконально изучать все, за что берешься. Его пример произвел большое впечатление на Рональда Толкина. Но, невзирая на свою склонность разбрасываться, Джилсон также заставлял учеников тщательно изучать классическую филологию. Это вполне соответствовало наклонностям Толкина; и отчасти именно благодаря урокам Джилсона у него начал развиваться интерес к общим лингвистическим принципам.

Одно дело — знать латынь, греческий, французский и немецкий; совсем другое — понимать, почему эти языки стали такими, какие они есть. Толкин начал докапываться до костей, элементов, общих для всех языков. Фактически он начал изучать филологию как таковую, науку о словах. Дополнительный толчок в этом направлении дало ему знакомство с англосаксонским языком.

Это произошло благодаря Джорджу Бруэртону, учителю, который предпочитал слову «manure» слово «muck». Учась у него, Рональд Толкин выказал интерес к языку Чосера. Бруэртона это очень порадовало, и он предложил мальчику учебник англосаксонского. Толкин с радостью ухватился за него.

Открыв книгу, мальчик оказался лицом к лицу с языком, на котором говорили англичане задолго до того, как на их землю вступили первые норманны. Англосаксонский, называемый также древнеанглийским, казался Рональду родным и знакомым, как предок его родного языка, и в то же время темным и малопонятным. Учебник, рассчитанный на начинающих, был написан достаточно внятно, термины были Рональду знакомы, и вскоре он уже без труда переводил прозаические отрывки в конце книги. Он обнаружил, что древнеанглийский ему нравится, хотя этому языку недоставало эстетического обаяния валлийского. Интерес к древнеанглийскому был скорее историческим: увлекательно изучать язык, от которого происходит твой собственный. А миновав простенькие отрывки из хрестоматии и добравшись до древнеанглийской поэмы «Беовульф», Толкин испытал настоящий восторг. Прочитав «Беовульф», сперва в переводе, а потом и в оригинале, он пришел к выводу, что это одна из удивительнейших поэм всех времен и народов: повествование о воине Беовульфе, который убил двух чудовищ и сам пал в битве с драконом.

Теперь Толкин вернулся к среднеанглийскому и открыл для себя поэму «Сэр Гавейн и Зеленый Рыцарь». Она тоже

воспламенила его воображение: средневековое предание о рыцаре Круглого Стола, разыскивающем таинственного великана, который должен нанести ему удар секирой. Толкин восхищался и самой поэмой, и языком, на котором она написана: он обнаружил, что этот диалект близок к тому, на котором говорили жители западного Мидленда, предки его матери. Он вплотную занялся среднеанглийским, прочел «Перл», аллегорическую поэму об умершей девочке, которую приписывают автору «Сэра Гавейна». Потом Толкин обратился к другому языку. Он сделал первые робкие шаги в древнеисландском и прочел в оригинале, строка за строкой, историю о Сигурде и драконе Фафнире, которую нашел ребенком в «Красной книге сказок» Эндрю Лэнга и которая так его завораживала. К тому времени для школьника он уже был чрезвычайно сведущ в лингвистике.

Он продолжал выискивать «кости» во всех этих языках — рылся в школьной библиотеке, шарил по дальним полкам книжного магазина Корниша неподалеку от школы. В конце концов он добрался до немецких книг по филологии, чудом наскребая денег на их покупку. Немецкие труды были «сухи как пыль», но там были ответы на его вопросы, хотя бы некоторые. Филология значит «любовь к слову». Именно эта любовь и двигала Рональдом. Не холодный интеллектуальный интерес к научным принципам языка — нет, искренняя любовь к самому виду и звучанию слов, зародившаяся в те дни, когда мать впервые начала учить его латыни.

И эта любовь к словам в конце концов подвигла его к созданию своих собственных языков.

Многие дети выдумывают свои собственные словечки. А некоторые — даже целые примитивные языки «для личного пользования», чтобы общаться друг с другом. Этим развлекались и двоюродные сестры Рональда, Мэри и Марджори Инклдон. Их язык назывался «зверинским» и состоял в основном из названий животных: например, фраза «Собака соловей дятел сорока» означала «Ты осел». Инклдоны теперь жили за городом, в Барнт–Грин, деревне по соседству с Реднэлом, и Рональд с Хилари обычно проводили там часть каникул. Рональд выучился «зверинскому языку», и он ему очень нравился. Позднее Марджори (старшая) соскучилась и вышла из игры. А Мэри с Рональдом вместе придумали новый язык, более сложный. Язык назывался «невбош», то есть «новая чушь», и вскоре сделался достаточно развитым, чтобы кузен с кузиной могли сочинять на нем лимерики:

Dar fys ma vel gom co palt: «Hoc

Pys go iskili far maino woe?
Pro si go fys do roc de
Do cat ym maino bocte
De volt fact soc ma taimful gyroc!»

(Жил да был старик, который говорил: «Как же мне нести свою корову? Ведь если попросить ее сесть в корзину, она устроит жуткий скандал!»)

Подобные выдумки доставляли им немало веселых минут. А когда Рональд подрос, это подало ему идею. Некогда, только начиная изучать греческий, он развлекался тем, что выдумывал слова, которые звучали бы похоже на греческие. А что, если пойти дальше и изобрести целый язык — что–нибудь более серьезное и продуманное, чем невбош, слова которого по большей части являлись лишь подражанием английским, французским и латинским? Возможно, от этого языка не будет никакой пользы — хотя эсперанто в те времена был весьма популярен, — но зато это интересно и это позволит ему записать все свои любимые звуки! Попробовать, несомненно, стоило. Ведь если бы он интересовался музыкой, он бы наверняка захотел сочинять мелодии — так почему бы не сочинить свою собственную систему слов, которая будет как бы симфонией, написанной просто так, для себя?

Став взрослым, Толкин полагал, что эта тяга к придумыванию языков свойственна многим детям школьного возраста. Однажды, говоря о создании языков, он заметил: «Это отнюдь не редкость, знаете ли. Детей, у которых имеется то, что можно назвать творческой жилкой, куда больше, чем принято считать, — просто это стремление к творчеству не ограничивается какими–то определенными рамками. Не все любят рисовать, не все хотят заниматься музыкой — но большинству хочется что–нибудь создавать. И если основной упор в образовании делается на языки, творчество примет лингвистическую форму. Это явление настолько распространено, что я в свое время подумывал о необходимости целенаправленно его исследовать».

Когда юный Толкин впервые начал разрабатывать язык, построенный на продуманной системе, он решил взять за основу — или хотя бы за отправную точку — один из существующих языков. Валлийский он знал недостаточно и потому обратился к другому излюбленному источнику новых слов — собранию испанских книг в комнате отца Френсиса. Его опекун свободно говорил по–испански, и Рональд не раз просил научить его этому языку, но из этого ничего не вышло; однако книги были предоставлены в его полное распоряжение. Теперь он снова

взялся за них и начал разрабатывать язык, который назвал «наффарин». В языке чувствовалось сильное испанское влияние, но система грамматики и фонологии там была своя. Рональд работал над ним от случая к случаю и, наверное, углубился бы в него значительно сильнее, не попадись ему язык, который понравился ему куда больше испанского.

Один из его школьных друзей купил на благотворительной распродаже книгу, но потом обнаружил, что ему она ни к чему, и перепродал ее Толкину. Это был «Учебник готского языка» Джозефа Райта. Толкин открыл ее — и испытал «такой же, если не больший, восторг, как тогда, когда впервые заглянул в чапменовского Гомера» [Речь идет об «Одиссее» в переводе английского поэта и драматурга эпохи Возрождения Джорджа Чапмена (1559—1634). Перевод Чапмена, выполненный рифмованным пятистопным ямбом, производил неизгладимое впечатление на многих читателей, впервые открывающих для себя Гомера]. Готский язык исчез с лица земли вместе с народом, который на нем говорил, но кое–какие письменные фрагменты дожили до наших дней — и Толкину они показались невероятно притягательными. Ему мало было просто выучить язык — он начал изобретать «дополнительные» готские слова, чтобы заполнить лакуны в ограниченном словаре дошедших до нас текстов, а отсюда перешел к реконструкции германского языка, от которого якобы не сохранилось письменных источников. Толкин поделился своим энтузиазмом с Кристофером Уайзменом. Тот отнесся к его затее с пониманием: он сам занимался египетским языком и учил иероглифы. А Толкин начал еще и развивать свои выдуманные языки «в прошлое» — создавать гипотетические «более ранние» формы слов: он считал это необходимым для разработки языка со стройной «исторической» системой. Он работал еще и над выдуманными алфавитами: в одной из его записных книжек школьных дней имеется система кодов–символов для каждой буквы английского алфавита. Но все же больше всего его занимали языки. Часто Рональд на целый день запирался в комнате, где жили они с Хилари, и, как писал он в своем дневнике, «изрядно продвинулся в своем личном яз.».

Отец Френсис делал очень многое для братьев Толкинов после смерти их матери. Каждое лето он вывозил их на каникулы в Лайм–Риджис. Они останавливались в гостинице «Три чаши» и навещали его друзей, живущих по соседству. Рональд любил лаймские пейзажи и в дождливые дни с удовольствием рисовал этюды; в хорошую же погоду он предпочитал бродить вдоль берега или лазить по огромной осыпи, которая появилась на месте недавно обвалившегося утеса близ города. Один раз он

нашел доисторическую челюсть — и решил, что это окаменевшие останки дракона. Во время этих каникул отец Френсис много разговаривал с мальчиками. Он видел, что им не очень уютно в унылой комнате в доме тети Беатрис. И, в очередной раз вернувшись в Бирмингем, он принялся искать что–нибудь получше. И подумал о миссис Фолкнер, жившей на Дачис–Роуд за Молельней. Она устраивала музыкальные вечера, на которых бывали некоторые из отцов, и сдавала комнаты. Отец Френсис решил, что у нее Рональду с Хилари будет лучше. Миссис Фолкнер согласилась взять мальчиков, и в начале 1908 года они переехали в Дом 37 по Дачис–Роуд.

Это было угрюмое здание, заросшее ползучими растениями, с пыльными кружевными занавесками на окнах. Рональду с Хилари дали комнату на третьем этаже. Кроме них, в доме обитали Луи, муж миссис Фолкнер (виноторговец, отдававший Щедрую дань своему товару), их дочь Хелен, горничная Энни и еще один жилец — девятнадцатилетняя девушка, которая поселилась на втором этаже, под комнатой мальчиков, и большую часть времени проводила за швейной машинкой. Звали ее Эдит Брэтт.

Она была очень хорошенькая, невысокая, стройная, с серыми глазами, четкими правильными чертами лица и короткими темными волосами. Мальчики узнали, что она тоже сирота — мать ее умерла пять лет тому назад, а отец еще раньше. На самом деле Эдит была незаконнорожденная. Ее мать, Фрэнсес Брэтт, родила Эдит 21 января 1889 года в Глостере, куда она уехала, надо думать, затем, чтобы избежать скандала, — ведь жила она в Вулвергемптоне, где ее семья владела обувной фабрикой. Когда родилась Эдит, Фрэнсес было тридцать лет. Позднее она вернулась в округ Бирмингема, не побоявшись пересудов соседей, и поселилась с дочерью в пригороде Хэндсворт. Фрэнсес Брэтт так и не вышла замуж, и имя отца ребенка в свидетельстве о рождении не стояло, хотя у Фрэнсес хранилась его фотография и в семье Брэттов знали, кто он. Но если Эдит и было известно имя своего отца, своим детям она его не сообщила.

Детство Эдит было сравнительно счастливым. Она выросла в Хэндсворте, воспитывали ее мать и кузина Дженни Гроув. Брэтты очень дорожили родством с Гроувами, потому что благодаря этому их родственником оказывался и знаменитый сэр Джордж Гроув, издатель музыкального словаря. У Эдит тоже проявились способности к музыке. Она очень хорошо играла на фортепьяно, и после смерти матери ее отправили в женский пансион, специализировавшийся на музыке. Предполагалось, что, закончив школу, она сможет зарабатывать как учительница музыки — а возможно, даже давать концерты. Но ее опекун, семейный

адвокат, похоже, совершенно не представлял, что делать с ней дальше. Он нашел ей комнату у миссис Фолкнер, предполагая, что любовь хозяйки к музыке создаст для девушки благоприятную атмосферу, а в доме найдется фортепьяно для занятий. Но что потом — он понятия не имел. Впрочем, торопиться было некуда: Эдит унаследовала несколько земельных участков в разных районах Бирмингема, и доходов с них ей вполне хватало на то, чтобы содержать себя. Так что в данный момент ничего делать было не надо — вот ничего и не делалось. Эдит осталась у миссис Фолкнер; но вскоре обнаружилось: хотя хозяйка весьма довольна, что ее жиличка может играть на фортепьяно и аккомпанировать солистам на ее вечерах, к занятиям на фортепьяно она относится куда прохладнее. Стоило Эдит взяться за свои гаммы и арпеджио, как в комнату влетала миссис Фолкнер. «Эдит, милочка, — говорила она, — может быть, довольно на сегодня?» И Эдит печально возвращалась в свою комнату, к швейной машинке.

А потом в доме появились братья Толкины. Мальчики ей очень понравились. Особенно Рональд. У него было такое серьезное лицо, такие безупречные манеры… Рональд же, несмотря на то, что ему нечасто приходилось общаться с ровесницами, обнаружил, что близкое знакомство вскоре помогло ему преодолеть смущение. Они с Эдит очень подружились.

Правда, ему было шестнадцать, а ей девятнадцать. Но Рональд был достаточно взрослым для своих лет, а Эдит выглядела моложе: очень аккуратненькая, невысокая и притом изумительно хороша собой. Конечно, она не разделяла его интереса к языкам, и к тому же образование, полученное ею, оставляло желать лучшего. Но вела она себя очень располагающе. Молодые люди объединились против Старой Леди, как они прозвали миссис Фолкнер. Эдит подговаривала Энни, горничную, таскать с кухни что–нибудь вкусненькое для голодных ребят с третьего этажа, и, когда Старой Леди не было дома, мальчики спускались в комнату Эдит и устраивали тайные пиршества.

Эдит с Рональдом стали ходить по бирмингемским кафе. Особенно им полюбилось то кафе, где был балкон, выходящий на улицу. Они сидели к бросали кусочки сахара на шляпы прохожим, а когда сахарница пустела, переселялись к соседнему столику. Потом они придумали условный свист Когда Рональд слышал его ранним утром или вечером, перед сном, он подходил к окну и выглядывал наружу, чтобы увидеть Эдит, которая ждала у своего окна внизу.

Естественно, что двое молодых людей с такими характерами и в таких обстоятельствах не могли не влюбиться. Оба были сиротами, обоим не хватало душевной теплоты, и они

обнаружили, что могут дать друг другу то, в чем оба нуждаются. И летом 1909–го они решили, что любят друг друга.

Много позже в письме к Эдит Рональд вспоминал, «как я в первый раз поцеловал тебя, а ты меня — почти случайно, и как мы говорили друг другу «спокойной ночи», и ты иногда бывала в своей беленькой ночной рубашечке, и эти наши дурацкие длинные разговоры из окна в окно; и как мы любовались сквозь туман солнцем, встающим над городом, и слушали, как «Большой Бен» отбивает час за часом, и ночные мотыльки, которые временами пугали тебя, и наш условный свист, и велосипедные прогулки, и беседы у очага, и три крепких поцелуя».

Рональду полагалось готовиться к сдаче экзаменов на получение оксфордской стипендии. Но как он мог сосредоточиться на классических текстах, когда голова у него была занята наполовину созданием языков, а наполовину — Эдит? А в школе появилось еще одно, новое увлечение: дискуссионный клуб, пользовавшийся большой популярностью у старших учеников. Сам Рональд в дискуссиях прежде не участвовал, вероятно, оттого, что голос у него все еще был писклявый, мальчишеский, а также из–за того, что он уже тогда «славился» невнятностью дикции. Однако в этом триместре он, подстегиваемый новообретенной уверенностью в себе, впервые выступил с речью в поддержку целей и тактики суфражисток. Речь сочли достойной, хотя в школьном журнале писали, что его способности «несколько подпорчены плохой манерой преподнесения». В другом докладе, на тему (вероятно, им же самим и предложенную) «О плачевных последствиях норманнского завоевания», Рональд, по словам журнала, осуждал «наплыв многосложных варваризмов, вытеснивших более порядочные, хотя и более скромные исконные слова»; а в дискуссии об авторстве пьес Шекспира он «неожиданно и без всякого на то основания обрушился на Шекспира, на его мерзкий родной город, на отвратительную среду, в которой тот жил, и на его гнусный характер». Рональд также достиг немалых успехов в регби. Он был худощав, почти что тощ, но уже научился компенсировать недостаток веса жесткостью игры. Он из кожи вон лез и добился того, что его взяли в школьную команду. А попав в команду, начал играть так, как никогда прежде. Вспоминая позднее тот год, он приписывал свои успехи рыцарскому порыву: «Я был воспитан в романтических понятиях и относился к своему юношескому роману всерьез — а потому он стал для меня источником воодушевления».

В один прекрасный день, ближе к концу осеннего триместра 1909 года, они с Эдит сговорились отправиться тайком от всех на

велосипедную прогулку за город. «Нам казалось, что мы все задумали чрезвычайно хитро, — писал он. — Эдит уехала на велосипеде раньше меня, сказав, что отправляется в гости к своей кузине, Дженни Гроув. Немного погодя выехал я, «потренироваться на школьной спортплощадке». Мы встретились в условленном месте и покатили в холмы Лики». Они провели день в холмах, а потом спустились попить чаю в деревню Реднэл. Их напоили чаем в том самом доме, где Рональд жил несколько месяцев назад, готовясь к экзамену на стипендию. Потом они поехали домой и вернулись на Дачис–Роуд порознь, чтобы не вызывать подозрений. Но они не приняли в расчет длинных языков. Женщина, поившая их чаем, рассказала миссис Черч, экономке дома Молельни, что заезжал в гости мастер [«Мастер» — вежливое обращение, которое присоединяется к имени мальчика.] Рональд и с ним незнакомая девушка. Миссис Черч случайно упомянула об этом при кухарке Молельни. А кухарка, бывшая заядлой сплетницей, пересказала это отцу Френсису.

Опекун Рональда относился к мальчику как отец. Можно себе представить, что он испытал, узнав, что питомец, для которого он не жалел ни любви, ни заботы, ни средств, вместо того чтобы сосредоточиться на учебе, жизненно важной для его судьбы, завел (как быстро показало проведенное расследование) тайный роман с девицей на три года старше его, живущей в том же доме. Отец Френсис вызвал Рональда в Молельню, сказал юноше, что до глубины души потрясен его поведением, и потребовал положить конец интрижке. Затем он переселил Рональда с Хилари на другую квартиру, подальше от девушки.

Может показаться странным, что Рональд не решился просто–напросто ослушаться отца Френсиса и открыто продолжать роман. Но тогда были Другие времена. Приличия требовали, чтобы молодые люди повиновались своим родителям или наставникам; к тому же Рональд очень любил отца Френсиса и зависел от него в денежном отношении. И наконец, Рональд по натуре не был бунтовщиком. Если принять все это во внимание, вполне понятно, почему он покорился.

В разгар скандала из–за Эдит Рональду пришлось ехать в Оксфорд, сдавать экзамен на стипендию. Если бы не смятение чувств, он бы, наверное, куда больше наслаждался своими первыми впечатлениями от Оксфорда. Из окон Корпус–Кристи–Колледжа, где остановился Рональд, открывался вид на такие изумительные башни и парапеты, что по сравнению с этим его родная школа казалась не более чем жалкой тенью. Оксфорд был нов для него во всех отношениях: предки Рональда никогда не учились в университетах. Сейчас у него появился шанс

прославить Толкинов и Саффилдов, отплатить отцу Френсису за доброту и щедрость и доказать, что любовь к Эдит не помешала ему в занятиях. Но это было нелегко. После экзаменов он тщетно искал свое имя в списках стипендиатов. Он не прошел. Рональд уныло повернулся спиной к Мертон–Стрит и Ориэл–Сквер и отправился на вокзал, думая, что, наверно, больше он сюда никогда не вернется.

Но на самом деле в его неудаче не было ничего удивительного и ничего непоправимого. Добиться стипендии в Оксфорде всегда было чрезвычайно трудно, а ведь Рональд сделал лишь первую попытку. Он мог попробовать снова сдать экзамен в следующем декабре. Однако, если бы он и тогда не получил стипендии, шансов попасть в Оксфорд у него не оставалось: плата за обучение на общих основаниях его опекуну была не по карману. Очевидно, ему следовало заниматься усерднее.

«В депрессии и мрачен, как всегда, — писал он в дневнике первого января нового, 1910 года. — Помоги мне, боже! Чувствую себя слабым и усталым». Рональд впервые начал вести дневник — или, по крайней мере, этот дневник был первым, который дошел до нас. Теперь, как и позднее, он поверял дневнику в основном свои горести и печали. Когда уныние рассеялось, Рональд перестал вести дневник.

Теперь перед Рональдом стояла дилемма. Их с Хилари переселили на новую квартиру, но отсюда было не так уж далеко до дома миссис Фолкнер, где по–прежнему жила Эдит. Отец Френсис потребовал прекратить роман, но он не запрещал Рональду видеться с Эдит. Рональду ужасно не хотелось обманывать своего опекуна, но все же они с Эдит решили продолжать тайно встречаться. Они провели день вместе, выехав на поезде за город и обсудив свои планы. Они зашли к ювелиру, где Эдит купила Рональду ручку на его восемнадцатый день рождения, а он купил ей наручные часы ценой в десять фунтов шесть пенсов на ее двадцать первый день рождения, который они отпраздновали назавтра в чайной. Эдит решила принять приглашение пожить в Челтнеме у пожилого адвоката и его жены, которая очень хорошо относилась к девушке. Когда она сказала об этом Рональду, тот записал в дневнике: «Слава богу!» Это казалось наилучшим выходом.

Но их снова видели вместе. На этот раз отец Френсис недвусмысленно дал понять, что запрещает Рональду видеться с Эдит и даже писать ей. Ему дозволили повидаться с нею только один раз: попрощаться перед отъездом в Челтнем. После этого они не должны были общаться до тех пор, пока Рональду не

исполнится двадцать один год, — тогда опекун переставал отвечать за него. Это означало трехлетнюю разлуку. Рональд записал в дневнике: «Три года — это ужасно!»

Более своевольный юноша отказался бы повиноваться; даже Рональд, столь преданный отцу Френсису, с трудом заставил себя смириться с приказом опекуна. 16 февраля он записал в дневнике: «Вчера вечером молился о том, чтобы встретиться с Э. случайно. Молитва моя услышана. Встретил ее в 12.55 у «Принца Уэльского». Сказал, что не могу ей писать, и договорился, что через две недели, в четверг, приду ее проводить. Я повеселел, но до следующей встречи, когда я смогу увидеть ее еще хотя бы раз, чтобы подбодрить ее, так далеко!» 21 февраля: «Увидел издалека маленькую фигурку, бредущую по лужам в макинтоше и твидовой шляпе, и не устоял: перешел через улицу и сказал, что я ее люблю и чтобы держалась бодрее. Это меня немного утешило ненадолго. Молился и много думал». И 23 февраля: «Встретил ее идущей из собора, куда она ходила помолиться за меня».

Несмотря на то что все эти встречи были случайными, последствия были ужасны. 26 февраля Рональд «получил жуткое письмо от о. Ф. Он пишет, что меня опять видели с той девушкой, говорит, что я веду себя плохо и глупо. Обещает не дать мне поступить в университет, если я не перестану. Это значит, что я не могу видеться с Э. И даже писать. Помоги мне, боже! В обед видел Э., но разговаривать не стал. Я всем обязан о. Ф. и должен повиноваться ему». Когда Эдит узнала, что произошло, она написала Рональду: «Для нас наступили самые тяжкие времена».

В среду, 2 марта, Эдит покинула дом на Дачис–Роуд и отправилась в Челтнем. Несмотря на запрет опекуна, Рональд молился о том, чтобы хотя бы взглянуть на нее в последний раз. Когда ей пришло время уезжать, он отправился бродить по улицам, поначалу тщетно. Но наконец «на Френсис–Роуд она проехала мимо меня на велосипеде по пороге на станцию. Теперь я ее больше не увижу, наверно, целых три года».

Глава 4
«ЧК, БО И Т. Д.»

Отец Френсис был не особенно умен — иначе бы он понял, что, разлучая молодых людей, превращает обыкновенный подростковый роман в трагическую любовь. Сам Рональд писал тридцать лет спустя: «Быть может, ничто иное не укрепило бы мою волю настолько, чтобы этот роман стал для меня любовью на всю жизнь (пусть даже эта влюбленность с самого начала была совершенно искренней)».

В первые несколько месяцев после отъезда Эдит Рональд был угнетен и подавлен. От отца Френсиса сочувствия ждать не приходилось: тот все еще не простил своему воспитаннику обмана. На Пасху Рональд попросил у опекуна разрешения написать Эдит — и тот позволил, хотя и весьма неохотно. Рональд послал письмо; Эдит ему ответила. Она сообщала, что ей очень хорошо на новом месте и что «эти ужасные времена на Дачис–Роуд кажутся теперь только сном».

На самом деле жизнь в Челтнеме действительно пришлась ей по вкусу. Эдит жила в доме С. Х. Джессопа и его супруги, которых она звала «дядей» и «тетей», хотя они не приходились ей родней. «Дядя» временами бывал сварлив, но «тетя» все искупала своей добротой: гости к ним почти не заглядывали, если не считать местного викария и пожилых друзей Джессопов, но Эдит могла общаться со своей школьной подругой Молли Филд, чья семья жила неподалеку. Эдит каждый день упражнялась в игре на фортепьяно, брала уроки игры на органе и уже начала играть на службах в приходской англиканской церкви, которую регулярно посещала. Она участвовала в церковных делах, помогала в клубе мальчиков, ездила на пикники с хором. Она вступила в «Лигу подснежника» [Политическая организация консерваторов; выступает в защиту англиканской церкви и монархии.], стала бывать на партийных собраниях консерваторов. Короче, Эдит жила своей собственной жизнью, и ей было очень нелегко отказаться от нее, когда пришло время.

Ну а для Рональда центром жизни сделалась теперь школа. Отношения с отцом Френсисом по–прежнему оставались напряженными, и Молельня уже не могла занимать прежнего места в сердце юноши. Но в школе короля Эдуарда нашлась и дружба, и теплая компания. Школа короля Эдуарда не была пансионом (все ученики были приходящими), а потому там не водилось ни «шлюшек», ни «элиты», столь возмущавших К. С.

Льюиса в его закрытой школе и описанных им позднее в автобиографии «Настигнут радостью» [По–русски опубликована в собрании сочинений Льюиса в 8 томах, том 7]. Конечно, младшие мальчики благоговели перед старшими, но благоговение это внушалось возрастом и успехами, а не принадлежностью к некой высшей касте; что же до гомосексуализма, Толкин утверждал, что в девятнадцать лет он и слова–то такого не знал. Но как бы то ни было, теперь он с головой окунулся в чисто мужской мир. В том возрасте, когда многие молодые люди как раз начинают открывать для себя все очарование женского общества, он, напротив, старался забыть о нем и не думать о любви. Все удовольствия и открытия ближайших трех лет — а эти годы были чрезвычайно важны для его развития, не менее важны, чем годы, проведенные с матерью, — ему предстояло делить не с Эдит, а с людьми своего пола, так что он невольно привык ассоциировать большую часть радостей жизни с мужской компанией.

Чрезвычайно значимую роль в школе короля Эдуарда играла библиотека. Официально ею заведовал один из учителей, на деле же там распоряжались несколько старших учеников, носивших титул «библиотекаря». В 1911 году библиотекарями были Рональд Толкин, Кристофер Уайзмен, Р. Кв. Джилсон (сын директора) и еще три–четыре человека. Эта небольшая тесная группка организовала неофициальное объединение, называвшееся «Чайным Клубом». Вот что рассказывал о его возникновении Уайзмен шестьдесят четыре года спустя:

> «Все началось во время летнего триместра и требовало немалой храбрости. Экзамены тянулись полтора месяца, и, ежели ты не сдавал экзамена, делать было особенно нечего. И мы повадились пить чай в школьной библиотеке. Народ вносил субсидии». Помнится, кто–то притащил банку Рыбных консервов, а есть их никто не стал. Мы сунули ее на полку, на какие–то книжки, и там забыли. Нашли уже много времени спустя, по запаху. Чай кипятили на спиртовке, но вот с заваркой была проблема: куда девать спитой чай? Но «Чайный Клуб» часто засиживался до конца занятий, когда по школе начинали ходить уборщики со своими тряпками, ведрами и метелками. Они посыпали все опилками и подметали. Так вот, мы подбрасывали заварку им в опилки. Поначалу мы пили чай в закутке в библиотеке. А потом, поскольку дело было летом, мы выбрались из школы и стали пить чай в универсаме Бэрроу на Корпорейшн–Стрит. Там в чайной было что–то вроде

> отдельного кабинета, где стоял стол на шестерых и две длинные скамьи; очень уединенное место, оно было известно под названием «Вагончик». Эта чайная стала нашим излюбленным приютом, и мы сменили название на «Барровианское общество» из–за того, что собирались у Бэрроу. Потом я стал редактором «Школьной хроники», и мне нужно было напечатать список учеников, которые чем–то отличились; и напротив фамилий тех, кто состоял в нашем обществе, я поставил звездочку и внизу вписал примечание: «Состоят также в членах ЧК, БО и т. д.» Вся школа неделю гадала, кто такие эти ЧК и БО!»

Состав этого любопытного неофициального общества несколько менялся, но вскоре образовалось постоянное ядро, состоявшее из Толкина, Уайзмена и Роберта Квилтера Джилсона. «Р. Кв.» унаследовал от своего папы выразительное лицо и живой ум; но, возможно, в качестве реакции на отцовский изобретательский энтузиазм, он свои усилия обратил в область рисунка и дизайна, в чем и выказывал немалые способности. Говорил он негромко, но остроумно, любил живопись эпохи Возрождения и восемнадцатого века. Здесь его пристрастия и умения расходились с пристрастиями двоих остальных. Уайзмен неплохо разбирался в естественных науках и музыке; он сделался отличным математиком и композитором–любителем. Джон Рональд, как называли Толкина, интересовался германскими языками и филологией и был полностью поглощен северной литературой. Общим для трех юных энтузиастов было превосходное знание латинской и греческой литературы; а из равновесия между сходными и различными вкусами, общими и необщими познаниями родилась дружба.

Вклад Толкина в дело ЧКБО, как они в конце концов стали себя называть, отражал широкий круг литературы, которую он успел переварить. Он развлекал друзей декламациями из «Беовульфа», «Перла» и «Сэра Гавейна и Зеленого Рыцаря», пересказывал жуткие эпизоды из «Саги о Вельсунгах», мимоходом издеваясь над Вагнером, к чьей интерпретации мифов Толкин всегда относился пренебрежительно. Эти ученые выступления ни в коей мере не казались странными или необычными его друзьям: как выразился Уайзмен, «в ЧКБО их считали лишним доказательством того факта, что ЧКБО само по себе явление странное и необычное». Возможно, что и так; хотя подобные кружки были весьма распространены (и распространены до сих пор) среди образованных подростков, проходящих стадию

восторженного приобщения к интеллектуальным открытиям. Позднее к кружку добавился четвертый член: Джеффри Бейч Смит, на год моложе Джилсона и на три года моложе Толкина. Смит не был «классиком», в отличие от прочих он принадлежал к современной ветви школы. Жил он с братом и овдовевшей матерью в Уэст–Бромидже и отличался, по выражению его приятелей, истинно мидлендским юмором. В ЧКБО его приняли отчасти именно за этот юмор, отчасти же за познания, которые в школе короля Эдуарда встречались нечасто: Смит хорошо разбирался в английской литературе, в особенности в поэзии. Он и сам писал стихи, и даже неплохие. Под влиянием «ДБС» ЧКБО начало открывать для себя значение поэзии — хотя Толкин проникся поэзией несколько раньше.

В школе короля Эдуарда только двое наставников всерьез пытались преподавать английскую литературу. Один был Джордж Бруэртон, а второй — Р. У. Рейнолдс. «Дики» Рейнолдс, некогда работавший критиком в лондонском журнале, пытался внушить своим питомцам некоторое представление о вкусе и стиле. С Рональдом Толкином он не особенно преуспел: тот упорно предпочитал Мильтону и Китсу латинскую и греческую поэзию. Но, однако, должно быть, уроки Рейнолдса все же косвенно повлияли на Толкина, потому что в восемнадцать лет Толкин предпринял первые робкие попытки писать стихи. Написал он немного, и стихи эти были не блестящие: обычные юношеские опусы, ничем не лучше тех, что сочиняли многие его ровесники в то время. Единственный — даже не проблеск необычного, а только лишь намек на него — проявился в июле 1910–го, в стихотворении, где описывается лес. Стихотворение озаглавлено «Солнечный лес», и там есть такие строки:

> Придите ко мне, легкокрылые эльфы,
> Виденьям подобны и отблескам ясным,
> Из света сотканные, чуждые горю,
> Порхайте над буро–зеленым покровом.
> Придите! Танцуйте, о духи лесные!
> Придите! И спойте, пока не исчезли!

[Здесь и далее стихи в переводе С. Лихачевой, если не указано]

Лесные духи, пляшущие на лесном ковре, — довольно странная тема для восемнадцатилетнего юнца, страстного игрока в регби, поклонника Гренделя и дракона Фафнира. С чего бы Толкину вздумалось о них писать?

Возможно, отчасти это связано с Дж. М. Барри [Джеймс Мэттью Барри (1860—1937) — шотландский драматург и романист, автор сказки–притчи о Питере Пэне, вошедшей в золотой фонд» детской литературы, а также ряда пьес с элементом Фантастики]. В апреле 1910–го Толкин посмотрел в бирмингемском театре «Питера Пэна» и записал в дневнике: «Это неописуемо, но я этого не забуду, пока жив. Жаль, что Э. со мной не было». Но возможно, еще большую роль тут сыграл католический поэт–мистик Френсис Томпсон. К концу своей школьной карьеры Толкин успел познакомиться со стихами Томпсона, а позднее сделался едва ли не специалистом по его творчеству. «Солнечный лес» сильно напоминает один из эпизодов в первой части «Песен сестры» Томпсона, где поэт видит на лесной прогалине сперва одного эльфа, а потом целую стайку лесных духов; но стоит ему шевельнуться, и они исчезают. Возможно, именно Томпсон пробудил в Толкине интерес к подобным темам. Но, каково бы ни было происхождение этого интереса, танцующие эльфы не раз встречаются в ранних стихотворениях Толкина.

Однако главной его заботой в течение 1910 года была подготовка в повторному экзамену на оксфордскую стипендию. Толкин старался уделять занятиям как можно больше времени, но вокруг было слишком много отвлекающих факторов, не в последнюю очередь — регби. Нередко он допоздна задерживался на грязной спортплощадке на Истерн–Роуд, откуда нужно было довольно далеко ехать домой, зачастую уже в темноте, подвесив позади к велосипеду мерцающую масляную лампочку. Иногда не обходилось без травм: в одном матче Рональду сломали нос, и он так никогда и не приобрел первоначальную форму; в другой раз Рональд прикусил себе язык, и, хотя рана зажила нормально, позднее именно ей он приписывал нечеткость своей дикции (хотя на самом деле он был известен невнятностью речи еще до того, как прикусил себе язык; его плохая артикуляция была вызвана скорее тем, что он хотел сказать сразу слишком многое, чем какими–либо физиологическими причинами. Стихи он мог читать — и читал — очень выразительно). Кроме того, немало сил он тратил на языки, как реальные, так и вымышленные. Во время весеннего триместра 1910 года он прочитал первому классу лекцию с внушительным названием: «Современные языки Европы: происхождение и возможные пути развития». Лекция растянулась на три часовых занятия, и то учителю пришлось остановить Толкина прежде, чем он успел добраться до «возможных путей развития». Довольно много времени уделял он и дискуссионному клубу. В школе существовал обычай вести дебаты исключительно

на–латыни, но для Толкина это было проще простого: в одном дебате, в роли греческого посла к сенату, он вообще всю свою речь произнес по–гречески. В другой раз он ошарашил своих соучеников, когда, в роли варварского посланника, бегло заговорил по–готски; в третьем случае он перешел на древнеанглийский. Все это отнимало уйму времени, так что нельзя было сказать, что он непрерывно готовился к экзамену. Однако же, отправляясь в Оксфорд в декабре 1910–го, Толкин был куда более уверен в своих силах, чем в прошлый раз.

И на этот раз удача ему улыбнулась. 17 декабря 1910 года Толкин узнал, что ему дали открытую классическую стипендию в Эксетер–Колледже [Один из старейших колледжей Оксфордского университета]. Результат был не столь впечатляющим: получить стипендию высшего разряда ему не удалось, а эта открытая стипендия, рангом чуть ниже, составляла всего лишь шестьдесят фунтов в год. Однако и это было достижением не из последних — а благодаря выходной стипендии, полученной в школе короля Эдуарда, и дополнительным средствам, выделенным отцом Френсисом, Рональд мог позволить себе отправиться в Оксфорд.

Теперь, когда ближайшее будущее Толкина было обеспечено, ему больше не приходилось дни напролет корпеть над книгами. Но и на протяжении последних триместров в школе короля Эдуарда ему нашлось чем заняться. Он стал префектом [Староста класса], секретарем дискуссионного клуба и секретарем спортивной команды. Он прочел в школьном литературном кружке доклад об исландских сагах, проиллюстрировав его отрывками на языке оригинала. Примерно в это же время он открыл для себя «Калевалу» или «Страну героев», основное собрание финской мифологии. Вскоре после этого он с похвалой отзывался об «этом странном народе, этих новых богах, этом племени бесхитростных, низколобых и хулиганистых героев» и прибавлял, что «чем больше я читал, тем больше чувствовал себя дома в этом мире и наслаждался им». Он познакомился с «Калевалой» в переводе В. Х. Кирби, изданном в учебной серии «Эвримен», и теперь решился при первом же удобном случае добыть себе издание в оригинале.

Летний триместр 1911 года был для него последним в школе короля Эдуарда. Триместр, как обычно, завершился представлением греческой пьесы с хорами, положенными на мелодии из мюзик–холла. На этот раз избрали «Мир» Аристофана. Толкин играл Гермеса. Потом спели государственный гимн на греческом (это была еще одна школьная традиция), и занавес школьной карьеры Толкина опустился. «Заждавшиеся родственники отправили школьного привратника

меня разыскивать, — вспоминал Толкин много лет спустя. — Он доложил им, что я вынужден задержаться. «В данный момент он находится в центре внимания», — сообщил привратник. Весьма тактично с его стороны. На самом деле я только что закончил играть в греческой пьесе и еще не успел расстаться с гиматием и сандалиями. И отплясывал нечто, что казалось мне успешной имитацией бешеного вакхического танца». И вдруг все закончилось. Толкин любил школу, и теперь ему не хотелось расставаться с ней. «Я чувствовал себя как птенец, выброшенный из гнезда», — говорил он.

Во время летних каникул он побывал в Швейцарии. Его с братом Хилари включили в группу, собранную семьей Брукс–Смитов. Хилари работал у них на ферме в Сассексе — он рано ушел из школы и посвятил себя сельскому хозяйству. Туристов было человек десять: супруги Брукс–Смит, их дети, Рональд и Хилари Толкин и их тетя Джейн, к тому времени овдовевшая, а также парочка незамужних школьных учительниц, подруг миссис Брукс–Смит. Они приехали в Интерлакен и отправились в горы пешком. Пятьдесят шесть лет спустя Рональд вспоминал об их приключениях:

«Мы шли пешком, с тяжелыми рюкзаками, по большей части горными тропами, практически всю Дорогу от Интерлакена до Лаутербруннена, оттуда в Мюррен, и закончили поход в глубине долины Лаутербрунненталь, среди ледниковых морен. Мы, мужчины, ночевали в суровых условиях, зачастую на сеновале или в хлеву, поскольку шли мы по карте и не заказывали мест в гостиницах. С утра мы довольствовались скудным завтраком, а обедали на природе. Потом мы, помнится, отправились на восток, через два хребта Шайдегге в Гриндельвальд, оставив Айгер и Мюнх по правую руку, и наконец добрались до Майрингена. Мне было ужасно жаль расставаться с видом на Юнгфрау и Зильберхорн, отчетливо вырисовывающийся на фоне синего неба.

Мы пришли в Бриг пешком. В памяти не сохранилось ничего, кроме шума: множество трамваев, которые гремели и визжали чуть ли не двадцать часов в сутки. Проведя там ночь, мы взобрались на несколько тысяч футов наверх, в «деревню» у подножия ледника Алеч, и провели несколько ночей в гостинице–шале, под крышей и в постелях — или, точнее, под постелями: «постелью», bett, у них назывался бесформенный мешок, в который надо было кутаться.

Однажды мы отправились в длинный поход с проводниками на ледник Алеч, и там я едва не погиб. У нас были проводники, но лето выдалось жаркое, а они то ли не приняли этого в расчет, то ли им было все равно, то ли мы поздно вышли… Как бы то ни

было, в полдень мы шли гуськом по узкой тропинке, справа от которой был снежный склон, тянувшийся до самого горизонта, а слева — обрыв и пропасть. В то лето растаяло много снега, и обнажились камни и валуны, которые, по–видимому, обычно занесены. День был жаркий, снег продолжал таять, и мы с тревогой увидели, как некоторые камни, величиной от апельсина до футбольного мяча, а кое–какие и покрупнее, начинают катиться вниз по склону, набирая скорость. Они пересекали нашу тропу и обрушивались в пропасть. Поначалу они двигались медленно, а потом обычно катились по прямой, но тропа была неровная, так что приходилось еще и смотреть под ноги. Я помню, как шедшая передо мной туристка (немолодая учительница) внезапно вскрикнула и метнулась вперед, и через мгновение между нами, буквально в футе от меня, просвистел здоровенный камень. Колени у меня довольно немужественно затряслись.

Потом мы отправились в Вале, но тут мои воспоминания менее отчетливы. Однако я помню, как мы, грязные и оборванные, приплелись в Церматт и как французские bourgeoises dames [Дамы из буржуазии (франц.)] разглядывали нас в лорнеты. Мы взобрались с проводниками в хижину Альпийского клуба, обвязавшись веревками (а не то я бы свалился в расселину в леднике). Я помню ослепительную белизну заснеженных склонов, отделявших нас от черного пика Маттерхорна в нескольких милях оттуда».

Перед возвращением в Англию Толкин купил несколько художественных открыток. Среди них была репродукция картины немецкого художника И. Мадденера. Она называется «Der Berggeist», «Горный дух». На ней изображен старик, сидящий на скале под сосной. У него белая борода, на нем круглая широкополая шляпа и длинный плащ. Он разговаривает с белым олененком, который обнюхивает его протянутые ладони; лицо у него насмешливое, но добродушное. Вдали виднеются горные вершины. Толкин бережно хранил эту открытку. Много лет спустя он написал на листке бумаги, в который она была завернута: «Прототип Гэндальфа». Путешественники вернулись в Англию в начале сентября. Очутившись в Бирмингеме, Толкин принялся собирать вещи. В середине октября его прежний школьный учитель, Дики Рейнольде, у которого была машина, любезно предложил подвезти его до Оксфорда. И Толкин прибыл в Оксфорд к началу своего первого триместра в университете.

Глава 5
ОКСФОРД

Въезжая в Оксфорд, Толкин уже решил, что ему здесь будет хорошо. Этот город он мог любить и чтить — не то что чумазый и унылый Бирмингем. Правда, его собственный колледж, Эксетер, на взгляд стороннего наблюдателя, отнюдь не затмевал красотою все прочие. Бесцветный фасад Джорджа Гилберта Скотта и часовня, безвкусная копия Сент–Шапель [Знаменитая готическая часовня в Париже, славящаяся своими витражами], и впрямь были ничем не примечательнее псевдоготического здания школы в Бирмингеме. Но зато в нескольких шагах оттуда раскинулся парк колледжа, где высокие серебристые березы вздымались выше крыш, и платаны с каштанами протягивали ветви через стену, на Брейзноз–Лейн и Радклифф–Сквер. А для Рональда Толкина это был его колледж, его дом, первый настоящий дом, который появился у него с тех пор, как умерла мать. Внизу, у лестницы, висела табличка с его именем, и стертые деревянные ступени с широкими черными перилами вели в его комнаты, спальню и простой, но уютный кабинет, окна которых выходили на узенькую Терл–Стрит. Это был идеал.

В 1911 году большинство оксфордских студентов происходило из богатых влиятельных семей. Многие принадлежали к аристократии. Именно на таких молодых людей и был в первую очередь рассчитан университет в то время. Отсюда — относительно роскошные условия жизни. В комнатах студентам прислуживали «скауты» (служители колледжа). Но, кроме богатых и знатных, были и другие — «бедные школяры», которые, возможно, бывали не так уж бедны, однако же и не особенно богаты и в университет попадали исключительно благодаря финансовой поддержке стипендий. Первые временами отравляли жизнь вторым, и, если бы Толкин (в качестве студента, происходящего из среднего класса) оказался в одном из более престижных колледжей, на него бы, вероятно, смотрели свысока. Но, по счастью, в Эксетер–Колледже такого социального расслоения не существовало.

Толкину повезло и в том отношении, что среди второкурсников его колледжа оказалось двое католиков. Они его разыскали, чтобы удостовериться, что новичок устроился как следует. Потом он быстро обзавелся множеством приятелей, хотя с деньгами приходилось обращаться осмотрительно: ведь человеку с небольшими доходами не так–то просто соблюдать

экономию в обществе, рассчитанном на вкусы богачей. Его «скаут» каждое утро приносил завтрак ему в комнаты, и для себя–то Толкин мог обойтись скромным кофе с гренками, но в Оксфорде было принято приглашать к завтраку друзей, а это означало, что придется заказать что–нибудь посущественнее. Ланч состоял из обычного «рациона» — хлеб, сыр, пиво, и его служитель тоже приносил в комнаты; но обедать все студенты колледжа обязаны были в столовой. Кормили там недорого, но за обедом было принято угощать приятелей пивом или вином, и, разумеется, от каждого ожидали ответного жеста. Так что, когда в субботу утром подавали «бэтл», то есть счет за содержание, студент мог обнаружить, что израсходовал многовато. А еще приходилось покупать одежду и кое–какую мебель в комнаты: колледж предоставлял только самое необходимое. Так что траты росли как на дрожжах, и, хотя оксфордские торговцы имели обыкновение предоставлять почти неограниченный кредит, рано или поздно платить приходилось. Год спустя Толкин писал, что у него скопилось «довольно много неоплаченных счетов», и добавлял, что «финансовые дела обстоят не блестяще».

Вскоре он с головой окунулся в университетскую жизнь. Он и здесь играл в регби, хотя в ведущие игроки команды колледжа так и не выбился. Греблей он не занимался, поскольку этот вид спорта в Оксфорде был уделом выпускников дорогих пансионов, но зато вступил в Эссеистский клуб и в Диалектическое общество. Толкин присоединился также и к «Степлдону», дискуссионному клубу колледжа; а для ровного счета основал еще и свой собственный клуб. Клуб назывался «Аполаустики» («посвятившие себя наслаждению») и состоял по большей части из таких же новичков, как он сам. Были доклады, дискуссии, дебаты; были также и шумные, роскошные обеды. На порядок выше, чем чаепития в школьной библиотеке, все это, однако, в сущности, представляло собой проявление того же инстинкта, что привел к созданию ЧКБО. Толкин и в самом деле лучше всего чувствовал себя в дружеском кругу, среди приятной беседы, густого табачного дыма (он теперь курил трубку, изредка позволяя себе дорогие сигареты) и в мужской компании.

В Оксфорде компания не могла не быть мужской. Правда, на лекциях бывали и девушки–студентки, но они жили в женских колледжах, мрачных зданиях на окраинах города; и к молодым людям их подпускали не иначе как под строжайшим надзором. Да молодые люди и сами предпочитали общаться друг с другом. Большинство из них только что покинули стены закрытых мужских пансионов, и чисто мужская атмосфера Оксфорда была для них родной. У них был свой собственный сленг, в котором все

привычные слова сокращались и коверкались до неузнаваемости. «Breakfast» («завтрак») превращался в «brekker», «lecture» («лекция») — в «lekker», «Union» («союз») — в «Ugger», а «sing–song» («песенка») и «practical joke» («розыгрыш») — в «sigger–sogger» и «pragger–jogger». Толкин усвоил эту манеру речи и с энтузиазмом принимал участие в студенческих «проказах» («город» против «мантий»), которые были весьма популярны в то время. Вот как он вспоминал об одном из более или менее типичных вечерних развлечений:

«Без десяти девять мы услышали вдалеке крики и поняли, что началась заварушка. Мы выскочили из колледжа и на два часа оказались в самой гуще событий. Примерно час мы «доставали» город, полицию и прокторов [Надзиратель, инспектор в Оксфорде]. Мы с Джеффри «захватили» автобус и покатили на нем на Корнмаркет, издавая адские вопли, а за нами бежала обезумевшая толпа студентов и «городских». Не успели мы доехать до Карфакса, как автобус оказался битком набит студиозусами. Там я обратился к огромной собравшейся толпе с краткой, но прочувствованной речью. Потом мы вышли и пешком дошли до «маггерс–мемаггера» — мемориала Мучеников, — где я снова произнес речь. И за все это нам ничего не было!»

Такое поведение, шумное, наглое и хамоватое, было скорее свойственно студентам из высшего общества, нежели таким «бедным школярам», как Толкин, — большинство последних избегали подобных выходок и целиком посвящали себя учебе; однако Толкин был чересчур общителен, чтобы оставаться в стороне от забав. Отчасти поэтому он сравнительно мало времени посвящал занятиям.

Он изучал античную литературу и обязан был посещать лекции и консультации с наставниками, но в течение первых двух триместров после поступления Толкина в университет в Эксетер–Колледже не было наставника–классика, а к тому времени, как он наконец появился (это был Э. А. Барбер, хорошо знавший предмет, но преподававший его чересчур сухо), Толкин успел разболтаться и распоясаться. Латинские и греческие авторы ему надоели, и сейчас его куда больше влекла к себе германская литература. Лекции, посвященные Цицерону и Демосфену, его не занимали, и он всегда был рад случаю удрать в свои комнаты и заняться на досуге своими выдуманными языками. По–настоящему его интересовал лишь один раздел программы. Для углубленного изучения Толкин выбрал себе сравнительное языкознание, а это означало, что он ходил на семинары и лекции к Джозефу Райту, человеку поистине неординарному.

Джо Райт, йоркширец родом, был человеком, который

действительно всего добился своим трудом. Невзирая на весьма скромное происхождение, ему удалось сделаться профессором сравнительного языкознания. Его с шести лет отдали работать на шерстобитную фабрику, и из–за этого он поначалу не мог выучиться читать и писать. Но годам к пятнадцати он стал завидовать своим товарищам по работе, которые читали газеты, и сам научился грамоте. Много времени ему на это не потребовалось, а желание учиться только разгорелось. Райт пошел в вечернюю школу и стал изучать французский и немецкий. Латынь и математику он выучил сам. Он просиживал за книгами до двух часов ночи, а в пять вставал на работу. В восемнадцать он счел своим долгом поделиться с ближними полученными знаниями и организовал вечернюю школу в комнате домика своей овдовевшей матери. За обучение он брал с товарищей по работе по два пенса в неделю. Когда Райту исполнился двадцать один год, он решил употребить накопленные сбережения на то, чтобы оплатить триместр обучения в немецком университете. Он сел на пароход до Антверпена, а оттуда пешком дошел до Гейдельберга. Там он заинтересовался филологией. И вот бывший фабричный подручный выучил санскрит, готский, старославянский, литовский, русский, древнеисландский, древнесаксонский, древне–и средневерхненемецкии и древнеанглийский. В конце концов он получил докторскую степень. Вернувшись в Англию, он обосновался в Оксфорде, где его вскоре назначили профессором сравнительного языкознания. Он смог позволить себе снять небольшой домик на Норем–Роуд и нанять экономку. Хозяйство он вел с бережливостью истинного йоркширца. К примеру, дома он пил пиво, которое покупал в маленьком бочонке, но со временем решил, что так оно чересчур быстро кончается, и договорился со своей экономкой Сарой, что бочонок будет покупать она, а он станет ей платить за каждую кружку. Райт продолжал непрерывно работать, взялся писать серию самоучителей по языкам, среди которых был и учебник готского, оказавшийся таким откровением для юного Толкина. А главное, он начал составлять словарь английских диалектов, который в конце концов был опубликован в шести огромных томах. Сам он так и не избавился от йоркширского акцента и по–прежнему свободно говорил на диалекте своей родной деревни. По ночам он до света засиживался за работой. Жил он в коттедже на две семьи, и в другой половине дома обитал доктор Нойбауэр, преподаватель талмудистской литературы. У Нойбауэра было плохое зрение, и он не мог работать при искусственном освещении. Поэтому, когда Джо Райт ложился спать на рассвете,

он стучал в стенку, чтобы разбудить соседа, и кричал: «Доброе утро!» — на что Нойбауэр отвечал: «Спокойной ночи!»

Потом Райт женился на своей бывшей ученице. У них родилось двое детей, но оба умерли во младенчестве. Тем не менее Райты отнеслись к своему несчастью мужественно и продолжали весело жить в просторном доме на Бенбери–Роуд, выстроенном по чертежам Джо. В 1912–м Рональд Толкин стал бывать у Райта в качестве ученика и навсегда запомнил «огромный стол в столовой, на одном конце которого сидел я, а на другом сверкали в полумраке очки, владелец которых наставлял меня в тонкостях греческой филологии». Не мог он забыть и чаепитий на йоркширский манер, которые Райты устраивали по воскресеньям. Джо нарезал здоровенными ломтями, достойными Гаргантюа, большой кекс с изюмом и коринкой, а абердин–терьер Джек исполнял свой коронный номер: шумно облизывался при слове «smakka–bagms» («смоковница» по–готски).

В качестве наставника Райт передал Толкину свою страсть к филологии, науке, которая помогла ему выбиться в люди из нищеты и безвестности. Райт всегда был требовательным учителем — а именно в этом и нуждался Толкин. Он уже начал поглядывать свысока на коллег–классиков, гордясь своими обширными лингвистическими познаниями. Джо Райт вовремя напомнил Толкину, что ему еще учиться и учиться. В то же время Райт поощрял инициативу. Узнав, что Толкин интересуется валлийским, наставник посоветовал ему заняться этим языком — хотя совет был дан в типично йоркширской манере: «Берись за кельтские языки, парень, тут можно подзаработать деньжат».

Толкин последовал совету, хотя и не совсем так, как предполагал Джо Райт. Он раздобыл средневековые валлийские тексты и принялся читать на языке, который завораживал его с тех пор, как он разбирал названия городков на вагонах с углем. И Толкин не разочаровался: в том, что касалось красоты, валлийский оправдал все его ожидания. Ибо его привлекала именно красота валлийского языка, вид и звучание слов, вне зависимости от смысла. Как сказал однажды сам Толкин, «большинство носителей английского признают, что, к примеру, слова «cellar door» («дверь кладовки») «звучат красиво», особенно если отвлечься от их смысла (и написания). Красивее, чем, скажем, слово «sky» («небо»), и, уж конечно, куда красивее, чем слово «beautiful» («красивый»). Так вот, в валлийском я нашел для себя очень много таких «cellar door». Толкин относился к валлийскому с таким энтузиазмом, что даже странно, почему, будучи студентом, он не удосужился съездить в Уэльс. Впрочем,

это было вполне в его духе. Он изучал древнюю литературу многих стран, но сам побывал лишь в нескольких из них. Отчасти потому, что этому препятствовали обстоятельства, но во многом и потому, что Толкин не очень–то к этому и стремился. И в самом деле, страница средневекового текста может производить впечатление куда более сильное, чем современная реальность той страны, где этот текст родился.

В студенческие годы Толкин вернулся к детскому увлечению рисунком и живописью и немало в этом преуспел. Особенно ему удавались пейзажи. Он также уделял много внимания чистописанию и каллиграфии и овладел разными видами письма. Это увлечение давало пищу как его любви к словам, так и его художественному вкусу. Но еще оно отражало многогранность его натуры: как заметил кто–то (знавший Толкина в течение трех лет), лишь немного преувеличив, «у него для каждого из друзей был отдельный почерк».

Свои первые каникулы в университете, на Рождество 1911 года, Толкин посвятил посещению старых друзей. ЧКБО пережило его уход из школы, и сейчас клуб готовился к величайшему событию в своей короткой истории: постановке «Соперников» Шеридана. Все это затеял Р. Кв. Джилсон, страстный поклонник восемнадцатого века, и, поскольку директором был его отец, получить разрешение не составило труда, несмотря на то что пьесы английских драматургов никогда прежде в школе не ставились. Джилсон с Кристофером Уайзменом, оба все еще ученики школы короля Эдуарда, раздавали роли своим приятелям. Естественно, одна из ролей должна была достаться Дж. Б. Смиту, который официально еще не считался членом ЧКБО, но тем не менее пользовался всеобщей любовью. Однако кто же сыграет главную комическую роль миссис Малапроп? Ну как кто — конечно, их ненаглядный Джон Рональд! И в конце первого триместра Толкин уехал из Оксфорда, чтобы участвовать в последних репетициях.

Представление предполагалось только одно. Костюмная репетиция закончилась задолго до начала спектакля, и члены ЧКБО решили, вместо того чтобы болтаться по школе, сходить попить чайку у Бэрроу (в том самом универсаме, от которого к названию ЧКБО добавилась буква «Б»). Переодеваться не стали, только накинули плащи поверх костюмов. В «Вагончике» никого не было, так что молодые люди плащи сняли. Изумление официантки и продавцов в магазине запомнилось им до конца жизни.

Потом был сам спектакль. В школьном журнале писали: «Миссис Малапроп в исполнении Дж. Р. Р. Толкина явилась

настоящей творческой удачей. Она была превосходна во всех отношениях, не в последнюю очередь благодаря гриму. Р. Кв. Джилсон был весьма обаятелен в роли капитана Абсолюта; роль эта достаточно сложная, но он блестяще с нею справился. Что же до старого холерика сэра Энтони, его прекрасно сыграл К. Л. Уайзмен. Что касается второстепенных персонажей, высокой похвалы заслуживает трудная и неблагодарная роль Фолкленда, сыгранная Дж. Б. Смитом». Постановка окончательно скрепила дружбу Толкина с Дж. Б. Смитом. Эта дружба оказалась длительной и плодотворной, а Смит с тех пор стал считаться полноправным членом ЧКБО.

Во время летних каникул 1912 года Толкин на две недели отправился в лагеря с конным полком короля Эдуарда — отрядом территориальной кавалерии, в который он записался незадолго до того. Скакать верхом по равнинам Кента (лагерь располагался неподалеку от Фолкстона) Толкину понравилось, но погода в эти две недели стояла дождливая и ветреная, и по ночам палатки частенько сдувало. Толкин решил, что походной жизни в седле и под брезентом с него хватит, и через несколько месяцев вышел из полка. После лагеря он отправился в пеший поход по Беркширу, делать зарисовки в деревнях и карабкаться по холмам. А потом вдруг оказалось, что его первый студенческий год подошел к концу.

Толкин мало работал и обленился. В Бирмингеме он бывал у мессы по нескольку раз в неделю, но теперь, без надзора отца Френсиса, он предпочитал по утрам подольше поваляться в постели — особенно после того, как засиживался за полночь с друзьями, куря и болтая у камина. Он печально записал в дневнике, что в свои первые триместры в Оксфорде «не обращался или почти не обращался к религии». Он старался исправиться и даже вел дневник для Эдит, в котором записывал все свои проступки и промахи. Но хотя Эдит оставалась для него сияющим идеалом — ведь они поклялись друг другу в любви, и это связало их навеки! — Толкину запрещалось видеться с нею и писать ей, пока ему не исполнится двадцать один год — а до этого было еще несколько месяцев. А пока что почему бы не тратить время на дорогостоящие обеды, не болтать допоздна с приятелями и не проводить часы за валлийским и выдуманными языками?

Примерно в это же время он открыл для себя финский. Он надеялся когда–нибудь выучить этот язык с тех пор, как прочел «Калевалу» в переводе на английский, а теперь он нашел в библиотеке Эксетер–Колледжа финскую грамматику. С помощью этой грамматики Толкин взялся штурмовать поэму в оригинале.

Позднее он говорил: «Это было все равно что обнаружить винный погреб с бутылками превосходного вина, какого ты никогда раньше не пробовал. Я был совершенно опьянен».

Он так и не выучил финский как следует — все, что ему удалось, — это одолеть часть «Калевалы». Но зато роль финского в создании его собственных языков переоценить трудно. Толкин забросил свой новоготский и принялся создавать для себя язык, в котором чувствовалось сильное влияние финского. Именно этот язык позднее будет фигурировать в его произведениях под названием «квенья», или «высокое эльфийское наречие». Впрочем, до этого еще далеко — однако семя грядущих творений уже было заронено. Он прочел доклад о «Калевале» в научном обществе колледжа, и в этом докладе говорилось о важности мифологии, которую мы видим в финских поэмах. «Эти мифологические песни, — говорил Толкин, — полны той первобытной поросли, которую европейская литература в целом вырубала и прореживала в течение многих веков, хотя и в разной мере и в разные сроки среди разных народов». И добавлял: «Хотел бы я, чтобы у нас сохранилось побольше такой мифологии — чего–нибудь подобного, но принадлежащего англичанам». Примечательная идея; быть может, он уже подумывал о том, чтобы создать такую мифологию для Англии самому?

Рождество 1912 года он провел у своих родственников Инклдонов в Барнт–Грине близ Бирмингема. В этом семействе было принято оживлять зиму самодеятельными театральными постановками, и на этот раз они поставили пьесу, написанную самим Рональдом. Пьеса называлась «Сыщик, повар и суфражистка». Позднее Толкин утверждал, что никогда не любил драматургии, однако на этот раз он был не только автором пьесы, но и ведущим актером — он играл «профессора Джозефа Квилтера, магистра гуманитарных наук, члена Британской академии, и проч., и проч., он же всемирно известный детектив Секстой Кв. Блейк–Холмс, сыщик», разыскивающего пропавшую наследницу по имени Гвендолин Гудчайлд. Наследница же тем временем влюбляется в нищего студента, который снимает комнату в одном с ней доме, и ей нужно, чтобы отец не нашел ее до дня ее совершеннолетия, который должен наступить через два дня, после чего она будет иметь право свободно выйти замуж.

Эта семейная комедия оказалась куда более актуальной, чем могли представить себе Инклдоны. Дело было не только в том, что самому Рональду предстояло отпраздновать свое совершеннолетие через несколько дней после спектакля, но и в том, что он втайне твердо решил воссоединиться с Эдит Брэтт. Он ждал этого почти три года и ничуть не сомневался, что и Эдит его

ждала. Как только часы пробили полночь, отмечая наступление 3 января 1913 года, его двадцать первого дня рождения, Рональд сел в постели и написал письмо Эдит. Он еще раз признавался ей в любви и спрашивал: «Когда же наконец сможем мы соединиться перед богом и людьми?» Вскоре пришло ответное письмо. Эдит писала, что она помолвлена и собирается выйти замуж за Джорджа Филда, брата своей школьной подруги Молли.

Глава 6
ВОССОЕДИНЕНИЕ

Толкин мог бы решить забыть обо всем. Его друзья не подозревали о существовании Эдит. Его дядюшкам, тетушкам, кузенам и кузинам ничего известно не было. Знал только отец Френсис — и, хотя отныне по закону он не являлся опекуном Рональда, тем не менее он не желал, чтобы его воспитанник возобновлял тот давний роман. Так что Рональд мог спокойно порвать письмо Эдит и предоставить ей выйти замуж за Джорджа Фидца.

Однако же Рональд не мог так легко забыть всего, что происходило между ними на Дачис–Роуд, и не собирался нарушать своих обещаний. К тому же последние три года Эдит была его идеалом, его путеводной звездой и надеждой на будущее. Он холил и лелеял свою любовь к ней, так что чувство втайне разрасталось, несмотря на то что Рональду нечем было питать его, кроме юношеских воспоминаний и нескольких детских фотографий Эдит. А потому теперь он не видел иного пути, как отправиться в Челтнем и уговорить Эдит порвать с Джорджем Филдом и выйти замуж за него, Рональда Толкина.

На самом–то деле он знал, что Эдит согласится. Она намекала на это в письме, говоря, что обручилась с Джорджем только потому, что он был добр к ней, а она начинала чувствовать себя старой девой, других же молодых людей рядом не случилось, и она уже не верила, что Рональд захочет вернуться к ней после трехлетней разлуки. «Я начала сомневаться в тебе, Рональд, — писала Эдит, — и думать, что ты, наверно, уже забыл обо мне». Однако его письмо, в котором он утверждает, что любит ее по–прежнему, все меняет…

А потому в среду, 8 января 1913 года, Толкин приехал поездом в Челтнем. Эдит встретила его на платформе. Они ушли за город, сели под железнодорожным мостом и долго разговаривали. И к вечеру Эдит обещала, что порвет с Джорджем Филдом и выйдет замуж за Рональда Толкина.

Она написала Джорджу и отослала ему его кольцо. Бедный юноша поначалу очень расстроился, а его семья была возмущена и оскорблена. Однако постепенно все улеглось, и они вновь стали друзьями. Эдит с Рональдом не спешили объявить о своей помолвке, поскольку побаивались того, что скажут об этом родственники. Молодые люди решили обождать, пока Рональд не определится со своей карьерой. Однако же в Оксфорд к началу

нового триместра Рональд вернулся «вне себя от счастья».

Почти сразу по возвращении он написал отцу Френсису о том, что они с Эдит решили пожениться. Он ужасно нервничал, боясь того, что скажет по этому поводу отец Френсис, но ответ священника был спокойным и сдержанным, хотя особого восторга отец Френсис не выказал. Это было и к лучшему, потому что, хотя священник больше не являлся опекуном Рональда, он по–прежнему помогал молодому человеку деньгами, которые отнюдь не были лишними. Так что Рональду очень повезло, что отец Френсис смирился с его помолвкой.

Теперь, когда Рональд благополучно воссоединился с Эдит, ему следовало целиком посвятить себя подготовке к экзамену «онор–модерейшнз» [В экзамен «онор–модерейшнз» («Honour Moderations»), как и в большинство оксфордских экзаменов, входит ряд письменных работ по различным предметам, имеющим отношение к теме, изучаемой кандидатом. В зависимости от результатов экзамена кандидату присуждаются степени отличия, от первой до четвертой (первая — высшая). (Прим. авт.)], первого из двух экзаменов, которые ему следовало сдать, чтобы получить степень бакалавра. Он пытался выучить за полтора месяца то, что ему следовало освоить за три предыдущих триместра, но отказаться от привычки засиживаться допоздна, болтая с друзьями, было не так–то просто. А по утрам он с трудом заставлял себя подняться с постели — однако, как и многие до него, винил в этом не свои поздние посиделки, а сырой оксфордский климат. Когда в конце февраля начались онор–модерейшнз, Толкин все еще был плохо подготовлен ко многим письменным работам. А потому, узнав, что ему удалось получить вторую степень отличия, он вздохнул с облегчением.

Однако Толкин знал, что мог бы добиться большего. Получить первую степень в «модерашках» было непросто, но, однако же, вполне доступно для способного, упорно занимающегося студента. И тому, кто намерен в дальнейшем посвятить себя научной работе, первая степень, разумеется, необходима. А Толкин уже тогда стремился именно к академической карьере. Однако же по своей специальности, сравнительному языкознанию, он получил «чистую альфу», то есть «отлично»: в его работе практически не нашлось к чему придраться.

Отчасти он был обязан этим тому, что Райт оказался превосходным наставником; но вдобавок это говорило о том, что таланты Толкина лежат именно в этой области; и в Эксетер–Колледже обратили на это внимание. Конечно, колледж был огорчен, что один из стипендиатов не получил первой степени,

но, раз Толкин заработал альфу по языкознанию, возможно, ему следует стать филологом? И доктор Фарнелл, ректор Эксетера (то есть глава колледжа), зная, что Толкин интересуется древнеми среднеанглийским и прочими германскими языками, предложил ему перевестись на английский факультет. Толкин согласился, и в начале летнего триместра 1913 года расстался с классическим факультетом и начал посещать лекции на английском.

«Почетная школа английского языка и литературы» (официальное название факультета) по оксфордским меркам была еще молода. Кроме того, внутри ее царил раскол. По одну сторону пропасти находились филологи и медиевисты, полагавшие, что литературные произведения, созданные позднее Чосера, не заслуживают того, чтобы являться основой университетской программы. По Другую оказались поклонники «современной» литературы (то есть литературы от Чосера до XIX века), которые считали, что изучение филологии и древне–и среднеанглийского — не что иное, как «педантское пустозвонство». Попытка втиснуть обе фракции в рамки одного факультета явилась во многих отношениях ошибкой. В результате же Студенты, решившие специализироваться на «языке» (то бишь древне–и среднеанглийском и филологии), были при этом вынуждены изучать в немалом объеме современную литературу, в то время как людям, интересовавшимся «литературой» (то есть современными авторами), приходилось штудировать тексты из «Англосаксонской хрестоматии» Суита [Генри Суит (1845—1912) — английский ученый, внесший значительный вклад в изучение древнеанглийского языка и английской фонетики. Его «Англосаксонская хрестоматия» и «Самоучитель древнеанглийского языка» не утратили значения и в наши дни. Именно Суит послужил прототипом для профессора Хиггинса из пьесы Б. Шоу «Пигмалион»] и поневоле знакомиться с филологией. Оба курса были составлены на основе компромисса, и обе стороны оставались недовольны.

Разумеется, Толкин нимало не колебался насчет того, какое из отделений ему выбрать. Он намеревался посвятить себя лингвистике. В наставники ему назначили Кеннета Сайзема, молодого новозеландца, который работал помощником у Э. С. Нейпира, профессора английского языка и литературы. Встретившись с Сайземом и ознакомившись с программой обучения, Толкин «впал в панику: я не понимал, как это можно растянуть на два года и триместр добросовестной работы». Все выглядело чересчур простым и знакомым: Толкин уже успел проштудировать многие из текстов, которые ему полагалось прочитать, и даже неплохо знал древнеисландский, который

должен был стать его основной специализацией (под руководством У. Э. Крейги, специалиста по исландскому языку и литературе). Кроме того, поначалу Сайзем показался не слишком многообещающим наставником. Это был тихий молодой человек всего на четыре года старше Толкина — и уж, разумеется, не обладавший яркой индивидуальностью Джо Райта. Но он был добросовестным и трудолюбивым ученым, и вскоре Толкин привязался к нему и проникся к нему уважением. Что же до работы, Толкин теперь проводил за письменным столом больше времени, чем во времена учебы на классическом факультете. Учиться оказалось труднее, чем он думал, потому что требования на английском факультете Оксфорда были очень высокие. Но он достаточно хорошо овладевал предметами, входившими в программу, и вскоре уже писал длинные и сложные работы: «Проблемы распространения фонетических изменений», «Удлинение гласных в древне–и среднеанглийский периоды» и «Англо–норманнский элемент в английском языке». Особое внимание Толкин уделял изучению западно–мидлендского диалекта среднеанглийского, поскольку этот диалект ассоциировался с детством и его предками; кроме того, он читал множество древнеанглийских текстов, которые ему прежде не встречались.

Среди этих текстов был «Христос» Кюневульфа, собрание англосаксонских религиозных стихов. И две строки из поэмы запали в душу молодому Толкину:

> Eala Earendel engla beorhtast
> ofer middangeard monnum sended.

«Привет тебе, Эарендель, светлейший из ангелов, над средиземьем людям посланный». В англосаксонском словаре «Earendel» переводится как «сияющий свет, луч», но здесь это слово, очевидно, имеет какое–то особое значение. Сам Толкин интерпретировал его как аллюзию на Иоанна Крестителя, но полагал, что первоначально слово «Эарендель» было названием звезды, предвещающей восход, то есть Венеры. Слово это, обнаруженное у Кюневульфа, взволновало его, непонятно почему. «Я ощутил странный трепет, — писал он много лет спустя, — будто что–то шевельнулось во мне, пробуждаясь от сна. За этими словами стояло нечто далекое, удивительное и прекрасное, и нужно было только уловить это нечто, куда более древнее, чем древние англосаксы».

А в предмете, бывшем его специализацией, нашлось еще больше пищи для воображения. Древне–норвежский (или

древнеисландский — эти названия взаимозаменяемы [В России более принят термин «древнеисландский», поскольку большинство памятников этого языка созданы именно в Исландии]) — язык, привезенный в Исландию норвежцами, бежавшими из родной страны в IX веке. Толкин уже был немного знаком с древнеисландским, а теперь принялся углубленно изучать произведения, написанные на этом языке. Он читал саги и «Прозаическую», или «Младшую Эдду». Он также обратился к «Поэтической», или «Старшей Эдде», и обрел древнюю сокровищницу исландских мифов и легенд.

«Старшей Эддой» называется собрание поэм, часть текстов которых сохранилась не полностью или испорчена. Основная рукопись памятника датируется XIII веком. Но большинство поэм гораздо старше и, возможно, восходит к периоду до заселения Исландии. Песни «Старшей Эдды» делятся на героические, повествующие о мире людей, и мифологические, где говорится о деяниях богов.

Самой выдающейся из мифологических песен «Старшей Эдды» является «Voluspa» или «Прорицание вельвы», то есть «пророчицы», где рассказывается об истории мира, космоса, начиная от его создания, и предрекается его судьба в будущем. Наиболее примечательная из всех германских мифологических поэм, «Прорицание вельвы», восходит к эпохе конца северного язычества, когда на смену старым богам вот–вот было должно прийти христианство; однако «Прорицание» в своем описании языческого космоса сохраняет дух живого мифа, ощущение благоговения и таинственности. И, разумеется, Толкин не мог остаться равнодушным к этому духу.

В течение месяцев, последовавших за воссоединением влюбленных, вопрос о религии Эдит оставался весьма болезненным для них обоих. Для того чтобы церковь Рональда могла благословить их брак, Эдит следовало перейти в католичество. Теоретически Эдит этому только радовалась — более того, она полагала, что их семья когда–то, давным–давно, была католической. Но на деле проблема оказалась не из простых. Эдит принадлежала к англиканской церкви и вела достаточно активную деятельность в своей общине. Ведь в те три года, что Эдит провела в разлуке с Рональдом, немалая часть ее жизни была сосредоточена на приходской церкви в Челтнеме, и девушка принимала большое участие в церковных делах. Естественно, что к этому времени Эдит занимала достаточно видное положение в приходе — а приход был весьма достопочтенный, типичный для этого фешенебельного городка. И вот теперь Рональд требует, чтобы она отказалась от всего этого и

стала ходить в церковь, где ее никто не знает… С этой точки зрения перспектива перехода в католичество рисовалась далеко не столь радужной. К тому же Эдит боялась, что «дядя» Джессоп, у которого она жила, может разгневаться: он, как и большинство людей его возраста и социального положения, был заклятым врагом католичества. Позволит ли он ей остаться в своем доме до брака, если она вздумает стать «паписткой»? Положение было очень неловкое; и Эдит предложила Рональду обождать до тех пор, пока они не заключат официальной помолвки или пока не приблизится время свадьбы. Но Рональд и слышать об этом не желал. Он хотел, чтобы Эдит перешла в католичество немедленно. Англиканскую церковь он терпеть не мог и называл ее «жалким и размытым месивом полузабытых преданий и искаженных верований». А если Эдит подвергнется преследованиям за свое решение перейти в католичество — что ж, ведь с его дорогой матушкой было то же самое, и она–то это пережила! «Я искреннейше верю, — писал он Эдит, — что малодушие и мирские страхи не должны препятствовать нам неуклонно следовать свету». Надо заметить, что сам он вновь начал регулярно ходить к мессе и, очевидно, предпочел забыть о своих прошлогодних прегрешениях. Очевидно, что он принимал вопрос о переходе Эдит в католичество близко к сердцу. Возможно, это отчасти было также испытанием ее любви, после того как Эдит изменила ему, обручившись с Джорджем Филдом, хотя сам Толкин в этом ни за что бы не признался.

И Эдит поступила так, как он хотел. Она сообщила Джессопам, что намерена перейти в католичество. «Дядя» среагировал именно так, как она опасалась: он приказал девушке убираться из его дома, как только она найдет себе другое жилье. В этих обстоятельствах Эдит решила поселиться вместе со своей старшей кузиной, Дженни Гроув, миниатюрной решительной женщиной, страдавшей искривлением позвоночника. Они принялись вместе подыскивать себе квартиру. Вроде бы высказывалось предположение, что они поселятся в Оксфорде, так чтобы Эдит могла чаще видеться с Рональдом, но, похоже, она не особенно к этому стремилась. Быть может, ей не понравилось давление, которое он оказывал на нее в вопросе перехода в католичество. Как бы то ни было, до брака она стремилась остаться независимой. Они с Дженни выбрали Уорик. Уорик находился неподалеку от их родного Бирмингема, но был куда привлекательнее. Поискав, они сумели найти временную квартиру, а в июне 1913–го к ним приехал Рональд.

Уорик, с его вековыми деревьями и замком на холме, поразил Толкина своей красотой. Стояла жара, и они с Эдит ходили

кататься на плоскодонке по Эйвону. Они вместе присутствовали на бенедикции в католической церкви «и ушли счастливые и умиротворенные, — писал Толкин, — потому что это был первый раз, когда мы смогли спокойно сходить в церковь вместе, рука об руку». Однако предстояло еще подыскать жилье для Эдит с Дженни, а когда подходящий дом нашелся, пришлось улаживать еще множество всяких дел. Рональд обнаружил, что часы, ухлопанные на домашние заботы, порядком раздражают. Вообще, они с Эдит далеко не всегда бывали счастливы вместе. Они успели стать достаточно чужими людьми: ведь три года, проведенные ими в разлуке, прошли в совершенно разной среде. Его среда была чисто мужской, шумливой, академической, ее — разнополой, безмятежной, домашней. Оба выросли и повзрослели, но росли они в разные стороны. Отныне каждый из них должен был идти на уступки ради того, чтобы достичь подлинного понимания. Рональду приходилось мириться с тем, что Эдит поглощена сиюминутными мелочами жизни, несмотря на то что ему самому они казались не заслуживающими внимания. Ей было необходимо приложить все усилия, чтобы понять, что Рональд действительно с головой погружен в свои книги и языки, хотя ей это могло казаться эгоцентричным. Увы, ни ему, ни ей не удалось полностью преуспеть в этом. Их переписка была полна нежных чувств — но временами и взаимного раздражения. Рональд привык обращаться к Эдит «малышка» (ему нравилось так ее называть) и с любовью говорить о ее «маленьком домике», но на самом–то деле она была вполне взрослым, сформировавшимся человеком, и, когда они сходились, столкновение их индивидуальностей нередко приводило к взрыву. Отчасти проблема заключалась еще и в том, что Рональд взял на себя роль сентиментального любовника и эта маска не имела ничего общего с тем лицом, которое он показывал своим друзьям–мужчинам. Их с Эдит связывали искренняя любовь и понимание, но зачастую Рональд облекал эти чувства в затертые романтические клише — а ведь, возможно, если бы он не постеснялся продемонстрировать ей свое «книжное» лицо и познакомить ее со своими друзьями, она бы не стала так возражать, когда все это всплыло после свадьбы. Однако он предпочитал жестко разграничивать эти две стороны своей жизни.

После Уорика Рональд отправился в Париж в качестве наставника и воспитателя при двух мальчиках–мексиканцах. В Париже к ним присоединились третий мальчик и две тетушки, которые практически не знали английского. Рональд стыдился своего испанского, который пребывал в зачаточном состоянии, а

столкнувшись с необходимостью говорить по–французски, он обнаружил, что и французский почти забыл. Париж ему очень понравился, и он с удовольствием бродил по улицам в одиночестве, но французы, которые встречались ему на этих улицах, ужасно раздражали, и он писал Эдит, что они «вульгарны, непрерывно тараторят, плюются и вообще непристойны». Францию и французов Толкин невзлюбил задолго до этой поездки, и то, что он увидел теперь, не излечило его от галлофобии. А то, что случилось позднее, лишь укрепило его в нелюбви к Франции — и неудивительно. Тети и мальчики решили посетить Бретань. Толкин был чрезвычайно доволен: ведь коренное население Бретани — кельты — и до сих пор говорит на языке, во многом напоминающем валлийский. Но они остановились в Динаре, курортном городишке, точно таком же, как и все прочие курорты. «Я в Бретани — и что же? — писал Рональд Эдит. — Вокруг — одни туристы, мусор да купальные кабинки». Но худшее было еще впереди. Через несколько дней после приезда Толкин шел по улице вместе с одним из мальчиков и старшей тетушкой. Внезапно на тротуар вылетела машина и сбила тетушку, причинив ей многочисленные внутренние повреждения. Рональд помог отнести пострадавшую в отель, но через несколько часов та скончалась. Остаток каникул прошел в бестолковых хлопотах по отправке тела домой, в Мексику. Рональд привез мальчиков обратно в Англию и сказал Эдит: «Никогда больше не возьмусь за такую работу — разве что окажусь в крайней нищете».

Осенью 1913 года в Оксфорде появился его друг Дж. Б. Смит. Он закончил школу короля Эдуарда и стал стипендиатом колледжа Корпус–Кристи. Он собирался изучать английскую литературу Теперь ЧКБО было в равной степени представлено как в Оксфорде, так и в Кембридже: в последнем уже учились Р. Кв. Джилсон и Кристофер Уайзмен. Четверо друзей временами встречались, но Толкин никогда не говорил им о существовании Эдит Брэтт. Теперь, когда приближалось время ее вступления в лоно католической церкви, они решили заключить официальную помолвку, и Толкину поневоле пришлось сообщить об этом друзьям. Он написал Джилсону и Уайзмену, явно не зная, что и как сказать: он даже не назвал им имени своей невесты. Очевидно, он полагал, что такие вещи не имеют отношения к мужскому товариществу ЧКБО. Друзья поздравили его, однако Джилсон проницательно заметил: «Впрочем, я не боюсь, что такой стойкий ЧКБОист, как ты, когда–нибудь переменится».

Наставником Эдит в католической вере был отец Мерфи, приходской священник из Уорика. Он добросовестно выполнял

свою работу — и не более того. Рональд позднее многое относил на счет того, как плохо ее наставляли в ту пору. Но сам он ей не помогал. Ему было трудно передать ей свою собственную глубокую и страстную веру, которая к тому же тесно переплеталась с воспоминаниями о покойной матери.

8 января 1914 года Эдит была принята в лоно римско–католической церкви. Они с Рональдом нарочно выбрали именно эту дату — то была первая годовщина их воссоединения. Вскоре после этого они с Рональдом были официально помолвлены в церкви отцом Мерфи. Эдит впервые исповедалась и причастилась, и это доставило ей «удивительное, великое счастье». Первое время она оставалась в этом восторженном состоянии духа, регулярно ходила к мессе и часто причащалась. Но католическая церковь в Уорике выглядела так бедно по сравнению с роскошным собором в Челтнеме (даже сам Рональд называл ее «убогой»), и, хотя Эдит помогала церковному клубу для работниц, у нее было мало друзей среди прихожан. К тому же необходимость исповедоваться начала ее раздражать. А потому, когда она плохо себя чувствовала (а такое бывало частенько), она охотно отказывалась от посещения мессы. Она сообщила Рональду, что необходимость вставать к мессе ни свет ни заря и ничего не есть до причастия для нее невыносима. «Мне и хотелось бы пойти к мессе, — говорила она, — и мне очень жаль, что я не могу ходить туда чаще, но это совершенно невозможно: мое здоровье этого не позволяет».

Жизнь ее превратилась в унылую рутину. Жить в своем доме, в обществе кузины Дженни, оказалось в принципе неплохо, но они временами действовали друг другу на нервы, а в отсутствие Рональда поговорить больше было решительно не с кем и заняться нечем, кроме как хозяйством. Правда, в доме имелось фортепьяно, и ей никто не мешал упражняться часами — но теперь Эдит уже знала, что пианисткой ей не стать — брак и дети этому воспрепятствуют, — а потому заниматься подолгу не было смысла. Органистки в католической церкви не требовалась. Эдит тосковала по светской жизни Челтнема, а на то, чтобы почаще ходить в театр или на концерты, не было денег. Так что письма от Рональда, в которых он описывал оксфордскую жизнь, наполненную обедами, студенческими шалостями и походами в кинематограф, ее порядком бесили.

А Рональд тем временем все больше привыкал к шикарной жизни. Он покупал себе мебель и японские гравюры. Заказал два костюма у портного: он обнаружил, что одежда, сшитая на заказ, ему весьма идет. Организовал еще один клуб на пару со своим другом Колином Каллисом; клуб назывался «Шахматная доска» и

собирался на обеды вечерами по субботам у него или у Каллиса. Его избрали президентом дискуссионного клуба (имевшего большое влияние в Эксетер–Колледже) в результате предвыборной борьбы, во время которой Рональд впервые вошел во вкус политики колледжа. Он плавал на плоскодонках, играл в теннис и временами работал, достаточно, чтобы весной 1914 года выиграть премию Скита, присуждаемую его колледжем за успехи в изучении английского языка. На пять фунтов премиальных он накупил книг на средневековом валлийском и несколько произведений Уильяма Морриса [Уильям Моррис (1834—1896) — английский писатель и переводчик, один из основоположников жанра фэнтези, автор псевдо–средневековых романов в стихах и в прозе]: «Жизнь и смерть Язона», «Сагу о Вельсунгах» в переводе Морриса и его роман в прозе и стихах «Дом сынов Волка».

Моррис когда–то сам учился в Эксетер–Колледже, и, возможно, это подогрело интерес Толкина к нему. Но до сих пор Толкин, по всей видимости, не знакомился с художественными произведениями этого автора. Вообще, его познания о современной литературе были весьма ограниченны, поскольку программа оксфордского английского факультета не требовала, чтобы он, лингвист, изучал писателей постчосеровского периода более чем в минимальном объеме. В тот период Толкин написал несколько обрывочных заметок о Джонсоне, Драйдене и драме эпохи Реставрации, но, судя по всему, его интерес к ним был преходящим. Что же до современной художественной прозы, он писал Эдит: «Романы я читаю редко, ты же знаешь». Для него английская литература заканчивалась на Чосере — или, иначе говоря, ему вполне хватало той радости и вдохновения, которые он получал от великих произведений древне–и среднеанглийского периода и от древней литературы Исландии.

Но именно поэтому «Дом сынов Волка» показался ему таким захватывающим. Отношение Морриса к литературе совпадало с его собственным. В этой книге Моррис пытался воссоздать то волнующее ощущение, что дарили ему страницы древних англосаксонских и исландских повествований. Действие «Дома сынов Волка» происходит в землях, которым угрожает римское вторжение. События романа, написанного отчасти прозой, отчасти стихами, вращаются вокруг Дома или семейного клана, живущего у великой реки на поляне в лесу, который называется Мирквуд, Лихолесье — слово, позаимствованное из географии древних германских легенд. По всей видимости, многие детали этого повествования произвели сильное впечатление на Толкина. Стиль романа довольно своеобычен и перегружен архаизмами и поэтическими инверсиями в попытке воспроизвести атмосферу

древней легенды. Очевидно, Толкин обратил на это внимание; видимо, оценил он и другую особенность этого произведения: несмотря на неопределенность времени и места, в котором происходит действие, Моррису удается с большой точностью описывать детали воображаемого пейзажа. Позднее и сам Толкин последовал примеру Морриса.

Его собственная любовь к пейзажам получила мощный толчок летом 1914 года, когда, побывав у Эдит, он затем отправился на каникулы в Корнуолл и поселился на полуострове Лизард у отца Винсента Рида из Бирмингемской Молельни. Корнуолл Толкина очаровал. Они с отцом Винсентом каждый день подолгу гуляли, и в письмах к Эдит Рональд так описывал эти прогулки: «Мы шли по вересковой пустоши над морем к бухте Кинанс. Но можно ли описать это в унылом, затертом письме? Над головой нещадно палит солнце, а огромные валы Атлантики с ревом и шипением разбиваются о скалы и рифы. Море выточило в утесах причудливые отверстия и теперь врывается в них с трубным ревом или извергает наружу фонтаны пены, точно кит, и повсюду — красные и черные скалы и белая пена на лиловой и прозрачной морской зелени». Это зрелище он запомнил на всю жизнь, и побережье Корнуолла стало для него воплощением идеального ландшафта.

Однажды они с отцом Винсентом отправились осматривать деревни, которые лежат подальше от побережья. Вот как он вспоминал об этом походе: «Попив чаю, мы отправились домой. Сначала нас окружал типичный сельский уорикширский пейзаж, потом мы спустились к реке Хелфорд, очень похожей на фьорд, затем поднялись на противоположный берег совершенно девонширскими тропками и очутились на более открытой местности, где наш путь крутил, вилял, петлял, шел наверх, спускался вниз, пока не начало смеркаться и алое солнце не коснулось горизонта. После многих приключений, не раз спросив дорогу, мы наконец вышли на пустынные голые холмы, как в Гунхилли, и мили четыре прошагали по прямой, и по мягкой земле, на радость нашим сбитым ногам. Ночь застала нас в окрестностях Малого Руана, и дорога снова принялась петлять и нырять. Освещение сделалось весьма призрачным. Временами тропа вела через перелески, где ползли мурашки по спине от уханья сов и свиста летучих мышей; временами за забором всхрапывала лошадь, страдающая одышкой, или свинья, страдающая бессонницей, отчего у нас душа уходила в пятки; пару раз мы неожиданно проваливались в ручьи, которых в темноте было не видно. Но наконец эти четырнадцать миль закончились — а последние две мили душу нам согревал

виднеющийся вдали маяк Лизард и приближающийся шум моря».

Под конец длинных каникул Рональд съездил в Ноттингемшир, пожить несколько дней на ферме, которой управляла его тетя Джейн вместе с Брукс–Смитами и его братом Хилари. Живя на ферме, он написал стихотворение. Заглавием к нему он взял свою любимую строку из «Христа» Кюневульфа: «Eala Earendel engla beorhtast!» Стихотворение называлось «Плавание Эаренделя, Вечерней звезды», и начиналось так:

Эарендель восстал над оправой скал,
Где, как в чаше, бурлит Океан.
Сквозь портал Ночной, точно луч огневой,
Он скользнул в сумеречный туман.
И направил свой бриг, как искристый блик,
От тускневшего злата песков
По дороге огня под дыханием Дня
Прочь от Западных берегов.

В следующих строках описывается путешествие звездного корабля по небесной тверди, продолжающееся до тех пор, пока он не тает в свете восхода.

Образ звезды–морехода, чей корабль восходит в небо, был навеян упоминанием об «Эаренделе» в строках Кюневульфа. Но стихотворение, центром которого является этот образ, не имеет аналогов. Это было начало собственной мифологии Толкина.

Глава 7
ВОЙНА

Толкин написал «Путешествие Эаренделя» в конце лета 1914 года. К этому времени Англия уже объявила войну Германии. Молодые люди тысячами записывались в добровольцы, отвечая на призыв Китченера [Граф Горацио Китченер (1850—1916) — военный министр Англии, по инициативе которого в начале Первой мировой войны была создана добровольческая армия, просуществовавшая до введения воинской повинности]. Но Толкин в армию отнюдь не стремился — он хотел остаться в Оксфорде, пока не получит степень. Он надеялся все же заслужить отличие первого класса. А потому, хотя его дядюшки и тетушки рассчитывали, что Рональд тоже станет добровольцем (его брат Хилари уже записался сигнальщиком), к началу осеннего триместра он вернулся в университет.

Поначалу он писал: «Это ужасно! Я даже не уверен, смогу ли я продолжать учебу: работать решительно невозможно. Никого из знакомых не осталось, кроме Каллиса». Но вскоре Толкин приободрился: он узнал, что есть система, позволяющая готовиться к службе в армии, не покидая университета, и при этом отложить призыв до защиты степени. И он записался в Корпус военной подготовки [Добровольная организация при пансионах и университетах, предназначенная для подготовки офицеров].

Теперь, когда он решил, что делать дальше, жить стало веселее. Он перебрался из своих комнат в колледже в «берлогу» на Сент–Джонз–Стрит, где поселился вместе с Колином Каллисом, не пошедшим в армию по слабости здоровья. Толкину «берлога» очень нравилась, он говорил, что это «чудесное место по сравнению с замшелой жизнью в колледже». Он также с радостью обнаружил, что его товарищ по ЧКБО Дж. Б. Смит тоже по–прежнему в Оксфорде, хотя и ждет назначения в полк. Смит должен был вступить в полк ланкаширских стрелков, и Толкин решил просить назначения туда же, по возможности в тот же батальон.

Через несколько дней после начала триместра он начал проходить военную подготовку в университетском парке. Муштру приходилось совмещать с обычными занятиями, но Толкин обнаружил, что такая двойная нагрузка ему даже нравится. «Эта муштра — просто дар божий, — писал он Эдит. — Я две недели почти не спал и все равно до сих пор не ощущаю привычной

оксфордской сонливости». Вдобавок он пробовал себя в литературном творчестве. Толкин был так захвачен Моррисом, что это подало ему идею переложить один из сюжетов финской «Калевалы» в смешанном, стихотворно–прозаическом романе в духе Морриса. Толкин выбрал историю Куллерво, злополучного юноши, который по неведению совершил инцест и, узнав об этом, бросился на свой меч. Толкин взялся за «Историю Куллерво», как он назвал свой роман, и, хотя это было не более чем подражание Моррису, оно стало для него первым опытом создания легенды в стихах и в прозе. Однако «История Куллерво» осталась неоконченной.

В начале рождественских каникул 1914 года Толкин поехал в Лондон, на собрание ЧКБО. Семья Кристофера Уайзмена перебралась на юг, и в их доме в Уондсворте собрались все четыре члена «клуба» — Толкин, Уайзмен, Р. Кв. Джилсон и Дж. Б. Смит. Они провели выходные у газового камина в небольшой комнатке наверху, куря трубки и беседуя. Как сказал Уайзмен, собираясь вместе, они чувствовали себя «в четыре раза умнее».

Любопытно, что эта группка школьных друзей продолжала встречаться и писать друг другу. Но они начали надеяться, что вместе сумеют достичь чего–нибудь значимого. Толкин как–то раз сравнил их с Прерафаэлитским братством [Школа в литературе и живописи, возникшая в середине XIX в. в Англии. В круг прерафаэлитов входили поэты К. и Д. Б. Россетти, художники У. Х. Хант, Дж. Милле и другие. Разочаровавшись в современности, прерафаэлиты усматривали свой эстетический идеал в искусстве Средних веков, в особенности в искусстве «до Рафаэля» (отсюда название)], но прочие только посмеялись над этой идеей. Однако же они действительно чувствовали, что им неким образом предназначено зажечь новый свет. Возможно, то была лишь последняя искорка ребяческих амбиций, которую еще не успел задуть житейский опыт, но, во всяком случае, для Толкина это имело важные и ощутимые последствия. Он возомнил себя поэтом.

Позднее он пояснял, что эта встреча ЧКБО в конце 1914 года помогла ему обрести «голос, чтобы выразить все, что искало себе выхода», и добавлял: «Я всегда приписывал это тому вдохновению, что вселяли в нас даже несколько часов, проведенных вместе».

И сразу после выходных, проведенных в Лондоне, он принялся сочинять стихи. Стихи эти по большей части не представляли собой ничего особенного и далеко не всегда отличались лаконичностью. Вот несколько строк из «Морской песни предначальных дней», написанной 4 декабря 1914 года и

основанной на воспоминаниях Толкина о летних каникулах в Корнуолле:

Над бескрайними путями хмурой, сумрачной страны Голосов людских не слышно; в дни глубокой старины Сиживал и я у моря, близ изломанной гряды, Внемля громовым раскатам пенной музыки воды, Что из камня изваяла контур башен и колонн Там, где натиску бурунов брег навеки обречен.

Когда Толкин показал это и другие стихотворения Уайзмену, его друг заметил, что они напоминают ему слова Саймонса о Мередите [Артур Саймоне (1865—1945) — литературный критик и поэт. Джордж Мередит (1828—1909) — романист и поэт], «когда тот сравнил Мередита с дамой, которая сразу после завтрака надевает все свои побрякушки». И посоветовал: «Не перестарайся».

Толкин был более сдержан в стихотворении, где описывается их с Эдит взаимная любовь. Для того чтобы выразить ее, он избрал один из своих излюбленных образов:

Се! Юны мы, но выстояли все ж
Под стать сердцам, взрастающим в лучах
Любви немало лет (два древа так
В долине солнечной или в лесу
Стоят, сплетая ветви и дыша
Прохладной свежестью, впивая свет,
Неразделимые); так стали мы
Едины; так, объятия сомкнув,
Мы в почву Жизни глубоко вросли.

Среди прочих стихотворений, написанных Толкином в то время, было и «Человек с Луны спустился слишком рано» (в конце концов опубликованное в сборнике «Приключения Тома Бомбадила»). Подобный же «сказочный» сюжет избрал Толкин в «Шагах гоблинов», стихотворении, которое он написал специально для Эдит: она говорила, что ей нравится «весна, цветы, деревья и крошечные эльфики». В «Шагах гоблинов» собрано все то, что Толкин впоследствии так невзлюбил, так что вряд ли стоило бы их здесь цитировать; но это стихотворение отличается непогрешимой четкостью ритма; к тому же оно было напечатано в нескольких антологиях того времени, так что можно считать его первой мало–мальски значимой публикацией Толкина:

Мне вновь туда пора,
Где, разгоняя мрак,

Волшебные фонарики сверкают.
Где шелестит трава,
Колышется листва
И птахи меж деревьями порхают;
Жужжат в ночи жуки
И вьются мотыльки,
К огням чудесным издали влекомы.
Вот лепрехон извлек
Свой колдовской рожок:
Шагают по лесной дороге гномы.

О! мерцанье фонарей! О! круженье светляков!
О! прозрачных, нежных крыльев трепетанье!
О! как легок каждый шаг — легок, звонок каждый шаг!
О! как сладко прикоснуться к тайне!

[Перевод К. Королева]

Дж. Б. Смит прочел все стихи Толкина и послал ему критический отзыв. Отзыв был в целом положительным, но Смит заметил, что поэтическое искусство Толкина сильно выиграло бы, если бы он читал побольше английской литературы. Смит посоветовал ему ознакомиться с Брауном, Сидни и Бэконом [Уильям Браун (1591—1643), английский поэт, автор пасторалей. Филип Сидни (1554—1586) — выдающийся поэт и критик Елизаветинской эпохи. Фрэнсис Бэкон (1561—1626) — философ и эссеист того же времени]; позднее он порекомендовал Тол кину взглянуть на новые стихи Руперта Брука [Руперт Брук (1887—1915) — английский поэт; произведения его типичны для эпохи короля Георга]. Но Толкин не внял советам. Он уже выбрал себе собственное поэтическое направление и в указаниях не нуждался.

Вскоре он начал ощущать, что сочинение отдельных стихотворений, не объединенных связующей темой, — не совсем то, к чему он стремится. В начале 1915 года Толкин обратился к своим ранним стихам об Эаренделе и, взяв их сюжет за основу, принялся разрабатывать более обширное повествование. Он показал первые стихи об Эаренделе Дж. Б. Смиту. Смиту стихи понравились, но он спросил: о чем они, собственно? «Не знаю, — ответил Толкин. Постараюсь выяснить». Не «придумать», а именно «выяснить». Он воспринимал себя не как сочинителя истории, а как первооткрывателя древней легенды. И все это —

благодаря его личным языкам.

Толкин уже в течение некоторого времени работал над языком, возникшим под влиянием финского, и к 1915 году язык этот в немалой степени усложнился. Сам Толкин считал это «сумасшедшим хобби» и почти не надеялся, что кому–то это будет интересно. Однако временами он писал на этом наречии стихи, и чем больше он трудился над ним, тем больше чувствовал, что оно нуждается в поддержке какой–никакой истории. Иными словами, не может быть наречия без народа, который на нем говорит. Толкин совершенствовал язык: но надо было решить, кому же он принадлежит.

В разговорах с Эдит Толкин называл его «мой дурацкий эльфийский язык». Вот отрывок из написанного на нем стихотворения. Стихотворение датировано «ноябрь 1915, март 1916». Перевода не существует, однако слова «Lasselanta» («листопад», а отсюда — «осень») и «Eldamar» («дом эльфов» на Западе) позднее использовались Толкином во многих других текстах.

Ai lintulinda Lasselanta
Pilingeve suyer nalla ganta
Kuluvi ya karnevalinar
V'ematte singi Eldamar.

В течение 1915 года в сознании Толкина начала вырисовываться отчетливая картина. Он решил, что это — язык, на котором говорят фэйри, или эльфы, которых видел Эарендель во время своего удивительного путешествия. Толкин начал работать над «Песнью об Эаренделе», в которой описывались скитания морехода по миру до того, как его корабль стал звездой. «Песнь» пришлось разделить на несколько стихотворений, и в первом из них, «Берега Фэери», рассказывается о таинственной стране Валиноре, где растут Два Древа, на одном из которых зреют золотые солнечные яблоки, а на другом — серебряные лунные яблоки. Туда–то и приплывает Эарендель.

Это стихотворение сравнительно слабо связано с позднейшими концепциями толкиновской мифологии, однако в нем уже встречаются детали, которые позднее появятся в «Сильмариллионе», и его стоит процитировать в качестве иллюстрации того, как работало воображение Толкина в то время. Здесь оно приводится в наиболее раннем варианте:

От Солнца на восток, на запад от Луны
Есть Холм — один на мили;

В подножье бьет зеленый вал,
Недвижны башен шпили:
Там, за Таникветилем,
Край Валинор.
Там звезд не светит; лишь одна,
Что мчится за Луной,
Ведь там растут два Дерева,
Чей цвет блестит росой Ночной,
Чей плод струит Полдневный зной
На Валинор.
Там — побережья Фэери,
Там в отсветах луны
Обрызган пенным серебром
Опаловый ковер,
За сумеречным морем,
У кромки той страны,
Где над песчаной полосой
Вознесся гордый Кор, —
Там, за Таникветилем,
Край Валинор.

От Солнца на восток, на запад от Луны
Близ Звездного Причала
Есть белый город Странника
И Эгламара скалы:
Ждет «Вингелот» у пристани,
Где плещет вал за валом,
И Эарендель смотрит вдаль,
За Эгламара скалы —
Там, за Таникветилем,
Край Валинор.

В то время как в уме Толкина рождались начала его мифологии, он готовился к «скулз» — последнему экзамену по английскому языку и литературе на степень бакалавра. Экзамен начался во вторую неделю июля 1915–го, и Толкин одержал победу: он заслужил отличие первого класса.

В результате он по завершении войны мог не без оснований рассчитывать на университетскую должность. Но пока что ему предстояло ехать в свою часть: он получил чин младшего лейтенанта в полку ланкаширских стрелков. Вопреки его

надеждам, его назначили не в 19–й батальон, где служил Дж. Б. Смит, а в 13–й. В июле Толкин начал проходить учебу в Бедфорде. Его поселили на постой в частном доме вместе с полдюжиной других офицеров. Толкин учился командовать взводом и посещал лекции по военным дисциплинам. Он купил мопед на пару с другим офицером и, когда ему удавалось получить увольнение на выходные, ездил в Уорик, к Эдит. Он отпустил усы. Большую часть времени он выглядел и вел себя совершенно так же, как прочие молодые офицеры.

В августе Толкина перевели в Стаффордшир, и в течение следующих недель его вместе с батальоном перебрасывали из лагеря в лагерь с той кажущейся беспорядочностью, какой отличаются перемещения войск в военное время. Условия жизни везде были одинаково плохими, и в промежутках между несъедобными трапезами, рытьем окопов и лекциями об устройстве пулеметов заняться было решительно нечем, кроме как играть в бридж (это Толкин любил) и слушать граммофонные пластинки с регтаймом (а этого он терпеть не мог). Кроме того, большинство товарищей по службе ему совершенно не нравились. «Среди начальства джентльменов не сыскать, — говорил он Эдит, — да и просто людей довольно мало». Часть досуга он тратил на то, чтобы читать по–исландски, — Толкин твердо вознамерился во время войны продолжать заниматься своей научной работой, — но все равно время тянулось медленно. «Все эти тоскливые дни, — писал он, — потраченные на тупую долбежку скучных предметов, отнюдь не радуют, в унылых болотах науки убивать того и гляди завязнешь с головой».

К началу 1916–го Толкин решил учиться на связиста: перспектива иметь дело со словами, сообщениями и кодами казалась все–таки чуть более приятной, чем рутинное командование взводом, связанное к тому же с ответственностью за людей. Он выучил азбуку Морзе, сигнализацию с помощью флажков и дисков, научился передавать сообщения посредством гелиографа [Светосигнальный прибор для передачи сигналов или сообщений с помощью кода Морзе] и фонаря, пользоваться сигнальными ракетами и полевыми телефонами и даже обращаться с почтовыми голубями (они все еще иногда использовались для военной связи). И в конце концов его назначили батальонным связистом.

Их полку вскоре предстояло отправиться во Францию, и Рональд с Эдит решили пожениться: ужасающие списки погибших наводили на мысль о том, что он вполне может и не вернуться. К тому же они и так ждали более чем достаточно. Ему было двадцать четыре, ей двадцать семь. Со средствами у них

оказалось туговато, но в армии Толкин регулярно получал жалованье, пусть и небольшое. Кроме того, он решил просить отца Френсиса Моргана перевести весь его скромный капитал на его имя. К тому же Толкин надеялся на какие–никакие доходы со своего творчества. Оксфордское издательство «Блэкуэллз» решило опубликовать его стихотворение «Шаги гоблинов» в ежегодном альманахе «Оксфордская поэзия», и ободренный этим Толкин отправил подборку своих стихов в издательство «Сиджвик и Джексон». Чтобы пополнить свой капитал, он также продал свою долю в мопеде.

Он отправился в Бирмингем, чтобы договориться с отцом Френсисом о деньгах, и заодно сообщить, что женится на Эдит. Денежные дела они уладили, но, когда дошло до разговора об Эдит, Толкин обнаружил, что не может заставить себя сказать своему бывшему опекуну о готовящейся свадьбе, и ушел из Молельни, не упомянув об этом ни словом: он так и не сумел позабыть о том, как враждебно отнесся отец Френсис шесть лет назад к его роману с Эдит. Только за две недели до свадьбы Толкин наконец написал обо всем отцу Френсису. Ответное письмо было вполне доброжелательным; отец Френсис благословлял их, желал обоим счастья и объявлял, что сам обвенчает их в церкви Молельни. Увы, было уже поздно. Рональду с Эдит предстояло сочетаться браком в католическом соборе в Уорике.

Рональд Толкин и Эдит Брэтт были обвенчаны отцом Мерфи после ранней мессы в среду, 22 марта 1916 года. Они нарочно выбрали среду, потому что именно в среду молодые люди впервые встретились после долгой разлуки в 1913 году. Во время бракосочетания произошел один неприятный инцидент. Эдит не подозревала о том, что при записи в метрическую книгу ей Придется указать имя отца. А ведь она никогда не говорила Рональду о том, что она незаконнорожденная! Столкнувшись с этой проблемой, Эдит впала в панику и не нашла ничего лучшего, как вписать в эту графу имя дяди, Фредерика Брэтта. Но что указать в графе «Общественное положение или профессия отца», она придумать не могла и оставила ее незаполненной. Позднее она во всем призналась Рональду. «Мне кажется, что из–за этого я только нежнее люблю тебя, дорогая моя женушка, — писал он ей, — однако нам следует по возможности забыть об этом и предоставить все господу». После свадьбы молодожены поездом отправились в Кливдон в Сомерсетшире, где им предстояло провести неделю. Сидя в купе, они вместе выводили на оборотной стороне поздравительной телеграммы варианты новой подписи Эдит: «Эдит Мэри Толкин… Эдит Толкин… миссис Толкин…

миссис Дж. Р. Р. Толкин…» Все варианты смотрелись превосходно.

Глава 8
ОТРЯДА БОЛЬШЕ НЕТ

Когда Толкин приехал из свадебного путешествия, его ждало письмо от «Сиджвика и Джексона»: его стихи печатать отказались. Не то чтобы Толкин этого не ожидал — но все же был разочарован. Эдит вернулась в Уорик, но только затем, чтобы разобраться со своими делами в этом городе. Они договорились, что на время войны Эдит не станет искать себе постоянного дома, а будет жить в меблированных комнатах поближе к лагерю Рональда. Они с кузиной Дженни (та по–прежнему жила с Эдит) приехали в Грейт–Хейвуд, деревню в Стаффордшире неподалеку от лагеря, где находился батальон Рональда. В деревне была католическая церковь с доброжелательным священником, а Рональд нашел приличную квартиру. Но не успел он устроить Эдит на новом месте, как пришел приказ об отправке, и вечером в воскресенье 4 июня 1916 года Толкин отбыл в Лондон, а оттуда во Францию.

Вся Англия уже в течение некоторого времени ждала «Большого Натиска». В течение всего 1915 года на западном фронте ситуация оставалась патовой, и ни отравляющие газы на Ипре, ни резня в Вердене не могли сдвинуть линию фронта больше чем на несколько миль. Но теперь, когда сотни тысяч новобранцев прошли учебные лагеря и превратились в Новую Армию, сделалось очевидно, что вот–вот произойдет нечто впечатляющее.

Толкин прибыл в Кале во вторник, 6 июня, и его отправили в базовый лагерь в Этапле. По дороге каким–то образом потерялись все его вещи: и складная кровать, и спальный мешок, и тюфяк, и запасные ботинки, и умывальник — все, что он так тщательно выбирал и покупал за немалые деньги, кануло без вести в хитросплетениях армейской транспортной системы, так что Толкину пришлось выпрашивать у товарищей, брать взаймы или покупать самое необходимое.

Они стояли в Этапле. Дни шли за днями, и ничего не происходило. Нервозное возбуждение, царившее при отправке, сменилось усталой скукой, которая усугублялась полной неизвестностью. Никто не знал, что происходит. Толкин написал стихотворение об Англии, принимал участие в учениях, слушал крики чаек, кружащих над головой. Вместе со многими товарищами–офицерами Толкина перевели в 11–й батальон, где он нашел не самое приятное общество. Младшие офицеры все

были новобранцами, как и сам Толкин, некоторым не исполнилось еще и двадцати одного, в то время как старшие полевые командиры и адъютанты были в большинстве своем профессиональными военными, вернувшимися из отставки. Они отличались узколобостью и изводили подчиненных бесконечными повествованиями об Индии и Англо–бурской войне. Старые вояки не спускали новобранцам ни единого промаха, и Толкин жаловался, что с ним обращаются как с нерадивым школьником. Куда большее почтение испытывал он к «солдатам», восьмистам сержантам и рядовым, составлявшим основную часть батальона. Некоторые из них были из Южного Уэльса, остальные — ланкаширцы. Офицеры не могли общаться с рядовыми — система этого не допускала, — но к каждому офицеру был приставлен денщик, в чьи обязанности входило следить за вещами офицера и прислуживать ему на манер оксфордского скаута. Благодаря этому Толкин достаточно близко познакомился с несколькими солдатами. Много лет спустя, обсуждая одного из главных персонажей «Властелина Колец», Толкин писал: «На самом деле мой Сэм Гэмджи списан с английского солдата, с тех рядовых и денщиков, которых я знал во время войны 1914 года и которым сам я уступал столь во многом».

После трех недель в Этапле батальон отправили на фронт. Поезд полз невероятно медленно, стоял у каждого столба, и миновало больше суток, прежде чем плоские невыразительные равнины у Паде–Кале сменились более холмистой местностью. Железная дорога шла вдоль реки, от которой там и тут отходили каналы, а по берегам выстроились ряды тополей. Река называлась Сомма. И уже отсюда слышалась стрельба.

Батальон Толкина прибыл в Амьен. Их накормили из полевых кухонь на главной площади, а потом они пошли дальше пешим порядком, нагруженные тяжелой амуницией. Временами приходилось останавливаться или сходить на обочину, когда мимо проезжали упряжки, везущие повозки с боеприпасами или пушки. Вскоре город кончился, и они оказались на открытой пикардийской равнине. Прямая дорога вела через поля алых маков или желтой горчицы. Хлынул проливной дождь, и через несколько секунд пыльная дорога превратилась в белое меловое месиво. Солдаты шагали дальше, мокрые и злые, пока не пришли в деревушку Рюбампре, в десяти милях от Амьена. Тут они остановились на ночлег в условиях, которые вскоре стали для них привычными: солдатам — охапки соломы в амбарах или на сеновалах, офицерам — раскладушки в тесных крестьянских жилищах. Дома были старые, основательные, с растрескавшимися балками и глинобитными стенами. Снаружи, за перекрестком и

низенькими домишками, до самого горизонта простирались поля, заросшие прибитыми дождем васильками. Кругом виднелись следы войны: проломленные крыши, разрушенные строения. А впереди, уже совсем недалеко, слышался вой снарядов и грохот взрывов: союзники обстреливали немецкие позиции.

Весь следующий день они провели в Рюбампре, занимаясь физподготовкой и упражняясь в штыковом бое. В пятницу, 30 июня, их переместили в другую деревушку, ближе к линии фронта. И на следующий день, рано утром, грянуло сражение. Их батальону не полагалось участвовать в действиях: их намеревались держать в резерве и бросить в бой только несколько дней спустя. Главнокомандующий, сэр Дуглас Хейг, рассчитывал, что к этому времени германская линия обороны будет прорвана и войска союзников смогут продвинуться в глубь территории противника. Но вышло все иначе.

В 7.30 утра, в субботу, 1 июля, британские войска пошли в атаку. Среди них был и Роб Джилсон из ЧКБО, служивший в суффолкском полку. Они выбрались из окопов по лестницам, построились в ровные шеренги, как их учили, и медленно зашагали вперед — медленно, потому что каждый тащил на себе не менее шестидесяти пяти фунтов амуниции. Им сказали, что германская линия обороны практически уничтожена и колючая проволока порвана огнем союзников. Однако же все они прекрасно видели, что проволока целехонька, а когда шеренги приблизились к немецким окопам, оттуда застрочили пулеметы.

Батальон Толкина оставался в резерве. Их перевели в деревню под названием Бузенкур. Большинству пришлось стать лагерем в чистом поле, только некоторые счастливчики (и Толкин в их числе) поселились в хижинах. Было очевидно, что на поле битвы что–то пошло не так, как задумывалось: раненые поступали сотнями, многие из них — чудовищно изувеченными; целые отряды назначались копать могилы; в воздухе висела жуткая вонь разложения. На самом деле в первый день битвы полегло двадцать тысяч солдат союзников. Германская линия обороны не была уничтожена, заграждения из колючей проволоки почти везде оставались целы, и вражеские пулеметчики без труда косили шеренги англичан и французов, пока те приближались медленным шагом, представляя собой идеальную мишень.

В четверг, 6 июля, 11–й батальон ланкаширских стрелков тоже вступил в бой. Однако в окопы отправили только первую роту, а Толкин остался в Бузенкуре вместе с остальными. Он перечитывал письма Эдит с новостями из дома и снова просматривал свое собрание записок от прочих членов ЧКБО. Толкин беспокоился за Джилсона и Смита, которых бросили в

самую гущу битвы, и испытал невыразимое облегчение, когда ближе к вечеру в Бузенкуре объявился Смит, живой и невредимый. Смиту предстояло несколько дней отдыха перед возвращением в окопы, и они с Толкином старались встречаться и беседовать как можно чаще. Они говорили о поэзии, о войне и о будущем. Один раз они отправились бродить по полю, где все еще колыхались на ветру красные маки, несмотря на то что в результате бомбежек поля постепенно превращались в бесформенную грязную пустошь. С нетерпением ждали вестей о Робе Джилсоне. В воскресенье вечером первая рота вернулась с позиций. Человек двенадцать было убито и более сотни ранено. Уцелевшие рассказывали ужасные вещи. И вот наконец в пятницу, 14 июля, пришла пора идти в бой Толкину с его второй ротой.

То, что испытывал сейчас Толкин, переживали до него тысячи других солдат: вышли ночью, долго шли от лагеря до позиций, потом, спотыкаясь, пробирались по ходам сообщения длиной в милю, ведущим на передний край, потом — долгие часы неразберихи и суматохи, пока предыдущая рота не уступила им наконец свое место. Связистов, таких, как Толкин, ждало горькое разочарование. В учебке все было аккуратно, понятно и разложено по полочкам, а тут они увидели кучу спутанных проводов и вышедшие из строя полевые телефоны, заляпанные грязью. Вдобавок ко всему по телефонам разрешалось передавать только наименее важные сообщения: немцы подключались к телефонным линиям и перехватывали приказы накануне атаки. Запрещены были даже рации, использующие морзянку. Так что вместо всех современных средств связи связистам приходилось полагаться на световые сигналы, сигнальные флажки или, на худой конец, курьеров или почтовых голубей. Хуже всего были убитые: повсюду валялись трупы, истерзанные и изувеченные осколками. Те, у которых сохранились лица, смотрели в никуда жутким, неподвижным взглядом. «Ничейная земля» за окопами была устлана вздувшимися, гниющими трупами. Везде царило запустение. Травы и посевы исчезли, втоптанные в море грязи. С деревьев посбивало листву и ветки, и вокруг стояли только покореженные, почерневшие стволы. Толкин до конца жизни не мог забыть, как он выражался, «животного ужаса» окопной войны.

Первый день его участия в боевых действиях был избран командованием союзников для большой наступательной операции, и его роту присоединили к 7–й пехотной бригаде, которой предстояло атаковать разрушенную деревушку Овийе, все еще остававшуюся в руках немцев. Атака захлебнулась: колючая проволока перед окопами противника снова не была порезана как следует, и многие из батальона Толкина полегли

под пулеметным огнем. Но Толкин выжил и даже не был ранен. После двух суток, проведенных на ногах, он наконец смог ненадолго прикорнуть в блиндаже. И еще через сутки его роту отвели с позиций. Вернувшись в Бузенкур, Толкин нашел там письмо от Дж. Б. Смита:

> «15 июля 1916 года.
> Дорогой Джон Рональд!
> Сегодня утром прочел в газете, что Роб Джилсон погиб.
> Со мной все в порядке, но что толку?
> Пожалуйста, не бросайте меня вы с Кристофером. Я страшно устал, и эта ужаснейшая новость повергла меня в глубокое уныние.
> Только теперь, в отчаянии, понимаешь, чем на самом деле было для нас ЧКБО. Дорогой мой Джон Рональд, что же нам теперь Делать?
> Вечно твой Дж. Б. С.».

Роб Джилсон погиб под Ля–Буассель, ведя своих солдат в атаку, в первый день боевых действий, 1 июля. Толкин написал Смиту: «Я уже не чувствую себя частью единого тела. Я действительно ощущаю, что ЧКБО пришел конец». Но Смит ответил: «Нет, ЧКБО не умерло и не умрет никогда».

Теперь дни шли по установленному распорядку: отдых, потом обратно в окопы, новые атаки (по большей части бесплодные), снова отдых. Толкин был в прикрытии артиллерии во время штурма Швабского редута, мощного немецкого укрепления. Многие немцы были захвачены в плен, и среди них — солдаты из саксонского полка, который сражался бок о бок с ланкаширскими стрелками против французов под Минденом в 1759 году. Толкин предложил воды захваченному в плен раненому немецкому офицеру и разговорился с ним. Немец поправил ему немецкое произношение. Временами наступали короткие периоды затишья, когда все пушки молчали. Толкин позднее вспоминал, как в один из таких моментов он взялся за трубку телефона и тут откуда–то выскочила полевая мышка и пробежала по его пальцам.

19 августа, в субботу, Толкин и Дж. Б. Смит опять встретились в Аше. Они побеседовали и потом несколько раз встречались снова. В последний день они вместе пообедали в Бузенкуре. Во время обеда попали под обстрел, но оба остались целы и невредимы. Потом Толкин вернулся на позиции.

Бои теперь велись с меньшей интенсивностью, чем в первые дни битвы на Сомме, но британцы по–прежнему несли тяжелые потери, и многие из батальона Толкина погибли. Ему самому

пока что везло, но чем дольше он сидел в окопах, тем больше у него было шансов стать очередным покойником. А отпуск то и дело обещали, но все никак не давали.

Спасла его «гипертермия неизвестного происхождения», которую солдаты звали попросту «окопной лихорадкой». Это заболевание, переносимое вшами, вызывало высокую температуру и другие симптомы лихорадки; оно косило солдат тысячами, Толкин заболел в пятницу, 27 октября. В это время его батальон стоял в Бовале, в двенадцати милях от позиций. Пациента доставили в ближайший полевой госпиталь. На следующий день его погрузили в санитарный поезд, идущий на побережье, и в воскресенье вечером Толкин оказался в госпитале в Ле–Туке, где и провел всю следующую неделю.

Однако лихорадка все не отпускала его, и 8 ноября больного посадили на корабль, идущий в Англию. А по прибытии отправили поездом в Бирмингем. И вот всего за несколько дней Толкин перенесся от окопных ужасов к белым простыням и родному городу за окном.

К нему приехала Эдит. К третьей неделе декабря Толкин оправился достаточно, чтобы выписаться из госпиталя и поехать в Грейт–Хейвуд, провести Рождество вместе с женой. В Грейт–Хейвуде ему пришло письмо от Кристофера Уайзмена, служившего во флоте:

«КЕВ [Корабль Его (или Ее) Величества; аббревиатура, которая ставится перед названиями кораблей военно–морских сил Великобритании] «Сьюперб», 16 декабря 1916 года.

> Дорогой Дж. Р.!
> Только что получил вести из дома. Дж. Б. С. скончался от ран, полученных при взрыве снаряда 3–го декабря. Я сейчас не могу много говорить об этом. Смиренно молю господа всемогущего, чтобы стать достойным его.
> Крис».

Смит шел по деревенской улице позади позиций, когда неподалеку взорвался снаряд. Смита ранило в правую руку и в бедро. Его пытались оперировать, но у него развилась газовая гангрена. Его похоронили на британском кладбище в Варланкуре.

Незадолго до того он написал Толкину:

> «Мое главное утешение — что, если меня ухлопают сегодня ночью — через несколько минут мне идти на позиции, — на свете все же останется хотя бы один член великого ЧКБО, который облечет в слова все, о чем я

мечтал и на чем мы все сходились. Ибо я твердо уверен, что гибелью одного из членов существование ЧКБО не закончится. Смерть может сделать нас отвратительными и беспомощными как личности, но ей не под силу положить конец бессмертной четверке! Я собираюсь сообщить об этом своем открытии Робу до того, как уйду на позиции сегодня ночью. А ты, пожалуйста, напиши об этом Кристоферу. Да благословит тебя господь, дорогой мой Джон Рональд, и пусть ты выскажешь все то, что пытался сказать я, когда меня уже не станет и я буду не в силах высказать это сам, если такова будет моя судьба.
Вечно твой Дж. Б. С.».

Часть 3
1917–1925:
РОЖДЕНИЕ МИФОЛОГИИ

Глава 1
УТРАЧЕННЫЕ СКАЗАНИЯ

«Пусть ты выскажешь все то, что пытался сказать я, когда меня уже не станет». Эти слова Дж. Б. Смита прозвучали для Рональда Толкина как призыв — призыв взяться за обширный труд, над которым он раздумывал уже довольно долго, замысел, грандиозный и потрясающий, которому найдется немного аналогов в истории литературы. Толкин вознамерился создать целую мифологию.

Возникновением своим эта идея обязана его страсти к созданию языков. Толкин обнаружил, что, для того чтобы сделать вымышленный язык более или менее сложным, нужно создать для него «историю», в которой он мог бы развиваться. Уже в ранних стихах об Эаренделе начали появляться наметки этой истории; теперь же Толкин хотел написать ее полностью.

Этому содействовала и еще одна побуждающая сила: стремление выражать свои наиболее глубокие чувства в поэзии — стремление, обязанное своим происхождением вдохновляющему стимулу ЧКБО. Ранние стихи Толкина ничем особенным не выделялись — такие же незрелые, как юношеский идеализм четверых вчерашних школьников; и все же это были первые шаги в направлении большой прозаической поэмы (ибо эта вещь, хоть и написанная прозой, по сути своей была поэтической), за которую он взялся теперь.

И наконец, третьим элементом, который также сыграл свою роль, была его мечта создать мифологию для Англии. Толкин намекал на это еще студентом, когда писал о финской «Калевале»: «Я хотел бы, чтобы у нас осталось побольше такой мифологии — чего–нибудь подобного, но принадлежащего англичанам». Эта идея росла, пока не достигла эпических размеров. Вот как говорил об этом сам Толкин, вспоминая о рождении своего замысла много лет спустя: «Не смейтесь, пожалуйста! Но когда–то, давным–давно (с тех пор я сильно пал духом), я решился создать корпус более или менее связанных между собою легенд самого разного уровня, от широких космогонических полотен до романтической волшебной сказки, так чтобы более обширные опирались на меньшие, не теряя связи с почвой, а меньшие обретали величие благодаря грандиозному фону, — которые я мог бы посвятить просто: Англии, моей стране. Эти легенды должны были обладать тем тоном и свойствами, о которых я мечтал: это нечто прохладное и

прозрачное, благоухающее нашим «воздухом» (то есть климатом и почвой Северо–Запада, включающего в себя Британию и ближние к ней области Европы, а не Италию и побережье Эгейского моря и уж тем более не Восток), и отличаться — если бы я сумел этого достичь — дивной неуловимой красотой, которую некоторые называют «кельтской» (хотя в подлинных древних кельтских текстах она встречается чрезвычайно редко); они должны быть «высокими», очищенными от всего грубого, и пригодными для более зрелого духа страны, давно уже с головой ушедшей в поэзию. Часть основных историй я хотел изложить целиком, а многие другие оставить в виде замыслов или схематических набросков. Отдельные циклы должны были объединяться в некое величественное целое и в то же время оставлять место иным умам и рукам, для которых орудиями являются краски, музыка, драма. Вот абсурд!»

Да, этот замысел мог показаться абсурдно дерзким, но тем не менее, вернувшись из Франции, Толкин решил воплотить его в жизнь. Время и место тому способствовали: он снова был с Эдит, в Грейт–Хейвуде, в английской деревне, столь милой его сердцу. Даже Кристофер Уайзмен, плававший где–то далеко в море, почуял: что–то назрело. Он писал Толкину: «Тебе следует взяться за эпос». И Толкин за него взялся. На обложке дешевого блокнота он написал жирным синим карандашом заглавие, которое избрал для своего мифологического цикла: «Книга утраченных сказаний». С этого блокнота и началось то, что в конце концов стало известно как «Сильмариллион».

Никакое изложение событий внешней жизни Толкина не способно дать более чем поверхностного объяснения происхождения его мифологии. Разумеется, прием, объединяющий вместе отдельные эпизоды в первоначальном наброске книги (позднее Толкин отказался от него), отчасти позаимствован из «Земного рая» Уильяма Морриса: в обеих историях мореплаватель прибывает в неведомую землю, где ему предстоит услышать ряд повествований. Странник Толкина носит имя Эриол, которое переводится как «Мечтающий в одиночестве». Но повести, которые рассказывают Эриолу, величественные, трагические и героические, никак нельзя счесть всего лишь плодом литературных влияний и личного опыта. Когда Толкин взялся за эту книгу, он открыл в себе некий более глубокий и богатый пласт воображения, доселе ему самому неведомый, и из этого пласта он продолжал черпать до конца своей жизни.

Первая из «легенд», входящих в «Сильмариллион», повествует о сотворении вселенной и возникновении известного нам мира, который Толкин, вспомнив исландский «Мидгард» и

соответствующие эквиваленты в древнеанглийском, называет Средиземьем. Некоторые читатели думали, что речь идет о другой планете, но Толкин на это не рассчитывал. «Средиземье — это наш мир, — писал он и добавлял: — Я, конечно, поместил события в абсолютно вымышленный (хотя и не вовсе невозможный) период времени в глубокой древности, когда форма континентов была еще иной».

В более поздних повествованиях цикла речь идет в основном о создании «Сильмарилей» (трех эльфийских самоцветов, которые и дали название всей книге), о том, как они были похищены из благословенной земли Валинор злой силой Морготом, и о последовавших за этим войнах, в ходе которых эльфы пытались вернуть себе камни.

Некоторые были озадачены тем, как эти истории соотносятся с христианским мировоззрением Толкина. Многим трудно понять, как ревностный католик мог с такой убежденностью писать о мире, где не поклоняются богу. Но ничего странного в этом нет. «Сильмариллион» — творение глубоко религиозного человека. Он не противоречит христианству — он вписывается в него. В легендах нет поклонения богу — но на самом деле бог там присутствует, и в «Сильмариллионе» это заметнее, чем в выросшем из него «Властелине Колец». Вселенной Толкина правит бог, «Единый». Ниже Его в иерархии стоят «валар», хранители мира, не боги, но духи ангельского чина, сами по себе священные и повинующиеся богу; и в один из ужаснейших моментов истории они слагают с себя власть и передают ее в Его руки.

Толкин изложил мифологию именно в таком виде, потому что хотел, чтобы она была чуждой, непривычной, но в то же время _не лживой_. Он хотел, чтобы мифы и легенды отражали его собственные нравственные представления о вселенной; и, будучи христианином, он не мог поместить эти представления в космос, лишенный бога, которому он поклонялся. В то же время локализовать эти истории в известном нам реальном мире, где религиозные верования были бы открыто христианскими, означало лишить их колорита вымышленности. Поэтому бог во вселенной Толкина присутствует, но остается незримым.

Создавая «Сильмариллион», Толкин верил, что в некотором смысле пишет правду. Нет, он не предполагал, что описанные им народы, «эльфы», «гномы» и злобные «орки», действительно когда–то ходили по земле и совершали все то, что он описывал. Но он чувствовал — или надеялся, — что его повести неким образом воплощают глубокую истину. Это не значит, что Толкин писал аллегорию, — напротив. Толкин неоднократно говорил о

своем отвращении к этому жанру. «Я не выношу самого запаха аллегории», — сказал он однажды, и подобные фразы встречаются во многих его письмах к своим читателям. Так что же он имел в виду, считая «Сильмариллион» истинным?

Отчасти ответ на этот вопрос можно найти в его эссе «О волшебных историях» и в «Листе работы Ниггля». Оба эти произведения содержат предположение, что бог даровал человеку способность фиксировать «неожиданное и мимолетное проявление реальности или «правды». И, создавая «Сильмариллион», Толкин наверняка верил, что не просто сочиняет сюжет. Он писал об историях, входящих в книгу: «Они возникли в моем сознании как некая данность, и, по мере того как они возникали, росли и связи между ними. Это была захватывающая работа, хотя мне то и дело приходилось прерываться (не считая повседневных нужд, время от времени мои мысли переключались на другое и обращались к лингвистике); однако я все время ощущал, что записываю нечто уже «существующее» где–то, а не «сочиняю».

Первое из повествований, появившихся в письменном виде — оно было записано в то время, как Толкин выздоравливал в Грейт–Хейвуде, в начале 1917 года, — относится к концу цикла. Это «Падение Гондолина», в котором рассказывается о том, как Моргот, главная сила зла, взял штурмом последнюю эльфийскую крепость. После страшной битвы группе жителей Гондолина удается спастись бегством; среди них — Эарендель [Написание «Эарендиль» было принято Толкином только несколько лет спустя. (Прим. авт.)], внук короля; таким образом, возникает связь с ранними стихами об Эаренделе, первыми набросками мифологии. Стиль «Падения Гондолина» говорит о том, что на Толкина заметно повлиял Уильям Моррис, и правомерно будет предположить, что описание великой битвы, вокруг которого и строится сюжет, отчасти вдохновлено личными воспоминаниями Толкина о сражении на Сомме — или, скорее, его реакцией на это сражение, поскольку описание обороны Гондолина величественно, а современную войну величественной не назовешь. Но и то и другое оказало не более чем поверхностное влияние; в целом же Толкин создал эту необычную и захватывающую повесть, не опираясь на какие–либо образцы или источники. Две наиболее примечательные особенности — его собственные находки: во–первых, имена из вымышленного языка и, во–вторых, то, что большинство главных героев — эльфы.

В принципе можно сказать, что эльфы «Сильмариллиона» восходят к «волшебному народу» ранних стихотворений Толкина, но на самом деле между ними очень мало общего. Возможно,

впервые он обратился мыслями к эльфам потому, что его восхищали «Песни сестры» Френсиса Томпсона, а Эдит нравились «крошечные эльфики», но между лепрехонами и гномами из «Шагов гоблинов» и эльфами «Сильмариллиона» — громадная пропасть. Последние — люди во всех отношениях; точнее, истинные люди, люди до Падения, которое лишило их возможностей, дарованных изначально. Толкин искренне верил, что на Земле некогда существовал Эдем и что в бедах мира повинен первородный грех и последовавшее за этим развенчание человека. Но его эльфы, хотя и они способны грешить и заблуждаться, не являются «падшими» в теологическом смысле, а потому им доступно многое, что не по силам человеку. Они — искусные мастера, поэты, писцы, создатели прекрасных творений, с которыми не могут сравниться прозведения людей. А главное — они бессмертны, хотя и могут погибнуть в бою. Старость, болезни и смерть не обрывают их трудов, оставляя их неоконченными и не доведенными до совершенства. А потому эти эльфы — идеал любого творца.

Таковы эльфы «Сильмариллиона» и «Властелина Колец». Сам Толкин писал об их природе так: «Они созданы человеком по своему образу и подобию; но избавлены от ограничений, которые сильнее всего гнетут его. Они бессмертны, и воля их властна напрямую воплощать то, что желанно воображению».

Что касается имен и названий в «Падении Гондолина» и прочих повествованиях «Сильмариллиона», они составлены из материала языков, придуманых Толкином. Поскольку существование этих языков было причиной возникновения самой мифологии, неудивительно, что Толкин уделил немалое внимание созданию имен на их основе. Более того, выдумывание имен и связанная с этим лингвистическая работа требовали, как говорил сам Толкин в процитированном выше отрывке, ровно столько же, если не больше, внимания, сколько написание самих повествований. Так что небесполезно (и небезынтересно) получить некоторое представление о том, как он это делал.

Толкин еще подростком разработал несколько собственных языков, и некоторые из них были доведены до уровня значительной сложности. Но в конце концов лишь один из этих ранних языков устроил его и стал воплощением его личного языкового вкуса. Это был вымышленный язык, испытавший на себе сильное влияние финского. Толкин назвал его «квенья», и к 1917 году он достиг высокой степени изощренности: словарь его насчитывал несколько сотен слов (несмотря на то, что число корней в нем было довольно ограниченным). Квенья, как и любой «настоящий» язык, происходила от более древнего языка; и от

этого «праэльдарского» Толкин произвел второй эльфийский язык, существовавший одновременно с квеньей, но использовавшийся другими народами эльфов. Это наречие в конце концов было названо «синдарином» или «синдарским». Его фонологию Толкин построил по образцу валлийского, который шел сразу после финского по степени близости его лингвистическим предпочтениям.

Помимо квеньи и синдарина, Толкин придумал еще несколько эльфийских языков. Правда, эти были разработаны только в самых общих чертах, но Толкин посвящал немало времени сложностям их взаимоотношений и продумыванию «генеалогического древа» всех этих наречий. Однако почти все эльфийские имена в «Сильмариллионе» Происходят именно из квеньи и синдарина.

Естественно, подробно рассказать в нескольких фразах о том, как именно Толкин использоват свои эльфийские языки для создания имен персонажей и географических названий в своих историях, невозможно. Однако вкратце дело обстояло примерно так. Работая над планом повествования, Толкин тщательно подбирал имена, вначале придумывая значения, а потом разрабатывая форму слова, сперва на одном языке, потом на другом. В конце концов обычно предпочтение отдавалось синдарскому варианту. Но это в теории; на практике же он часто позволял себе вольности. Это может показаться странным, если принять во внимание его страсть к добросовестному продумыванию; однако же в пылу творчества Толкину случалось создавать имена, которые просто казались подходящими для тех или иных персонажей, не обращая особого внимания на их происхождение с лингвистической точки зрения. Позднее он отверг многие имена и названия, возникшие таким образом, как «бессмысленные», а другие подверг тщательному анализу, пытаясь выяснить, каким образом они могли принять такую странную, на первый взгляд необъяснимую, форму. Эту особенность его воображения также необходимо принимать в расчет тому, кто пытается понять, как творил Толкин. С течением времени он все больше и больше относился к своим вымышленным языкам и историям как к «реальным», «настоящим» языкам и историческим хроникам, которые надлежит исследовать и комментировать. Иными словами, когда Толкин бывал в таком настроении, он не говорил о кажущемся противоречии в повествовании или не устраивающем его названии: «Это мне не нравится, надо исправить». Вместо этого он задавался вопросом: «Что бы это значило? Надо выяснить».

И не потому, что Толкин сошел с ума или перестал отличать

реальность от фантазии. Отчасти это была интеллектуальная игра — своего рода пасьянс (Толкин очень любил пасьянсы); отчасти же это обуславливалось верой Толкина в то, что в основе своей его мифология истинна, правдива. Однако же в других случаях Толкин был готов внести серьезные изменения в некоторые основополагающие аспекты всей структуры повествования, как мог бы сделать и любой другой автор. Этот подход, несомненно, противоречив; но Толкин и в этом отношении, как и во многих других, был человеком контрастов.

Таков был единственный в своем роде труд, за который Толкин впервые взялся в начале 1917 года, находясь в Грейт–Хейвуде в отпуске по болезни. Эдит охотно помогала мужу, переписывая «Падение Гондолина» начисто в большую тетрадь. Для супругов наступил недолгий период довольства и благополучия. По вечерам Эдит играла на фортепьяно, а Рональд читал ей свои стихи или рисовал ее. Эдит забеременела. Однако идиллия длилась недолго: «окопная лихорадка» не представляла собой ничего более серьезного, чем высокая температура и плохое самочувствие, а за месяц, проведенный в госпитале в Бирмингеме, Толкин, по всей видимости, вполне выздоровел. И теперь его снова ждал батальон и служба во Франции. Конечно, ему ужасно не хотелось обратно в окопы, и было бы большой потерей, если бы немецкий снаряд оборвал его жизнь теперь, когда он едва успел взяться за свой труд. Но что ему оставалось делать?

Однако его организм сам нашел выход. Когда отпуск в Грейт–Хейвуде подходил к концу, Толкин снова заболел. Через несколько недель ему полегчало, и его временно отправили в Йоркшир. Эдит и ее кузина Дженни собрали вещи и переехали на север следом за ним, сняв меблированный дом в Хорнси, в нескольких милях от его лагеря. Но стоило Толкину вернуться в армию, как он снова заболел и его положили в санаторий в Харроугите.

Он не симулировал и не отлынивал от службы. Болезнь его была самой что ни на есть настоящей. Однако, как писала ему Эдит, «лишний день в постели — лишний день в Англии», да он и сам знал, что выздоровление почти неминуемо означало возвращение в окопы. И вот, как бывало со многими другими солдатами, его тело отозвалось и температура у него поднялась. Толкин соблюдал постельный режим, добросовестно глотал аспирин, но лучше ему не становилось. К апрелю, однако, он был признан годным к службе и отправлен в армейскую школу связистов на северо–востоке Англии. В случае успешной сдачи экзаменов у него был хороший шанс, что его назначат офицером

связи в йоркширском лагере, что, вероятно, избавит его от окопов. Толкин сдавал экзамен в июле, но провалился. Не прошло и нескольких дней, как он снова слег, и ко второй неделе августа опять оказался в больнице.

На этот раз с больницей ему повезло: его положили в Бруклендский офицерский госпиталь в Гулле. Лежавшие вместе с ним пациенты оказались приятной компанией, и в их числе был один из его товарищей по полку ланкаширских стрелков. Толкина навещали монахини из местного католического монастыря. С одной из них он подружился, и дружба эта продолжалась до самой ее смерти. К тому же здесь он мог продолжать работать над своей книгой. Тем временем Эдит, уже на шестом месяце беременности, ютилась со своей кузиной в жалком домике у моря. Она давно уже жалела, что покинула Уорик: Грейт–Хейвуд ее вполне устраивал, но сейчас жизнь сделалась почти невыносимой. Пианино в доме не было; еды катастрофически не хватало из–за того, что немецкие подлодки топили английские корабли, а Рональда она почти не видела: из Хорнси до его госпиталя ехать было долго и утомительно. Местная католическая церковь временно располагалась в убогом здании кинотеатра, так что Эдит уже склонялась к тому, чтобы ходить в англиканскую приходскую церковь заодно с Дженни; а беременность ее страшно утомляла. Эдит решила вернуться в Челтнем, где она прожила три года, ведь Челтнем был единственным городом, где ей действительно нравилось. Рожать она собиралась в уютной больнице, а до тех пор они с Дженни могли обосноваться и в меблированных комнатах. Итак, они отправились в Челтнем.

Примерно тогда же, вероятно, во время пребывания в гулльском госпитале, Толкин создал еще одно крупное произведение для «Книги утраченных сказаний». Это была повесть о злосчастном Турине, со временем озаглавленная «Дети Хурина». В ней тоже можно отследить литературные влияния: поединок героя с огромным драконом неизбежно вызывает в памяти деяния Сигурда и Беовульфа, в то время как совершенный по неведению инцест с сестрой и последующее самоубийство героя вполне сознательно заимствованы из истории Куллерво в «Калевале». Но и тут эти «влияния» лишь поверхностные. «Дети Хурина» представляют собой впечатляющий сплав исландской и финской традиций, но не только: предание отличается высокой сложностью драматических коллизий и тонкостью разработки характеров, какие в древних легендах встречаются нечасто.

16 ноября 1917 года в челтнемском родильном доме у Рональда и Эдит Толкин родился сын. Роды были трудные, жизнь

Эдит оказалась под угрозой. Но хотя Рональда выписали из больницы, его затребовали в лагерь, и, к своему величайшему огорчению, он смог получить отпуск для поездки на юг только через неделю после родов, а к тому времени Эдит уже начала оправляться. Мальчика решили назвать Джон Френсис Руэл, Френсис — в честь отца Френсиса Моргана, который приехал из Бирмингема крестить младенца. После крестин Рональд вернулся в армию и Эдит привезла ребенка назад в Йоркшир. Она поселилась в меблированных комнатах в Русе, деревне к северу от устья Хамбера и неподалеку от лагеря, где теперь находился Рональд (получивший чин лейтенанта). К тому времени представлялось маловероятным, что его снова отправят во Францию.

В те дни, когда Толкину давали увольнительную, они с Эдит ходили гулять. Они нашли близ Руса лесок, заросший болиголовом, и много бродили там. Позднее Рональд вспоминал Эдит, какой она была в то время: «Волосы цвета воронова крыла, атласная кожа, сияющие глаза. Она чудно пела — и танцевала!» Она пела и танцевала для него в лесу, и так родилась история, ставшая центральной в «Сильмариллионе»: повесть о смертном человеке Берене, полюбившем бессмертную эльфийскую деву Лутиэн Тинувиэль, которую он впервые видит танцующей в лесу в зарослях болиголова.

Эта глубоко романтическая волшебная история затрагивает более широкий спектр чувств, нежели что–либо написанное Толкином прежде, достигая временами поистине вагнеровского накала страстей. Кроме того, это первая из историй Толкина, в которой описывается квест [Поход, целью которого являются поиски сокровища или выполнение какого–либо важного дела. Адекватного перевода этого термина на русский язык не существует, а между тем он весьма часто используется в английской литературе для обозначения сюжетов, сходных с сюжетом «Хоббита» или «Властелина Колец»], и путешествие двух влюбленных в жуткую твердыню Моргота, где они должны добыть Сильмариль из железной короны Черного Властелина, кажется таким же безнадежным, как задача Фродо донести Кольцо до Ородруина.

Из всех легенд Толкина история Берена и Лутиэн была у него самой любимой, и не в последнюю очередь потому, что Лутиэн в чем–то ассоциировалась у него с женой. Когда Эдит умерла — более пятидесяти лет спустя, — Толкин писал сыну Кристоферу, объясняя, почему он хочет, чтобы на ее могильном камне стояло и имя Лутиэн: «Она была моей Лутиэн — и знала об этом. Сейчас я больше ничего не скажу. Но мне хотелось бы в ближайшее

время о многом с тобой поговорить. Потому что, если я так и не напишу связной биографии — а это представляется весьма вероятным, не в моем это характере, ибо я предпочитаю выражать наиболее глубокие чувства в сказаниях и мифах, — кто–нибудь близкий мне по духу должен знать хотя бы немного о том, о чем в мемуарах не говорится: об ужасающих страданиях ее и моего детства, от которых мы избавили друг друга, однако оказались не в силах полностью залечить раны, которые позднее часто мешали нам жить; о страданиях, которые мы претерпели после того, как возникла наша любовь, — все это (помимо и превыше личных слабостей) может помочь простить или хотя бы понять ошибки и темные минуты, которые временами омрачали нашу жизнь, и объяснить, почему они так и не сумели затронуть самой сокровенной глубины наших сердец или затмить воспоминания о нашей юношеской любви. Ибо мы всегда (в особенности оставаясь наедине) встречались на лесной поляне и шли рука об руку, спасаясь от тени грозящей нам смерти, пока не настала пора последнего прощания».

Пребывание Толкина в Русе закончилось весной 1918 года, когда его перевели в Пенкридж. один из лагерей в Стаффордшире, где он некогда проходил подготовку перед отправкой во Францию. Примерно в это же время все его товарищи по батальону, которые еще служили во Франции, погибли или попали в плен под Шемен–де–Дамом.

Эдит с ребенком и Дженни Гроув перебрались на юг, поближе к нему. Эдит совершенно не устраивала такая «бездомная жизнь, проходящая в непрерывных скитаниях»; а не успели они устроиться в Пенкридже, как Рональда снова перевели в Гулль. На этот раз Эдит отказалась переезжать. Ее утомлял уход за ребенком и часто мучили боли — последствия трудных родов. Она с горечью писала Рональду: «Никогда больше не стану мотаться за тобой туда–сюда». А между тем, вернувшись в хамберский гарнизон, Рональд опять заболел, и его снова направили в офицерский госпиталь в Гулле. «Думается мне, что ты больше никогда не устанешь, — писала ему Эдит, — столько времени ты провел в постели, с тех пор как вернулся из Франции почти два года назад». В госпитале, помимо работы над своей мифологией и эльфийскими языками, Толкин начал немного учить русский и освежать в памяти испанский и итальянский.

К октябрю его выписали. Судя по всему, близился конец войны, и Толкин отправился в Оксфорд выяснить, нет ли шансов получить работу в университете. Перспективы представлялись удручающими: университет еле дышал, и что будет после войны, не знал никто. Однако, когда он зашел к Уильяму Крейги,

который учил его исландскому, оказалось, что все не так безнадежно. Крейги входил в состав группы, работавшей над «Новым словарем английского языка», последние тома которого все еще составлялись в Оксфорде; и Крейги обещал Толкину подыскать ему работу помощника лексикографа. Когда 11 ноября был подписан мирный договор, Толкин обратился к армейскому начальству и получил разрешение поселиться в Оксфорде «с целью завершения образования» до демобилизации. Толкин нашел квартиру на Сент–Джонз–Стрит, рядом со своей старой «берлогой», и в конце ноября 1918 года он, Эдит с ребенком и Дженни Гроув переселились в Оксфорд.

Глава 2
ОКСФОРДСКАЯ ИНТЕРЛЮДИЯ

Толкин давно мечтал вернуться в Оксфорд. Все время, пока он служил в армии, Толкин страдал ностальгией по колледжу, по друзьям и по той жизни, которую вел в течение четырех лет. К тому же его терзала мысль об упущенном времени: ему сейчас было двадцать семь лет, а Эдит — тридцать. Но теперь наконец они обзавелись тем, о чем так давно мечтали: «своим общим домом».

Понимая, что вступил в новую пору своей жизни, Толкин в первый день нового, 1919–го года начал вести дневник, в котором записывал основные события и свои размышления по их поводу. Поначалу он вел записи обычной латиницей, но потом стал пользоваться вместо нее оригинальным алфавитом, который только что изобрел. Алфавит этот выглядел как нечто среднее между еврейским, греческим и стенографической системой Питмана. Толкин вскоре решил отвести ему место в своей мифологии и назвал его «алфавит Румиля», в честь эльфийского мудреца из своих историй. Все его дневниковые записи сделаны на английском, но теперь Толкин стал писать по–английски этим алфавитом. Единственная проблема состояла в том, что Толкин никак не мог прийти к окончательному варианту: он то и дело менял форму букв и их значение, так что символ для звука «г» через неделю мог обозначать уже звук «w». Вдобавок Толкин частенько забывал вести учет этим изменениям и через некоторое время обнаружил, что уже с трудом разбирает старые записи в дневнике. Он не раз принимал решение прекратить переделывать алфавит и оставить его в покое, но тщетно: неуемный перфекционизм и здесь, как и во многом другом, заставлял его постоянно совершенствовать свое творение.

Однако, если запастись терпением, дневник расшифровать можно. Он являет собою подробную картину нового образа жизни Толкина. Позавтракав, Толкин выходил из дома 50 по Сент–Джонз–Стрит и отправлялся в лабораторию «Нового словаря английского языка», которая располагалась в старом здании Музея Ашмола [Музей и библиотека древней истории, изящных искусств и археологии при Оксфордском университете], находившегося на близлежащей Брод–Стрит. Там, в помещении, которое Толкин именовал «огромной пыльной мастерской (нашу работу непыльной никак не назовешь)», небольшая группа ученых трудилась над созданием наиболее полного словаря английского

языка из всех когда–либо существовавших. К проекту приступили в 1878 году, и к 1900 году уже вышли из печати разделы, посвященные буквам от «a» до «h»; но теперь, восемнадцать лет спустя, из–за проволочек, связанных с войной, разделы от «i» до «z» еще не были готовы Первый редактор словаря, сэр Джеймс Марри скончался в 1915 году, и теперь изданием словаря заведовал Генри Брадли, личность весьма примечательная: он двадцать лет проработал продавцом у торговца ножами из Шеффилда, а потом ушел к науку и стал известным филологом [В детстве Брадли сперва выучился читать вверх ногами, глядя в Библию, которая лежала на коленях у его отца во время семейных молений. (Прим. авт.)].

Работа над словарем Толкину нравилась, да и коллеги пришлись ему по душе, в особенности компетентный К. Т. Онайонз. В течение первых–недель Толкину было поручено исследовать этимологию слов «warm», «wasp», «water», «wick» и «winter» [«Теплый», «оса», «вода», «лампа» (устар.) и «зима»]. Какие обширные познания для этого требовались, можно судить, взглянув хотя бы на опубликованный вариант этимологической справки к слову «wasp» («оса»). Слово не особенно сложное, однако в справке приводятся параллели из древнесаксонского, среднеголландского, современного голландского, древневерхненемецкого, средненижненемецкого, средневерхненемецкого, современного немецкого, общегерманского, прагерманского, литовского, старославянского, русского и латыни. Толкин обнаружил, что работа над словарем многому его научила, — и неудивительно! О периоде 1919—1920 годов (именно тогда он трудился над словарем) Толкин однажды отозвался так: «За эти два года я узнал больше, чем за какие–либо еще два года своей жизни». Выполнял он свои обязанности на редкость добросовестно, даже по меркам штата словаря. Доктор Брадли сообщал о нем: «Его работа говорит о на редкость углубленном знании англосаксонского, а также фактов и принципов сравнительной грамматики германских языков. Я могу без колебаний утверждать, что никогда прежде не встречал человека его возраста, равного Толкину в этом отношении».

От лаборатории до дома было совсем недалеко, так что Толкин пешком возвращался к ланчу, а ближе к вечеру — к чаю. Доктор Брадли смотрел на отлучки и опоздания сквозь пальцы, да к тому же от Толкина вовсе и не требовалось целыми днями сидеть на работе. Предполагалось, что он, как и многие другие ученые, трудившиеся над словарем, в свободное время пополняет свои доходы преподаванием в университете. Толкин дал знать знакомым, что готов брать учеников, и колледжи мало–помалу

начали откликаться — в первую очередь женские, поскольку Леди–Маргарет–Холл и Сент–Хью–Колледж очень нуждались в ком–нибудь, кто преподавал бы их девицам англосаксонский, а Толкин обладал несомненным преимуществом: он был женат, а значит, учениц можно было отпускать к нему одних, без провожатой.

Вскоре они с Эдит решили, что могут позволить себе снять домик. Они нашли подходящий особнячок за углом, на 1–й Альфред–Стрит (ныне Пьюзи–Стрит). Толкины переехали туда в конце лета 1919 года и наняли служанку. Обзавестись наконец своим собственным домом было очень приятно. Они привезли туда фортепьяно Эдит, хранившееся на складе, и она наконец снова получила возможность регулярно заниматься музыкой — впервые за несколько лет. Эдит опять забеременела, но теперь она, по крайней мере, могла родить у себя дома и растить младенца в нормальных условиях. К весне 1920–го Рональд уже достаточно зарабатывал преподаванием, чтобы позволить себе отказаться от работы над словарем.

А тем временем он продолжал писать «Книгу утраченных сказаний». Однажды он даже выступил с чтением «Падения Гондолина» в Эссеистском клубе Эксетер–Колледжа. Студенческая аудитория приняла его хорошо. Среди этих студентов были два молодых человека по имени Невилл Когхилл и Хью Дайсон.

Но внезапно все семейные планы изменились. Толкин подал заявку на должность преподавателя английского языка в университет Лидса. Он почти не надеялся на успех, но летом 1920 года его пригласили на собеседование. На вокзале его встретил Джордж Гордон, профессор английского языка. Гордон до войны был значительной фигурой на оксфордском факультете английского языка, но Толкин его не знал, и, пока они ехали на трамвае через город к университету, разговор между ними не клеился. Они разговорились о сэре Уолтере Рали, профессоре английской литературы в Оксфорде. Толкин потом вспоминал: «На самом деле я был не особенно высокого мнения о Рали: во всяком случае, лектором он был не блестящим; но некий добрый дух подсказал мне назвать его «подобным небожителям». И этот отзыв был встречен благосклонно — хотя я–то всего лишь имел в виду, что Рали мирно почивает на лаврах, вознесенный на недосягаемые высоты, так что моя критика его никак не заденет. Прежде чем я уехал из Лидса, мне частным образом дали знать, что на работу я принят».

Глава 3
СЕВЕРНАЯ АВАНТЮРА

Дымный, чумазый, затянутый густым смогом, застроенный фабриками и рядами стандартных домов, Лидс выглядел не особенно гостеприимным. Здания университета, возведенные в конце викторианской эпохи, из разных видов кирпича, в псевдоготическом стиле, представляли собой жалкое зрелище по сравнению с тем, к чему привык Толкин. Так что он всерьез пожалел, что решил принять эту должность и перебраться на север.

Поначалу супругам пришлось несладко. В октябре 1920 года, сразу после начала триместра в Лидсе, Эдит родила второго сына, которого окрестили Майклом Хилари Руэлом. Толкин всю неделю жил в Лидсе, где снимал комнату, а по выходным отправлялся в Оксфорд повидаться с семьей. Переехать на север Эдит с детьми смогли не раньше начала 1921 года, да и тогда Толкину удалось найти для них только меблированные комнаты. Однако к концу 1921 года они сняли дом 11 по Сент–Маркс–Террас, мрачноватый коттеджик в переулке недалеко от университета, и принялись обустраиваться на новом месте.

Английское отделение Лидского университета Размахом похвастаться пока не могло, но Джордж Гордон активно его расширял. Гордон вообще был скорее администратором, нежели ученым, однако Толкин считал его «прирожденным начальником»; кроме того, Гордон отнесся к своему новому помощнику очень благожелательно. Он выделил Толкину место в своем собственном кабинете, голом помещении со стенами, облицованными керамической плиткой и с трубами парового отопления вдоль стен. Этот кабинет Гордон уже делил с профессором французского языка. Гордон также очень заботился о том, чтобы его новый подчиненный нашел себе хорошую квартиру. А главное — он практически передал в руки Толкина ответственность за преподавание лингвистики на факультете.

Гордон решил взять за образец организацию английского факультета в Оксфорде и разделил преподавание английского в Лидсе на два направления, одно из которых предназначалось для студентов, желающих специализироваться на изучении постчосеровской литературы, а другое — для тех, кто стремился заниматься древне–и среднеанглийским. Второе отделение было организовано буквально только что, и Гордон хотел, чтобы Толкин разработал программу обучения, которая заинтересует

студентов и обеспечит им качественную филологическую подготовку. Толкин сразу же с головой зарылся в работу. Поначалу он несколько приуныл, увидев крепких и суровых йоркширских студентов, однако вскоре проникся восхищением к многим из них. Как выразился он однажды, «я — целиком за «скучных зануд». Подавляющее большинство из них оказываются вполне «обучаемыми», поскольку главное, что для этого требуется, — это _желание работать_». Многие из его студентов в Лидсе действительно трудились чрезвычайно добросовестно и вскоре начали добиваться превосходных результатов.

И все же Толкин едва не покинул Лидс. В течение первого триместра в этом университете ему было предложено выставить свою кандидатуру сразу на две должности профессора английского языка: на кафедре в университете Бейнза в Ливерпуле и на кафедре в недавно основанном университете де Бирза в Кейптауне. Толкин послал заявления. В Ливерпуле его кандидатуру отклонили, однако в конце января 1921 года из Кейптауна пришло приглашение занять этот пост. Толкин был готов согласиться — по ряду причин. Помимо всего прочего, это означало возвращение в страну, где он родился, — а он всегда мечтал снова повидать Южную Африку. Однако он отказался. Эдит с младенцем были не в состоянии пускаться в такое путешествие, а разлучаться с женой Толкину не хотелось. Однако двенадцать месяцев спустя он записал в дневнике: «Я все думаю, не был ли то наш шанс, за который нам недостало отваги ухватиться». Впрочем, последующие события показали, что он ошибался.

В начале 1922 года на языковое отделение английского факультета в Лидсе был назначен новый младший лектор [Третий по старшинству преподаватель университета после профессора (Professor) и лектора, или ридера (Reader). В Лидсе Толкин занимал должность лектора], молодой человек по имени Э. В. Гордон. Этот невысокий смуглый канадец (Джордж Гордон приходился ему не родственником, а однофамильцем) попал в Оксфорд благодаря стипендии Родса [Стипендия Родса была учреждена английским политиком С. Родсом в 1902 году для студентов из США, стран Содружества и Южной Африки], и в 1920 году Толкин был его наставником. Их встреча в Лидсе была очень теплой. «Сюда приехал и обосновался Эрик Валентайн Гордон, теперь мой преданный друг и товарищ», — писал Толкин в дневнике.

Вскоре после появления Гордона они с Толкином взялись за фундаментальный труд. Толкин уже в течение некоторого времени работал над глоссарием к сборнику среднеанглийских

фрагментов, который издал его бывший наставник Кеннет Сайзем. Фактически это означало, что ему придется составить небольшой словарь среднеанглийского. К этой задаче Толкин подошел весьма скрупулезно и творчески. На завершение глоссария потребовалось немало времени, однако в начале 1922 года он пошел в печать, а Толкину тем временем захотелось взяться за что–нибудь, что предоставит больший простор его эрудиции. И они с Э. В. Гордоном решили подготовить новое издание среднеанглийской поэмы «Сэр Гавейн и Зеленый Рыцарь», поскольку до сих пор не существовало издания этого текста, предназначенного для студентов. Толкин отвечал за текст и глоссарий, в то время как Гордон взял на себя большую часть примечаний.

Толкин обнаружил, что его напарник — «старательный дьяволенок», и ему пришлось попотеть, чтобы угнаться за Гордоном. Издательство «Кла–рендон–пресс» опубликовало книгу в начале 1925 года. Это был важный вклад в изучение средневековой литературы, хотя сам Толкин в будущем не раз потешал свою аудиторию на лекциях уничижительными замечаниями в адрес тех или иных комментариев этого издания: «Толкин с Гордоном были не правы, абсолютно не правы, говоря это! Просто не понимаю, о чем они думали!» — с таким видом, точно сам не имел к книге никакого отношения.

По части юмора Э. В. Гордон не уступал Толкину. Они вместе организовали среди студентов «Клуб викингов», который собирался, чтобы поглощать пиво в больших количествах, читать саги и распевать шуточные песни. Авторами песен являлись все те же Толкин с Гордоном: они сочиняли сомнительные вирши про студентов, переводили детские стишки на англосаксонский и пели застольные песни на древнеисландском. Некоторые их стихи были опубликованы несколько лет спустя в самодеятельном издании «Песни для филологов». Неудивительно, что «Клуб викингов» способствовал популярности Толкина и Гордона в качестве преподавателей; и благодаря этому, а также высокому уровню преподавания языковое отделение английского факультета привлекало все больше и больше студентов. К 1925 году уже двадцать человек — более трети всего факультета — специализировались на лингвистике. В Оксфорде на аналогичный курс записывался обычно куда меньший процент учащихся.

Семейная жизнь Толкинов также текла довольно счастливо. Эдит очень нравилась неформальная атмосфера, царящая в университете, и она подружилась с другими преподавательскими женами. С финансами было туговато, а Толкин к тому же копил деньги на покупку дома, так что возможность поехать всей семьей

куда–нибудь на отдых представлялась нечасто, однако же летом 1922 года они на несколько недель выбрались в Файли, на побережье Йоркшира. Толкину Файли не понравился: он обзывал его «мерзким пригородным морским курортишком»; к тому же большую часть времени ему пришлось провести за проверкой экзаменационных работ — теперь он ежегодно подрабатывал этим. Однако он написал несколько стихотворений.

Он вообще писал много стихов в последние несколько лет. Большая часть из них имела отношение к его мифологии. Некоторые были напечатаны: в университетском журнале «Грифон», в местной серии «Йоркширская поэзия» и в сборнике стихов членов факультета английского языка и литературы под названием «Северная авантюра». Теперь Толкин взялся за стихотворный цикл, который он назвал «Сказки и песни Бимбл–Бэя». В одном, явно навеянном впечатлениями от Файли, говорится о том, как грязен и шумен современный город. В другом, «Дракон прилетел», описываются бесчинства дракона, нагрянувшего в Бимбл–Бэй и встретившегося с «мисс Биггинс». В третьем, «Глип», описывается странное склизкое создание с бледными светящимися глазами, живущее под полом пещеры. Все они являются своего рода предвестием будущих разработок, весьма значимых для творчества Толкина.

В мае 1923 года Толкин серьезно простудился. Простуда затянулась и переросла в воспаление легких. В то время у Толкинов гостил его дед, Джон Саффилд, которому тогда было уже девяносто, и Толкин вспоминал, как дед «стоял у моей постели, высокий, тощий, весь в черном, смотрел на меня сверху вниз и с презрением говорил что–то насчет того, что я и все мое поколение — вырождающиеся слабаки. Вот я тут лежу и задыхаюсь, а ему пора уезжать, потому что он отправляется в поездку на пароходе вокруг Британских островов!» Старик прожил еще лет семь. Большую часть времени он проводил у своей младшей дочери, «тети Джейн». Она уехала из Ноттингемшира и поселилась на ферме под Дормстоном в Вустершире. Ферма находилась в конце дорожки, которая больше никуда не вела, и местные жители иногда называли ее просто «Бэг–Энд» (буквально — «тупик»).

Оправившись от воспаления легких, Толкин вместе с Эдит и детьми отправился в гости к своему брату Хилари. Тот после службы в армии купил себе небольшой участок с садиком и огородом, где выращивал овощи на продажу, близ Ив–Шема, города, откуда происходил род Саффилдов. Хилари привлек родственников к работе в саду и на огороде, а еще братья развлекались, запуская на большом лугу перед домом огромных

воздушных змеев, чтобы позабавить детей. Толкин также сумел найти время для работы и вновь обратился к своей мифологии.

«Книга утраченных сказаний» близилась к завершению. В Оксфорде и в Лидсе Толкин сочинил предания, повествующие о сотворении вселенной, создании Сильмарилей и о том, как Моргот похитил их из благословенного королевства Валинор. Циклу все еще недоставало окончания — истории о плавании звездного корабля Эаренделя (этот элемент возник в замыслах Толкина первым), — а часть сказаний существовала пока только в виде набросков; но еще немного — и работа будет окончена. Однако Толкин не торопился к этой цели. Вместо этого он принялся переписывать. Ему словно бы не хотелось заканчивать книгу. Быть может, он сомневался, что она когда–нибудь найдет своего издателя, — и действительно, произведение получилось весьма нестандартное. Однако же оно было не более необычным, чем сочинения лорда Дансени, которые тем не менее оказались весьма популярными. Так что же удерживало Толкина? В первую очередь, конечно, стремление к совершенству, но, возможно, долю истины содержало в себе и высказывание Кристофера Уайзмена по поводу эльфов в ранних стихотворениях Толкина: «Почему эти существа представляются тебе живыми, так это потому, что ты все еще продолжаешь их создавать. Когда ты закончишь, они станут для тебя такими же мертвыми, как атомы, из которых состоит наша живая пища». Иными словами, Толкин не хотел заканчивать книгу, поскольку не мог смириться с мыслью, что ему уже не придется создавать что–то новое в своем выдуманном мире. Позднее он назвал это созидание «сотворением».

А потому Толкин не стал дописывать «Сильмариллион» (как он теперь называл свою книгу), а вместо этого вернулся к началу, чтобы менять, шлифовать и пересматривать. Кроме того, он задумал облечь два основных сюжета в стихотворную форму — явное свидетельство того, что Толкин по–прежнему тяготел к стихам не менее, чем к прозе. Для истории Турина Толкин избрал современный аналог древнего аллитерационного стиха, которым написан «Беовульф», а историю Берена и Лутиэн решил изложить рифмованными двустишиями. Последняя поэма была названа «Жеста о Берене и Лутиэн»; позднее Толкин переименовал ее в «Лэ о Лейтиан» [«Жеста», ст. — фр. geste, «подвиг», ср. совр. англ, gest «подвиг», «славное деяние» — средневековый поэтический жанр, поэма о героических деяниях; «лэ», lay, «песнь» — средневековое название ко–роткой поэмы, обычно романтического содержания, в современном английском языке употребляется в основном для обозначения поэм на

«средневековые» темы, подобно русскому «песнь» (ср. «Песнь о вещем Олеге»)].

Тем временем его карьера в Лидсе существенно продвинулась. В 1922 году Джордж Гордон вернулся в Оксфорд, чтобы занять пост профессора английской литературы, и Толкин стал кандидатом на освободившуюся вакансию главы факультета в Лидсе. В конце концов назначение получил Лесселс Аберкромби, но Майкл Садлер, вице–канцлер университета [Фактический глава университета, аналог российского ректора], обещал Толкину, что вскоре университет сможет создать новую должность профессора английского языка специально для него, Толкина. Садлер сдержал слово, и в 1924 году, в возрасте тридцати двух лет, Толкин стал профессором. По меркам британских университетов, это было весьма рано. В том же году они с Эдит купили коттедж на окраине Лидса, Вест–Парк, Дарнли–Роуд, 2. Дом на Сент–Маркс–Террас не шел с ним ни в какое сравнение: этот был довольно просторным, и вокруг простирались поля, куда Толкин мог водить детей гулять. В начале 1924 года Эдит, к неудовольствию своему, обнаружила, что снова беременна. Она надеялась, что это будет дочка, но, когда в ноябре ребенок родился, оказалось, что это снова мальчик. Его окрестили Кристофером Руэлом (первое имя — в честь Кристофера Уайзмена). Малыш рос быстро и вскоре стал любимцем отца, который писал в дневнике: «Теперь я бы ни за что не смог обходиться без даров божиих».

В начале 1925 года стало известно, что вскоре должен освободиться пост профессора англосаксонского языка в Оксфорде: Крейги, занимавший его ныне, собирался отправиться в Америку. Объявили конкурс на замещение должности, и Толкин послал заявку. Теоретически шансы его были невелики, поскольку на этот пост претендовали еще три кандидата с превосходными рекомендациями: Аллен Моэр из Ливерпуля, Р. У. Чеймберз из Лондона и Кеннет Сайзем. Однако Моэр снял свою кандидатуру, а Чеймберз отказался от должности, так что конкурс свелся к борьбе между Толкином и его бывшим наставником Сайземом.

Кеннет Сайзем занимал теперь довольно высокий пост в издательстве «Кларендон–пресс», и, хотя в штат университета он не входил, у него в Оксфорде была хорошая репутация и немало сторонников. Толкина тоже поддерживали многие, в том числе Джордж Гордон, мастер интриги. Так что во время выборов голоса разделились поровну, и Джозефу Уэллсу, вице–канцлеру, предстояло отдать свой решающий голос одному из двух кандидатов. Уэллс проголосовал за Толкина.

Часть 4
1925–1949 (I): «В НОРЕ НА СКЛОНЕ ХОЛМА ЖИЛ ДА БЫЛ ХОББИТ»

Собственно, это и все. Можно сказать, что после этого ничего не происходило. Толкин вернулся в Оксфорд, в течение двадцати лет был профессором древнеанглийского в колледже Ролинсона и Бозуорта, затем был избран профессором английского языка и литературы в Мертон–Колледже, поселился в обыкновенном оксфордском пригороде, где и жил первое время после ухода на пенсию, потом перебрался в ничем не примечательный курортный городишко на море, после смерти жены вернулся в Оксфорд и сам мирно скончался в возрасте восьмидесяти одного года. Вполне ординарная, неприметная жизнь, какую вело бесчисленное множество других ученых мужей. Нет, конечно, он блистал своими научными достижениями — но достижения эти доступны только специалисту и для человека далекого от науки особого интереса не представляют. И это было бы все — если не считать того странного факта, что на протяжении всех этих лет, когда с ним «ничего не происходило», он написал две книги, ставшие всемирно известными бестселлерами, книги, которые овладели воображением и повлияли на образ мыслей нескольких миллионов читателей. Не правда ли, любопытный парадокс: что «Хоббит» и «Властелин Колец» принадлежат перу скромного оксфордского профессора, который специализировался на изучении западно–мидлендского диалекта среднеанглийского и жил самой обычной жизнью в самом обычном пригороде, воспитывая детей и возделывая свой сад?

Это ли странно? Или, напротив, следует подивиться тому, что человек, наделенный столь ярким воображением и талантом, мирился с повседневной рутиной академической и домашней жизни; что человек, чья душа тосковала по грохоту валов на скалистом побережье Корнуолла, соглашался мирно беседовать с пожилыми дамами в гостиной отеля на курорте для среднего класса; что поэт, чье сердце трепетало от радости от вида и запаха дров, пылающих в очаге сельского трактира, позволил установить у себя в доме электрический камин с искусственными угольями? Это ли не диво?

Быть может, в том, что касается его зрелости и старости, нам остается лишь наблюдать — и недоумевать про себя; а может

быть, со временем мы и начнем различать логику событий.

Глава 1
ЖИЗНЬ В ОКСФОРДЕ

Вплоть до конца XIX века члены почти всех оксфордских колледжей — то есть большинство Университетских преподавателей — обязаны были иметь духовный сан и не имели права жениться, пока находились на должности. Реформаторы той эпохи ввели членство в колледжах для мирян и добились отмены обета безбрачия. Это изменило облик Оксфорда, и притом значительно. В последующие годы волна кирпичных коттеджей растекалась все дальше на север, за пределы старых границ города, затопляя поля вдоль дорог на Бенбери и Вудсток, по мере того как застройщики возводили сотни новых домов для женатых «донов» [Преподаватель в Оксфордском (или Кембриджском) университете]. К началу XX века северная часть Оксфорда превратилась в колонию преподавателей, густо населенную самими преподавателями, их женами, детьми и слугами, живущими в самых разных домах, от «готических» дворцов с башенками и витражами до самых что ни на есть тривиальных пригородных коттеджей. Между домами росли церкви, школы, лавки и магазины, призванные удовлетворять нужды этого необычного сообщества, и вскоре в окрестностях Оксфорда не осталось почти ни единого свободного акра. Однако в двадцатые годы XX века строительство кое–где еще велось; и вот на одной из улиц северного Оксфорда Толкин нашел и купил новый дом, довольно скромный, из светлого кирпича, в форме буквы «L», развернутой к дороге. И в начале 1926 года семья покинула Лидс и обосновалась на новом месте.

Здесь, на Нортмур–Роуд, они прожили двадцать один год. В 1929 году освободился более просторный соседний особняк, где прежде жил Бэзил Блэкуэлл, книготорговец и издатель, Толкины решили его купить и в начале следующего года перебрались из дома 22 в дом 20. Этот второй дом был длинный и серый, более внушительный, чем его сосед, с маленькими окошками в свинцовых рамах и высокой шиферной крышей. Незадолго до переезда родился четвертый и последний ребенок, девочка, о которой так давно мечтала Эдит. Девочку окрестили Присциллой Мэри Руэл.

Помимо этих двух событий, рождения Присциллы в 1929 году и переезда в 1930–м, жизнь на Нортмур–Роуд текла почти без перемен. Это было размеренное, почти что рутинное существование. Так что, возможно, лучший способ его описать —

это представить себе, как протекал типичный день Толкина в начале тридцатых годов.

Сегодня праздник, День святого, поэтому он начинается рано. В семь утра в спальне Толкина звонит будильник. Спальня расположена в глубине дома, и окна выходят в сад. Строго говоря, это не спальня, а ванная плюс гардеробная, и в углу комнаты стоит ванна, однако Толкин ночует здесь, потому что Эдит не выносит его храпа и к тому же он имеет обыкновение засиживаться допоздна, а Эдит ложится рано. Так что они спят в разных комнатах, чтобы не беспокоить друг друга.

Встает он неохотно (Толкин никогда не был «жаворонком»), решает, что побреется после мессы, и в халате идет по коридору в комнаты мальчиков, будить Майкла и Кристофера. Джону, старшему, уже четырнадцать, и он учится в католическом пансионе в Беркшире, а двое младших, которым сейчас одиннадцать и семь, живут пока дома.

Войдя в комнату Майкла, Толкин едва не спотыкается о модель паровоза, брошенную посреди комнаты. Он бранится про себя. Майкл с Кристофером сейчас увлечены железными дорогами. На верхнем этаже целая комната выложена игрушечными рельсами. Мальчики то и дело бегают смотреть на паровозы и рисуют (очень подробно и похоже) локомотивы Большой западной железной дороги. Толкин этой «железнодорожной мании» не понимает и особо не одобряет: для него железные дороги — это шум, грязь и порча пейзажа. Однако же он относится к хобби сыновей терпимо и даже временами соглашается сводить их на дальнюю станцию, посмотреть на проходящий челтнемский экспресс.

Разбудив мальчиков, Толкин облачается в свой обычный костюм: фланелевые брюки и твидовый пиджак. Сыновья надевают школьную форму своей Дрэгон–Скул: синие курточки и короткие штаны. Все трое выкатывают из гаража свои велосипеды и отправляются по безмолвной Нортмур–Роуд, где в других домах все еще задернуты занавески, потом сворачивают на Линтон–Роуд и выезжают на широкую Бенбери–Роуд, где их временами обгоняют машины или автобусы, едущие в город. Сейчас весна, и из палисадников на улицу свешиваются буйно цветущие вишни. Они проезжают три четверти мили в сторону города, до католической церкви Святого Алоизия — довольно неприглядного здания, расположенного рядом с больницей на Вудсток–Роуд. Месса начинается в половине восьмого, так что домой к завтраку они опаздывают совсем ненамного. Завтрак всегда подается ровно в восемь — точнее, в семь пятьдесят пять, поскольку Эдит предпочитает ставить все часы в доме на пять

минут вперед. Фиби Коулз, приходящая служанка, только недавно явилась и гремит посудой на кухне. Фиби носит наколку горничной и работает с утра до вечера. Она появилась в семье пару лет назад и, судя по всему, намерена остаться надолго. Оно и к лучшему: до ее прихода с прислугой были вечные проблемы.

За завтраком Толкин просматривает газету, но по большей части наискосок. Он, как и его друг К. С. Льюис, считает, что «новости» не стоят того, чтобы обращать на них внимание. Оба любят доказывать (назло многим своим друзьям), что «истину» можно обрести только в книгах. Однако же оба любят кроссворды.

Позавтракав, Толкин поднимается в свой кабинет, чтобы растопить печку. День не жаркий, а центрального отопления в доме нет (как и в большинстве английских домов среднего класса той эпохи), так что приходится развести сильный огонь, чтобы сделать комнату пригодной для жилья. Толкин торопится: в девять должна прийти ученица, а ему еще нужно проверить заметки для сегодняшней лекции. Он поспешно выгребает вчерашний пепел. Пепел еще теплый: накануне Толкин засиделся за работой до двух. Распалив печку, он подбрасывает туда побольше угля, закрывает дверцу и открывает заслонку в трубе как можно шире. Потом торопится наверх бриться. Мальчики уходят в школу.

Он еще не успел побриться, как в дверь звонят. Открывает Эдит, но зовет его. Толкин сбегает вниз, Даже не успев смыть пену со щеки. Это всего лишь почтальон, но он зашел сказать, что из трубы над кабинетом валит дым. Не стоит ли проверить, все ли в порядке? Толкин бежит в кабинет. Да, огонь в печке разгорелся чересчур сильно и угрожает подпалить сажу в трубе. Такое часто бывает. Толкин тушит печку и благодарит почтальона. Они обмениваются мнениями о выращивании ранних овощей. Толкин принимает разбирать корреспонденцию, но вспоминает, что забыл добриться. Едва он успевает привести себя в приличный вид, приходит ученица.

Это молодая аспирантка, занимающаяся среднеанглийским. В десять минут десятого они с Толкином уже сидят в кабинете и обсуждают темное место в «Ancrene Wisse» [Прозаическое наставление для отшельниц, написанное около 1200 г. на среднеанглийском языке; изобилует аллегориями и назидательными примерами]. Если бы вы сунули голову в дверь кабинета, вы бы их не увидели: за дверью — коридор из книг, образованный двумя рядами книжных полок, и, только миновав его, посетитель получает возможность разглядеть остальную часть кабинета. В двух стенах — окна. Южное окно выходит на соседский сад, а западное — на улицу. У южного окна — стол

Толкина, но самого Толкина за ним нет: профессор стоит у печки и жестикулирует трубкой во время разговора. Ученица слегка хмурится. Профессор рассуждает об очень сложных вещах, и понять его непросто еще и потому, что говорит он быстро и не всегда внятно. Но вот аспирантка наконец отслеживает логическую последовательность его аргументов, подводящую к определенным выводам, и принимается с энтузиазмом строчить что–то в своем блокноте.

К тому времени как «час» ее занятий (затянувшийся до без двадцати одиннадцать) заканчивается, девушка чувствует, что теперь совершенно по–новому смотрит на то, чем руководствовался средневековый автор, подбирая слова. Она уезжает на велосипеде, по пути думая, что, если бы все оксфордские филологи умели преподавать так, как мистер Толкин, английский факультет был бы куда более жизнерадостным местом.

Проводив ученицу до калитки, Толкин спешит обратно, собирать заметки к лекции. Просмотреть их он не успел — остается надеяться, что все, что нужно, на месте. Он захватывает и сам текст, о котором собирается читать лекцию: древнеанглийскую поэму «Исход». Если случится худшее и заметки его все–таки подведут, можно будет что–нибудь состряпать прямо на ходу, пользуясь текстом. Сунув портфель и магистерскую мантию в корзинку, привешенную к велосипеду, он едет в город.

Иногда он читает лекции в своем колледже, Пембруке, но сегодня утром, как и в большинстве случаев, ему нужно в Экзаминейшн–Скулз, подавляющее своим великолепием здание конца викторианской эпохи на Хай–Стрит, где проходят публичные экзамены. Лекции на популярные темы проводятся в больших аудиториях, таких, как Ист–Скул, где сегодня соберется множество народу на очередную лекцию К. С. Льюиса из цикла, посвященного средневековой литературе. На общие лекции Толкина по «Беовульфу», предназначенные для широкого круга, тоже собирается немало слушателей; но сегодня он будет говорить о тексте, который входит в обязательную программу лишь для тех немногих студентов факультета английского языка и литературы, что избрали своей специальностью филологию. Поэтому он направляется по коридору в темноватую комнатку на первом этаже, где его ждут всего восемьдесят человек. Студенты знают, что профессор никогда не опаздывает, поэтому все уже надели свои мантии и расселись по местам. Профессор тоже облачается в мантию и начинает лекцию ровно в тот момент, когда басовитый колокол на колокольне Мертон–Колледжа за

четверть мили отсюда бьет одиннадцать.

Говорит он быстро, в основном придерживаясь своих заметок, но временами пускаясь в импровизированные отступления. Толкин разбирает текст стих за стихом, обсуждает значение отдельных слов и выражений и проблемы, которые они представляют. Все присутствующие хорошо его знают и регулярно посещают его лекции, не только потому, что его интерпретация текстов очень много им дает, но еще и потому, что профессор им нравится: они любят его шутки, они привыкли к его манере выпаливать слова, как пулеметную очередь, и находят, что профессор Толкин вполне человечен — уж точно человечнее, чем некоторые его коллеги, которые читают лекции, совершенно не обращая внимания на аудиторию.

Толкин напрасно беспокоился, что ему не хватит заметок. Часы бьют двенадцать, в коридоре становится шумно, и ему приходится прерваться задолго до того, как у него кончились заготовленные материалы. На самом деле в последние десять минут он отложил записи в сторону и принялся рассуждать о некоем соотношении между готским и древнеанглийским — его наглядно иллюстрирует слово из текста. Теперь он собирает свои заметки и, перекинувшись несколькими фразами с одним из студентов, уходит, уступая аудиторию следующему преподавателю.

В коридоре Толкин встречается с Льюисом и ненадолго останавливается потолковать с ним. Жаль, что сегодня не понедельник: по понедельникам они с Льюисом всегда заходят в паб выпить по пинте пива и поболтать часок, но сегодня им обоим некогда. Толкину еще предстоит пройтись по магазинам, прежде чем ехать домой к ланчу. Расставшись с Льюисом, он выходит, садится на велосипед и катит по Хай–Стрит к оживленным торговым галереям, известным в городе как «крытый рынок». Ему нужно забрать сосиски у мясника Линдси: Эдит позабыла включить их в еженедельный заказ, доставленный накануне. Он обменивается шутками с мистером Линдси, потом заходит в магазин канцтоваров на углу Маркет–Стрит, купить перьев для ручки, и едет домой по Бенбери–Роуд. Ему еще удается выкроить пятнадцать минут на то, чтобы напечатать письмо Э. В. Гордону насчет их планов сотрудничества над изданием «Перла»: он давно собирался взяться за это письмо, — да все никак не выходило. Толкин садится за свою машинку «Хаммонд» со сменными шрифтами на вращающемся диске; в его модели есть курсив и некоторые англосаксонские буквы. Но он не успевает закончить: Эдит звонит в колокольчик, созывая домашних к ланчу.

За ланчем присутствует вся семья. Разговор посвящен в

основном обсуждению того, что Майклу не нравятся уроки плавания в школе и можно ли из–за болячки на пальце получить освобождение от бассейна. Поев, Толкин спускается в сад, посмотреть, как поживают бобы. Эдит выводит Присциллу поиграть на газоне. Они обсуждают, не стоит ли вскопать остаток бывшего теннисного корта, чтобы расширить огород. Потом Эдит отправляется кормить канареек и волнистых попугайчиков в своей вольере сбоку от дома, а Толкин садится на велосипед и снова катит в город, на этот раз на собрание своего факультета.

Собрание проходит в Мертон–Колледже, поскольку у факультета нет собственных помещений, если не считать тесной библиотеки в мансарде Экзаминейшн–Скулз, а Мертон колледж, наиболее тесно связанный с этим факультетом. Сам Толкин числится членом Пембрук–Колледжа, но редко имеет с ним дело и, как и все профессора, несет ответственность прежде всего за свой факультет. Собрание начинается в половине третьего. Помимо других профессоров: Уайльда, главы кафедры английского языка и литературы, и Никола Смита, профессора английской литературы, присутствует еще с десяток донов, в том числе и женщины. Временами заседания протекают весьма бурно — Толкину и самому пришлось выдержать немало битв, когда, предложив внести изменения в программу обучения, он подвергся ожесточенным нападкам со стороны «литературного» лагеря. Но эти дни давно миновали, предложенные им реформы приняты и воплощены в жизнь. Сегодняшнее собрание посвящено в основном рутинным делам: датам экзаменов, мелким деталям учебного курса, вопросу финансирования факультетской библиотеки. Все это отнимает уйму времени, и обсуждение заканчивается почти в четыре, так что у Толкина остается всего несколько минут на то, чтобы забежать в Бодлианскую библиотеку [Главная и старейшая библиотека Оксфордского университета (основана в 1598 г.), вторая по значению в Великобритании после Британской] и посмотреть кое–что в книге, которую он накануне заказал из хранилища. Потом он едет домой, чтобы поспеть к детскому чаю в половине пятого.

После чая ему удается провести полтора часа за столом: закончить письмо Э. В. Гордону и начать приводить в порядок записи для завтрашней лекции. Когда жизнь идет по расписанию, Толкин успевает приготовить весь цикл лекций еще до начала триместра, но зачастую времени не хватает и приходится откладывать работу до последней минуты. Он и теперь далеко не продвинулся: Майкл просит помочь с латинским переводом, который им задали на дом, и на это уходит еще двадцать минут. Вот уже и половина седьмого, пора переодеваться к обеду.

Обычно Толкин обедает вне дома не чаще двух раз в неделю, но сегодня в его колледже, Пембруке, гостевой вечер, и Толкин обещал присутствовать, чтобы встретиться с визитером своего приятеля. Он поспешно повязывает черный галстук и снова садится на велосипед, оставляя Эдит ужинать дома с детьми.

Он добирается в колледж как раз вовремя: в профессорскую подали херес. Положение Толкина в Пембруке несколько двойственное, из–за сложной и запутанной административной системы Оксфорда. В принципе можно сказать, что колледжи — это и есть университет: большая часть преподавательского состава — члены колледжей, и главной их обязанностью является обучение студентов данного колледжа. Однако профессора — в другом положении. Они изначально пребывают вне системы колледжей, поскольку преподают на базе факультетов, не обращая внимания на то, к какому колледжу принадлежат их ученики. Тем не менее для того, чтобы профессор не чувствовал себя изгоем и не был лишен определенных преимуществ и привилегий, его приписывают к какому–нибудь колледжу, и он получает членство в нем «по праву должности». Иногда это вызывает некоторую напряженность: ведь во всех прочих случаях колледжи сами избирают своих членов, а «члены–профессора», такие, как Толкин, им до некоторой степени навязываются. Толкин подозревает, что в Пембруке его недолюбливают; во всяком случае, атмосфера в профессорской холодная и недружелюбная. По счастью, присутствует один из младших членов, Р. Б. Маккаллум, жизнерадостный человек, на несколько лет моложе Толкина. Маккаллум на его стороне; ему не терпится представить своего гостя. Обед проходит в приятной обстановке и оказывается вполне съедобным, поскольку блюда все простые, без этих несносных французских изысков, которые — с неодобрением размышляет Толкин постепенно заполоняют столы некоторых колледжей.

После обеда Толкин извиняется и уезжает довольно рано. Ему нужно на другой конец города, в Бейллиол–Колледж. Там, в комнатах Джона Брайсона, должно состояться очередное заседание клуба «Углегрызов», «Kolbitar» по–исландски. Название подразумевает, что зимой эти люди жмутся так близко к огню, что «грызут уголь». Это неофициальный читательский клуб, созданный Толкином по образцу «Клуба викингов» в Лидсе, с той разницей, что все «углегрызы» — преподаватели университета. Они собираются вечерами по нескольку раз в триместр, чтобы читать исландские саги. Сегодня подобралась неплохая компания: Джордж Гордон, ныне ректор Модлин–Колледжа, Невилл Когхилл из Эксетера, К. Т. Онайонз из группы работы над словарем,

Докинз, профессор византийского и современного греческого, сам Брайсон и К. С. Льюис — которому Толкин особенно рад, — шумно упрекающий его за опоздание. Сейчас они разбирают «Сагу о Греттире». Как обычно, начинает сам Толкин — ведь он знает древнеисландский лучше всех в клубе. Он раскрывает книгу на том месте, где остановились в прошлый раз, и принимается читать, на ходу переводя текст на английский. Через пару страниц наступает очередь Докинза. Он тоже переводит довольно бегло, хотя и не так бегло, как Толкин. Однако когда дело доходит до прочих, они продвигаются куда медленнее. Каждого хватает максимум на полстраницы: они ведь только начинают изучать этот язык. Однако именно изучение языка и является основной целью «Углегрызов», ведь Толкин организовал этот клуб, желая убедить своих друзей, что исландскую литературу стоит читать в оригинале; а потому он поощряет их первые неуверенные шаги и хвалит их за усердие.

Примерно через час «Углегрызы» добираются до места, на котором можно пока остановиться, откупоривают бутылку виски и принимаются обсуждать сагу. Потом Толкин читает только что написанный им грубоватый, но очень смешной стишок про одного из членов факультета английского языка и литературы. Расходятся около одиннадцати. Толкин с Льюисом идут вместе до конца Брод–Стрит, а потом отправляются каждый своей дорогой, Льюис — по Холиуэлл–Стрит в сторону Модлин–Колледжа (Льюис холост и в течение триместра обычно ночует у себя в колледже), а Толкин едет на велосипеде обратно на Нортмур–Роуд.

К тому времени как он добирается домой, Эдит уже легла спать и в доме темно. Толкин растапливает печку в кабинете и набивает трубку. Конечно, надо было бы поработать над своими заметками к завтрашней лекции, но он, не удержавшись, достает из ящика стола неоконченную рукопись истории, которую пишет развлечения ради — и для себя, и для детей. По всей видимости, это пустая трата времени. Уж если заниматься чем–нибудь подобным, так лучше «Сильмариллионом». Но все–таки что–то заставляет Толкина ночь за ночью возвращаться к этой забавной сказочке — по крайней мере, мальчиков она, похоже, забавляет. Он садится за стол, вставляет в ручку новое перо (он предпочитает ручку–вставочку автоматическим ручкам), открывает бутылку с чернилами, берет лист из старой экзаменационной работы (на оборотной стороне — чье–то эссе о «Битве при Мэлдоне») и начинает писать: «Бильбо открыл глаза и не понял, открыл он их или нет: вокруг царила такая тьма–тьмущая, словно он их вовсе не открывал. Поблизости никого не

было. Можете себе представить, как он перепугался!..»

Оставим его, пожалуй. Толкин засидится за столом до половины второго или до двух, а то и позже. Вся Нортмур–Роуд спит, и только скрип пера нарушает царящую вокруг тишину.

Глава 2
РАЗГЛЯДЫВАЯ ФОТОГРАФИИ

Вот, стало быть, как текла его жизнь внешне: домашняя рутина, преподавание, подготовка к урокам и лекциям, деловая переписка, редкие вечера, проведенные с друзьями, — а дни, когда он и обедал в колледже и присутствовал на заседании «Углегрызов», выпадали совсем нечасто, и мы собрали все эти события (и собрание факультета вдобавок) «под одной крышей» только затем, чтобы показать, сколь широк был круг его деятельности. Обычный день Толкина проходил куда более однообразно.

Хотя некоторые читатели, возможно, сочтут, что все описанные выше события и так довольно однообразны, без единого яркого проблеска: нудная деятельность человека, загнанного в узкие рамки жизни, не представляющей интереса для тех, кто находится за пределами этого тесного мирка. Все это, скажет читатель, все это повествование о том, как Толкин растапливает печку, едет на велосипеде на лекции, чувствует себя не в своей тарелке за обедом в колледже, — разве эти мелкие бытовые подробности расскажут нам что–нибудь об авторе, написавшем «Сильмариллион», «Хоббита» и «Властелина Колец»? Разве это объяснит нам его душу и то, как его воображение откликалось на происходящее? Разумеется, сам Толкин согласился бы с таким читателем. Он всегда придерживался мнения, что исследование жизни писателя очень мало говорит о том, как работал его ум. Что ж, быть может; однако, прежде чем оставить это дело, сочтя его безнадежным, возможно, стоит попробовать сойти с той отстраненной позиции, которую мы избрали, наблюдая за воображаемым днем из жизни Толкина, подойти чуть поближе и немного разобраться или хотя бы рискнуть сделать кое–какие предположения о более или менее очевидных особенностях его личности. И если это и не поможет нам лучше понять, почему он написал эти книги, мы, по крайней мере, чуточку лучше узнаем того человека, который их написал.

Может быть, разумно начать с фотографий. Их у нас имеется множество: Толкины часто фотографировались и бережно хранили все снимки. Однако на первый взгляд фотографии Толкина в среднем возрасте практически ничего о нем не говорят. В камеру смотрит самый обычный англичанин, принадлежащий к среднему классу, худощавого сложения и невысокого роста. Лицо довольно приятное, слегка вытянутое. Вот, собственно, и все. Да,

взгляд довольно проницательный, а это говорит о живости ума, но больше на снимках ничего не увидишь — кроме одежды, а одевался он до крайности неброско.

Его манера одеваться отчасти связана с материальным положением, с необходимостью содержать большую семью на относительно скромные доходы, так что на роскошь просто не было денег. Позднее, разбогатев, Толкин стал позволять себе носить яркие цветные жилеты. Но отчасти его выбор одежды в среднем возрасте объяснялся также неприязнью к щегольству. Эту неприязнь Толкин разделял с Льюисом. Оба не терпели экстравагантности в одежде, потому что это казалось им признаком недостаточной мужественности и, следовательно, заслуживало порицания. Льюис здесь доходил до крайности: он не только покупал невзрачную одежду, но и вовсе не обращал внимания на свой внешний вид. Толкин, всегда более разборчивый, по крайней мере, заботился о том, чтобы брюки были наглажены. Но в принципе оба относились к своей внешности одинаково — впрочем, такое отношение было свойственно многим их современникам. Это предпочтение, отдаваемое простому мужскому костюму, отчасти, возможно, стало реакцией на крайнюю экстравагантность и предполагаемую гомосексуальность «эстетов», которые впервые появились в Оксфорде во времена Оскара Уайльда и чьи последователи существовали вплоть до начала тридцатых годов нашего века, Щеголяя костюмами пастельных тонов и двусмысленными манерами. Их образ жизни воплощал в себе все то, что Толкин и большинство его друзей считали неприемлемым; отсюда едва ли не подчеркнутое стремление к твидовым пиджакам, фланелевым брюкам, жутким галстукам, тяжелым коричневым башмакам, рассчитанным на походы по сельской местности, плащам и шляпам унылых расцветок и коротким стрижкам. Кроме того, толкиновская манера одеваться отражает также некоторые из его позитивных ценностей: любовь ко всему умеренному, благоразумному, скромному и английскому. Но об утонченной и сложной душе своего владельца его одежда никакого представления не дает.

Что еще можно узнать о Толкине, глядя на его фотографии? На большинстве из них присутствует черта столь очевидная, что ее легко не заметить: почти неизменная обыденность фона. На одном снимке Толкин пьет чай в саду; на другом стоит на солнце рядом со своим домом; на третьем копается в песочке вместе с детьми на каком–то приморском курорте. Поневоле начинаешь думать, что в отношении мест, где он жил и даже только бывал, Толкин проявлял крайнюю консервативность.

И это в самом деле так. Его дом на севере Оксфорда ни снаружи, ни извне почти ничем не отличался от сотен других домов в округе — более того, он куда меньше бросался в глаза, чем многие из соседних. Толкин возил семью отдыхать туда же, куда и все. В годы зрелости, в период наибольшей творческой активности, Толкин ни разу не покидал Британских островов. Отчасти и это являлось следствием обстоятельств — из–за стесненности в средствах; и не то чтобы ему совсем уж не хотелось путешествовать: например, он бы с удовольствием побывал в Исландии, по примеру Э. В. Гордона. Позднее, когда денег у него стало побольше, а семья поуменьшилась, Толкин несколько раз выезжал за границу. Однако путешествия никогда не занимали особенно важного места в его жизни: просто потому, что воображение Толкина не нуждалось в том, чтобы его стимулировали новые пейзажи и незнакомые культуры. Гораздо удивительнее то, что Толкин отказывал себе даже в посещении знакомых и любимых мест поближе к дому. Правда, в те годы, когда у Толкина была своя машина (с 1932 года до начала Второй мировой), он немало поездил по деревням Оксфордшира, особенно тем, что ближе к востоку графства; но подолгу ходить пешком Толкин был непривычен и всего раза два присоединился к К. С. Льюису в пеших походах по сельской местности, которые играли столь важную роль в жизни его друга. Толкин знал горы Уэльса, но бывал там редко; любил море, но его поездки на море ограничивались обыкновенными семейными отпусками на курортах. И здесь тоже все можно объяснить грузом ответственности за семью, но и тут этим ответ не исчерпывается. Постепенно складывается впечатление, что Толкину было все равно, где жить.

В каком–то смысле это неверно, а в каком–то — вполне справедливо. Нельзя сказать, что Толкин был равнодушен к окружающему: вид природы, изуродованной человеком, приводил его в ярость. Вот, к примеру, как горестно описывает он в дневнике возвращение в места, где прошло его детство, в окрестности сэрхоулской мельницы, в 1933 году — он тогда возил семью в Бирмингем, в гости к Родственникам. «Не стану говорить, как больно мне было смотреть на Холл–Грин — ныне огромный, бестолковый пригород, изрезанный трамвайными путями, где я попросту заблудился. В конце концов я очутился среди любимых тропинок моего детства — точнее, того, что от них осталось, — и проехал мимо самой калитки нашего домика, ныне — маленького островка в море красного кирпича. Старая мельница все еще цела, и дом миссис Хант все еще выходит на шоссе в том месте, где оно поворачивает в гору; однако перекресток за прудом, ныне

обнесенным забором, где дорожка, вдоль которой росли колокольчики, пересекалась с другой, ведущей к мельнице, теперь превратился в опасную дорожную развязку со светофором, кишащую машинами. На месте дома Белого Людоеда, который так будоражил наше детское воображение, выросла автозаправка, и большая часть Шорт–Авеню и вязы между нею и перекрестком исчезли. Как я завидую тем, чьи любимые, памятные места детства не обезображены столь жуткими, на диво уродливыми переменами!»

Столь же чувствителен был Толкин и к ущербу, причиненному оксфордширским пейзажам строительством аэродромов военного времени и «улучшением» дорог. С возрастом, когда его наиболее стойкие убеждения начали превращаться в одержимость, он, увидев новую дорогу, срезавшую край поля, восклицал: «Вот и пришел конец последней английской пашне!» Но к тому времени он уже утверждал, что в стране не осталось ни единого неизуродованного леса или холма, а если и осталось, то он бы туда не пошел, из опасения увидеть, что и его успели замусорить. И при этом жить он предпочитал среди почти исключительно рукотворных ландшафтов, в пригородах Оксфорда, а позднее Борнмута, почти таких же «бестолковых», как краснокирпичный лабиринт, бывший некогда Сэрхоулом. Как же примирить эти два факта?

И снова отчасти все объясняется обстоятельствами. На самом–то деле Толкину не приходилось особенно выбирать, где жить: просто он по ряду причин бывал вынужден поселиться в том или ином месте. Пусть так; но отчего же тогда его душа не протестовала против этого? На это можно сказать, что временами все же протестовала: он жаловался и вслух, немногим близким друзьям, и втайне, в своем дневнике. Но все же по большей части Толкин, похоже, не возражал — и, видимо, объяснением этому служит его вера в то, что все мы живем в падшем мире. Если бы мир не пал и человек не был бы грешен, он сам благополучно провел бы детство вместе с матерью в раю, в который превратился в его воспоминаниях Сэрхоул. Однако мирская злоба разлучила его с матерью (ибо Толкин в конце концов начал верить, что мать его умерла из–за жестокости и черствости своей семьи), а теперь вот даже земля Сэрхоула бездумно загублена. В таком мире, где совершенство и истинное счастье все равно невозможны, имеет ли значение, где именно жить, во что одеваться и чем питаться (лишь бы еда была попроще)? Все эти несовершенства — временные и к тому же преходящие. В этом смысле то был глубоко христианский и аскетический подход к жизни.

Существует и другое объяснение этого на первый взгляд небрежного отношения к внешним условиям существования. К тому времени как Толкин достиг зрелости, его воображение уже не требовалось подстегивать внешними впечатлениями — точнее, все необходимые ему впечатления уже были получены в детстве и в юности, в годы, полные событий и смены пейзажей; и теперь оно могло питаться одними воспоминаниями. Вот как объяснял это сам Толкин, описывая процесс создания «Властелина Колец»:

«Такие истории пишутся не благодаря созерцанию листвы деревьев, которые сейчас рядом с тобой, и не благодаря знанию ботаники и почвоведения; нет, они прорастают, подобно семечку в темноте, из лиственного перегноя, накопившегося в уме, — из всего, что было когда–то увидено, передумано или прочитано, что давным–давно забыто и ушло вглубь. Хотя, несомненно, отбор идет, так же как у садовника: не всякая травка попадает в твою личную компостную кучу; и мой перегной состоит в основном из различного языкового материала».

Листьям и стеблям приходится долго разлагаться, прежде чем они смогут удобрить собою почву, и Толкин говорит здесь, что питал семена своего воображения почти исключительно ранним опытом, достаточно перемолотым временем. Новые впечатления были не нужны — он к ним и не стремился.

Похоже, нам удалось–таки кое–что узнать о Толкине, разглядывая старые фотографии. Возможно, стоит попытаться перейти от рассматривания его внешности и того, что его окружало, к другой внешней характеристике, его голосу и манере изъясняться. С юных лет и до конца жизни Толкин отличался, чтобы не сказать «славился», быстротой и невнятностью речи. Было бы совсем нетрудно преувеличить эту черту, превратив его в комического профессора, что–то бормочущего себе под нос. В жизни дело обстояло не совсем так. Толкин и впрямь говорил быстро и не очень отчетливо, но привычному слушателю не составляло особого труда понимать все или почти все. И проблема была не столько физического плана, сколько интеллектуального. Толкин так стремительно перескакивал от одной идеи к другой и вставлял в свою речь такое множество аллюзий, предполагая, что слушателю известно столько же, сколько ему самому, что все, кроме тех, кто обладал столь же обширными познаниями, попросту терялись. Не то чтобы привычка говорить чересчур умно простительнее привычки говорить чересчур быстро, и Толкина, конечно, легко обвинить в том, что он переоценивал умственные способности своих слушателей. Можно также предположить, что Толкин и не стремился изъясняться понятно, поскольку на самом деле

беседовал сам с собой, озвучивая собственные мысли и не пытаясь завязать настоящий диалог. В старости, когда Толкин оказался почти лишен интеллектуального общества, так зачастую и случалось. Он попросту отвык от разговоров и приучился к длинным монологам. Но даже тогда его можно было вызвать на настоящий спор, и он всегда готов был слушать собеседника и с энтузиазмом отвечать ему.

На самом деле Толкин никогда не принадлежал к числу настоящих эгоцентриков, людей, которые желают слушать только себя — и никого другого. Толкин умел слушать и всегда с готовностью отзывался на чужие радости и беды. В результате, несмотря на то, что во многих отношениях Толкин был весьма застенчив, он легко сходился с людьми. Он мог завязать беседу с беженцем из Центральной Европы в поезде, с официантом в любимом ресторане, с коридорным в отеле. В компании простых людей он всегда чувствовал себя уютно. Толкин рассказывал о поездке по железной дороге в 1953 году, когда он возвращался из Глазго после лекций по «Сэру Гавейну»: «От Мотеруэлла до Вулвергемптона я путешествовал в обществе молодой матери–шотландки с крошечной дочуркой, которых я избавил от стояния в проходе переполненного поезда. Я сказал контролеру, что порадуюсь их соседству, и им разрешили ехать первым классом без доплаты. В благодарность на прощание меня известили, что, пока я отходил перекусить, малышка заявила: «Этот дядя мне нравится, только я его ну совсем не понимаю». На это я смог только неуклюже ответить, что на второе все жалуются, а вот первое далеко не столь распространено».

В старости Толкин заводил дружбу с таксистами, чьи машины он нанимал, с полицейским, дежурившим на улице рядом с его коттеджем в Борнмуте, со скаутом из колледжа и его женой, которые обслуживали его в последние годы. И в этих дружеских отношениях не было и тени снисходительности с его стороны. Толкин просто любил общество, а эти люди оказались ближе всего. При этом он отнюдь не оставался глух к классовым различиям; напротив. Но именно благодаря тому, что Толкин был уверен в своем собственном общественном положении, он не кичился ни интеллектуальным, ни классовым превосходством. Его взгляд на мир, согласно которому каждый человек принадлежит или должен принадлежать к определенному «сословию», не важно, высокому или низкому, в определенном отношении делал его старомодным консерватором. Но зато он же заставлял его относиться с состраданием к ближним своим — ведь именно те, кто не уверен в своем месте в мире, вечно чувствуют необходимость в самоутверждении и ради этого

готовы, если понадобится, затоптать всех остальных. Выражаясь современным жаргоном, Толкин был «правым» — в том смысле, что он чтил своего монарха, свою страну и не верил в народовластие; но он выступал против демократии просто потому, что не считал, будто его ближние от этого выиграют. Он писал: «Я не «демократ», хотя бы потому, что «смирение» и равенство — это духовные принципы, которые при попытке механизировать и формализовать их безнадежно искажаются, и в результате мы имеем не всеобщее умаление и смирение, а всеобщее возвеличивание и гордыню, пока какой–нибудь орк не завладеет кольцом власти, а тогда мы получим — и получаем — рабство». Что же до добродетелей феодального общества на старинный лад, вот что он однажды сказал о почтении к высшим: «Обычай снимать шапку перед вашим сквайром, возможно, чертовски вреден для сквайра, зато чертовски полезен для вас».

Что еще мы могли бы отметить? Быть может, не лишен значимости тот факт, что рассказ о воображаемом дне из жизни профессора начинается с поездки к мессе в церковь Святого Алоизия. И в самом деле, анализируя жизнь Толкина, нельзя не учитывать, что религия играла в ней очень важную роль. Он был всей душой предан христианству и, в частности, католической церкви. Это не значит, что отправление религиозных обрядов непременно служило для него источником утешения. Толкин установил для себя жесткий свод правил: например, никогда не причащаться, не исповедовавшись; и если, как часто случалось, он не мог заставить себя пойти на исповедь, он не позволял себе причащаться и оставался в жалком состоянии духовного упадка. Еще одним источником печали в последние годы жизни стало для него то, что в католической церкви ввели богослужение на родном языке: слушать мессу на английском, а не на латыни, которую Толкин знал и любил с детства, было для него довольно мучительно. Но даже на английской мессе в современной церкви с голыми стенами в Хедингтоне, куда он ходил, будучи на пенсии, и где его временами раздражало пение детского хора и вопли младенцев, он, принимая причастие, испытывал глубокую духовную радость, состояние удовлетворенности, которого не мог достичь никаким иным путем. Вера Толкина была одной из ключевых и самых мощных составляющих его личности.

На определенном уровне его преданность католицизму можно объяснить исключительно как явление духовной жизни; с другой стороны, она очень тесно связана с любовью Толкина к матери, которая сделала его католиком и которая, как он твердо верил, умерла за свою веру. В самом деле очевидно, что привязанность к памяти матери является одним из ведущих

мотивов всей его жизни и творчества. Смерть матери сделала его пессимистом — или, точнее, наделила его способностью к внезапным перепадам настроения. Утратив мать, Толкин почувствовал, что все вокруг ненадежно, и его природный оптимизм отныне уравновешивался глубокой внутренней неуверенностью. Быть может, именно потому он не знал умеренности ни в чем: любовь, интеллектуальный восторг, отвращение, гнев, неверие в собственные силы, чувство вины, веселье — любая страсть поглощала его целиком и полностью, и в тот момент ни одна другая эмоция не могла послужить сдерживающей силой. А потому Толкин был человеком крайностей. Пребывая в депрессии, он чувствовал, что надеяться не на что ни ему, ни всему миру; и, поскольку зачастую именно депрессия побуждала его поверять свои чувства бумаге, дневники Толкина, как правило, отражают только мрачную сторону его натуры. А пять минут спустя, оказавшись в обществе Друга, Толкин забывал обо всех черных мыслях и снова приходил в превосходное расположение духа.

Человек, столь сильно управляемый своими чувствами, вряд ли может быть циником; и цинизмом Толкин никогда не отличался. Он все принимал слишком близко к сердцу, а при таком подходе холодный, отстраненный взгляд невозможен. Если уж он придерживался какого–то мнения, то всей душой; интересующей его темой он занимался с самозабвением. Иногда это проявлялось довольно странно. К примеру, его галлофобия (сама по себе практически необъяснимая) заставляла его гневаться не только на «разлагающее влияние» «французских кулинарных изысков», но и на норманнское завоевание, которое так сильно огорчало Толкина, как будто имело место при его жизни. Эта сила чувств проявлялась также и в его страсти к совершенству в любых своих сочинениях, и в неспособности философски относиться к домашним неурядицам. Опять–таки, слишком уж близко к сердцу он все принимал.

Если бы он вдобавок еще и страдал гордыней, эти бурные эмоции, пожалуй, сделали бы его несносным. Но на самом деле Толкин был весьма скромным человеком. Это не значит, что он не замечал собственных талантов, — Толкин оценивал себя вполне адекватно и твердо верил в свои способности, как научные, так и писательские. Но он не считал, что все эти таланты так уж важны (вот почему слава, свалившаяся на него в старости, приводила его в замешательство), и, уж конечно, не гордился собственным характером. Напротив, Толкин считал себя слабым человеком: это было для него почти трагедией и, в свою очередь, временами ввергало его в глубокую депрессию. С другой стороны, благодаря

смирению Толкин остро воспринимал комичную сторону жизни: в своих собственных глазах он был лишь одним из жалких представителей рода человеческого.

Он мог посмеяться над кем угодно, но чаще всего смеялся над собой. Полное отсутствие чувства собственного достоинства могло заставить и нередко заставляло его вести себя подобно шумному школяру. Один раз на новогодней вечеринке в тридцатые годы Толкин накрылся каминным ковриком из исландской овчины, вымазал лицо белой краской и изображал белого медведя. В другой раз он оделся англосаксонским воином, вооружился боевым топором и вышел погоняться за ошарашенным соседом. В старости он любил подсовывать рассеянным продавцам вместе с горстью мелочи свою вставную челюсть. «Юмор у меня простоватый, — писал он, — и даже самые доброжелательные критики находят его утомительным».

Странный человек, сложный человек; и эта попытка исследовать его личность дала нам не так уж много. Но, как говорит один из персонажей романов Льюиса: «Сдается мне, что людей нельзя изучать: их можно только узнавать, а это совсем другое дело».

Глава 3
«ОН ПОБЫВАЛ ВНУТРИ ЯЗЫКА»

Если Толкин интересует вас прежде всего как автор «Властелина Колец», вас может напугать перспектива чтения главы, где идет речь о «Толкине как ученом и преподавателе». И действительно, при такой формулировке тема может показаться Довольно скучной. Поэтому следует сразу оговорить: это не так. Нельзя сказать, что Толкин был как бы двумя разными людьми, ученым и писателем. Это все один и тот же человек, и две стороны его личности переплетаются настолько тесно, что порой делаются неразличимы. И вообще это не разные стороны, а разные проявления одного и того же ума, одного и того же воображения. Так что, если мы собираемся разобраться в литературном творчестве Толкина, нам никак не обойтись без его научной работы.

Для начала надо понять, почему Толкин любил языки. Кое–что нам об этом уже известно из рассказа о его детстве. Его _будоражили_ валлийские названия на товарных вагонах, «внешний блеск» греческого, непривычные формы готских слов в случайно приобретенной книжке, финские имена в «Калевале». То есть Толкин был необычайно чуток к звучанию и внешнему облику слов. Они занимали в его жизни то место, что в жизни многих людей занимает музыка. Воздействие, которое оказывали на него слова, было почти исключительно эмоциональным.

Но почему Толкин избрал своей специальностью именно средневековый английский? Уж если ему так нравились незнакомые слова, почему бы не заняться изучением иностранных языков? И снова искать ответ следует в его способности загораться энтузиазмом. Нам уже известно, как бурно реагировал он на первое знакомство с финским, валлийским и готским. Так вот, не следует забывать, что не менее взбудоражен он был в тот день, когда впервые осознал, что немалая часть поэзии и прозы англосаксов и средневековой Англии написана на том самом диалекте, на котором говорили предки его матери. Иными словами, для него это было нечто отдаленное и в то же время бесконечно личное.

Мы уже знаем, что Толкин всем сердцем любил запад Центральных графств, потому что эти края ассоциировались у него с матерью. Ее семья происходила из Ившема, и Толкин считал, что этот западномидлендский городок и окрестное графство Вустершир на протяжении многих поколений были

домом этой семьи, Саффилдов. И сам он провел немалую часть своего детства в западно–мидлендской деревушке Сэрхоуле. И потому эта часть сельской Англии — равно как и ее язык — вызывала у Толкина сильный эмоциональный отклик.

«Я западномидлендец по крови, — писал он У. Х. Одену [Уистен Хью Оден (1907—1973) — английский поэт–модернист. В начале творческой деятельности экспериментировал с аллите–рационным стихом.], — и потому, стоило мне встретиться с западномидлендским среднеанглийским, я сразу признал в нем знакомый язык». «Знакомый язык» — нечто, что сразу показалось ему родным. От этого можно отмахнуться, как от смехотворного преувеличения: как это он мог «признать» язык, которому уже семьсот пятьдесят лет? Однако сам Толкин действительно верил в то, что унаследовал некую смутную память о языке, на котором много веков назад говорили его предки Саффилды. А неизбежным следствием этой мысли явился вывод, что ему надлежит как следует изучить этот язык и поставить его во главу угла своей научной деятельности.

Разумеется, это не значит, что Толкин занимался исключительно средневековым английским западного Мидленда. Он проштудировал все диалекты древне–и среднеанглийского и, как мы уже видели, много читал по–исландски. К тому же в 1919—1920 годах, работая над «Оксфордским словарем», Толкин познакомился со множеством других древних германских языков. В результате к 1920 году, когда Толкин оказался в Лидском университете, он обладал уже весьма обширными лингвистическими познаниями.

В Лидсе и, позднее, в Оксфорде он проявил себя как хороший преподаватель. Лектором он был не из лучших, поскольку его быстрая речь и невнятный выговор делали его объяснения трудными для восприятия. К тому же Толкину не всегда удавалось излагать материал ясно и вразумительно, потому что ему было трудно соразмерить собственные знания со знаниями своих учеников и, соответственно, выстроить лекцию так, чтобы студентам было все понятно. Однако он умел живо подать предмет и продемонстрировать собственный интерес к нему. Самым знаменитым примером, памятным всем, кто учился у Толкина, была вступительная лекция цикла, посвященного «Беовульфу». Толкин молча входил в аудиторию, обводил слушателей пристальным взглядом и внезапно принимался звучно декламировать начальные строки поэмы в оригинале, на древнеанглийском, начиная громким восклицанием: «Hwaet!» (начальное слово этой и еще нескольких древнеанглийских поэм), которое некоторые студенты воспринимали как «Quiet!» [«Hwaet»

(древнеангл.) — восклицание, обозначающее «Се! Вот!». «Quiet!» (англ.) — «Тише!»]. Это было не столько чтение вслух, сколько театральное представление. Студенты как наяву видели англосаксонского барда в пиршественной зале. И это производило большое впечатление на многие поколения студентов, сразу давая им понять, что «Беовульф» — это не просто текст из хрестоматии, который надо прочесть к экзамену, а прекрасная трагическая поэма. Как выразился один из бывших учеников Толкина, писатель Д. И. М. Стюарт [Джон Иннес Макинтош Стюарт (род. 1906) — литературный критик, романист, автор детективов (изд. под псевдонимом Майкл Иннес)], «он мог превратить аудиторию в пиршественную залу, где он был бардом, а мы — слушателями и гостями на пиру». На тех же лекциях присутствовал и У. Х. Оден, который писал Толкину много лет спустя: «Я вам, кажется, никогда не говорил, какое незабываемое впечатление произвело на меня, студента, ваше чтение «Беовульфа». Ваш голос был голосом Гэндальфа».

Одной из причин преподавательских успехов Толкина являлось то, что он был не только филологом, но и писателем и поэтом, человеком, который не просто изучает слова, но использует их в литературных текстах. Он с детства умел находить поэзию в самом звучании слов; но, кроме этого, он, как и любой поэт, понимал, как используется язык. Это прекрасно выражено меткой фразой из некролога Толкина, опубликованного в «Таймс» (написанного, несомненно, К. С. Льюисом задолго до смерти Толкина), насчет его «уникальной способности чувствовать одновременно и язык поэзии, и поэзию языка». На практике это означало, что Толкин мог объяснить ученику не только значение слов, но и то, почему автор избрал именно это выражение и как оно вписывается в его систему образов. Таким образом он учил студентов, читающих древние тексты, относиться к ним не просто как к памятникам развивающегося языка, но как к литературе, заслуживающей критической оценки и литературоведческого анализа.

Но Толкин умел преподавать живо и занимательно даже тогда, когда речь шла о чисто технических аспектах языка. Льюис в своем некрологе предполагает, что отчасти это явилось следствием давнего увлечения своими собственными языками, следствием того факта, что Толкин не просто изучал языки, но и сам их выдумывал. «Это может показаться странным, но тем не менее, несомненно, именно здесь — источник необычайной живости и реалистичности, которая впоследствии отличала его от всех прочих филологов. Он побывал внутри языка».

Фраза «отличала его от всех прочих филологов» звучит как

чересчур смелое обобщение, но тем не менее это чистая правда. Сравнительная филология родилась и выросла в Германии в XIX веке. Ученые, занимавшиеся ею, уделяли чрезвычайно большое внимание точности, но их труды при этом невыносимо скучны. Наставник Толкина, Джозеф Райт, учился в Германии. И хотя книги Райта внесли бесценный вклад в науку о языке, они почти ничего не говорят о яркой личности их автора. Толкин очень любил своего старого учителя, однако, когда он писал об «очкастом филологе, который был англичанином, но обучался в Германии и потерял там свою литературную душу», он, вероятно, имел в виду и Райта тоже.

Толкин своей «литературной души» не терял никогда. Его научные работы неизменно отражают живость его ума. Даже в самые сложные аспекты своего предмета Толкин привносил изящество выражений и ощущение, что данный вопрос имеет отношение к более широким темам. Нигде это не проявляется отчетливее, чем в его статье (опубликованной в 1929 году) об «Ancrene Wisse», средневековом собрании наставлений группе отшельниц, созданном, вероятно, в западном Мидленде. В этой выдающейся, блестяще написанной работе Толкин показывает, что язык двух важных рукописей текста (одна хранится в одном из кембриджских колледжей, другая — в Бодлианской библиотеке в Оксфорде) являлся не просто неотшлифованным диалектом, но литературным языком, следовавшим непрерывной литературной традиции, возникшей задолго до норманнского завоевания. Свой вывод он излагает весьма живо и образно — и обратите внимание, что здесь он и в самом деле говорит о своем любимом западномидлендском Диалекте в целом:

«Нельзя сказать, что это язык, давным–давно отправленный «в глушь», а теперь пытающийся вновь обрести голос, застенчиво подражая тем, Кто познатнее, или из сострадания к черни; напротив, он никогда не опускался до уровня черни и в беспокойные времена сумел сохранить облик джентльмена, пусть даже провинциального джентльмена. У него есть свои традиции, он знаком с книгами и пером, но при этом он тесно соприкасается со славной живой речью — с почвой где–нибудь в Англии». Такой стиль, насыщенный яркими образами, свойствен всем статьям и лекциям Толкина, сколь бы сложной и малоинтересной ни представлялась их тема. В этом отношении Толкин, можно сказать, основал новое направление в филологии: до него никто не привносил в эту науку такой человечности, чтобы не сказать «такой эмоциональности»; и данный подход оказал влияние на многих из наиболее способных учеников Толкина, которые впоследствии сами стали видными филологами. Нельзя не

отметить также, что Толкин был крайне добросовестен. В его работах довольно много откровенных, веских заявлений, подобных приведенному выше, но все это — не просто предположения и допущения, а плод бесчисленных часов, посвященных исследованию темы вплоть до мельчайших подробностей. В сравнительной филологии вообще требуется крайняя скрупулезность, но Толкин обладал ею в избытке даже по меркам своей науки. Он стремился к предельной точности, и это стремление вдвойне ценно, поскольку сочеталось в нем с даром выслеживать закономерности и соотношения. «Выслеживать» — хорошее слово: не будет чересчур смелым полетом фантазии представить себе Толкина этаким Шерлоком Холмсом от филологии, который, видя кучу разрозненных фактов, выстраивает на их основании выводы о каком–либо важном вопросе. Толкин демонстрировал свое умение «выслеживать» и на более простом уровне: обсуждая с учеником какое–либо слово или фразу, он мог на ходу подобрать целый ряд аналогичных форм или выражений из других языков. И даже в непринужденной беседе он время от времени неожиданно вставлял замечания об именах или названиях: к примеру, что фамилия Во (Waugh) исторически представляет собой единственное число от слова «Уэльс» («Wales»).

Но, возможно, все это слишком похоже на традиционный образ ученого в башне из слоновой кости. А чем он, собственно, занимался? Что полагалось делать профессору, преподавателю англосаксонского языка в Оксфорде? В трех словах: работать, работать и работать. Согласно университетскому уставу, Толкин был обязан проводить не менее тридцати шести лекций или семинаров в год. Но Толкин считал это недостаточным для своего предмета и на второй год после того, как он был избран профессором, провел сто тридцать шесть лекций и семинаров. Отчасти потому, что Других преподавателей древне–и среднеанглийского было сравнительно мало. Позднее Толкин сумел добиться, чтобы в помощь ему назначили еще одного филолога, Чарльза Ренна, прекрасного преподавателя, только студенты его боялись. Благодаря этому рабочий график Толкина стал несколько менее напряженным. И все же на протяжении тридцатых годов Толкин каждый год проводил по крайней мере вдвое больше лекций и семинаров, чем того требовал устав, значительно больше, чем большинство его коллег.

Итак, большую часть его времени занимали лекции и подготовка к ним. По правде говоря, этот груз временами становился настолько тяжел, что Толкин оказывался не в состоянии с ним управиться и вынужден был отказываться от того

или иного курса лекций, потому что просто не успевал его составить. Разумеется, Оксфорд злорадствовал по этому поводу и распускал слухи, что Толкин–де не готовится как следует к лекциям, хотя на самом деле Толкин как раз готовился к ним чересчур тщательно. Крайняя добросовестность заставляла его излагать свой предмет не иначе как самым исчерпывающим образом, из–за чего Толкин зачастую отвлекался на второстепенные детали и забывал об основной теме.

Кроме того, ему по должности полагалось курировать аспирантов и принимать университетские экзамены. Вдобавок он довольно много подрабатывал «вольнонаемным» в качестве экзаменатора со стороны в других университетах: у него было четверо детей, и приходилось делать все, чтобы хоть как–то увеличить свои доходы. В двадцатых и тридцатых годах Толкин побывал экзаменатором во многих британских университетах и проводил бесчисленные часы за проверкой экзаменационных работ. После Второй мировой он ограничил свою деятельность тем, что регулярно эинимал экзамены в разных колледжах в Ирланди, много путешествовал по Эйре [Ирландия (ирл.)] и обзавелся там большим количеством друзей. Это пришлось ему по вкусу. Куда менее приятным, скажем прямо, нудным и неблагодарным занятием была проверка экзаменов на аттестат зрелости (его как раз ввели в британских средних школах), за которую он брался до войны каждый год, чтобы подработать. Конечно, для него было бы лучше посвятить это время научным исследованиям или творчеству, но забота о семье вынуждала Толкина каждое лето заниматься этим унылым делом.

Немало времени отнимали также административные обязанности. Не следует забывать, что в Оксфорде, в отличие от многих иных университетов, профессор не становится автоматически влиятельным лицом на своем факультете. У него нет власти над наставниками из колледжей, которые, по всей вероятности, составляют большинство сотрудников факультета, поскольку наставников назначает колледж и перед профессорами они ответственности не несут. Так что, если профессор хочет внести какие–то существенные изменения в политику факультета, ему приходится действовать не авторитарно, а убеждением. А Толкин, вернувшись в 1925 году в Оксфорд, хотел внести очень существенные изменения: он желал реформировать некоторые аспекты выпускных экзаменов на факультете английского языка и литературы.

За годы, миновавшие после Первой мировой, прежний разрыв между «языком» и «литературой» сделался еще шире, и обе клики — а то были именно клики, академические разногласия между

которыми подкреплялись личной неприязнью, — со злорадным наслаждением вмешивались в учебные программы друг друга. «Язы» заботились о том, чтобы студентам «лита» приходилось убивать уйму времени на штудирование весьма специфичных областей английской филологии, а лагерь «литов» настаивал на том, что студенты «яза» должны на много часов забросить свою специальность (древне–и среднеанглийский) и посвятить эти часы разбору произведений Мильтона и Шекспира. Толкин считал, что это нужно исправить. Еще больше его огорчало то, что в лингвистических курсах упор делался на теоретическую филологию, вместо того чтобы заставить студентов побольше читать средневековую литературу. Его собственная любовь к филологии всегда была основана на хорошем знании литературы. И потому Толкин твердо решил изменить и это тоже. Он предложил также уделять больше времени изучению исландского — отчасти в надежде на это он и основал клуб «Углегрызов».

Для воплощения его замыслов в жизнь требовалось согласие всего факультета, а между тем сперва предложения Толкина восприняли в штыки. Даже К. С. Льюис, не бывший тогда еще его личным другом, оказался в числе тех, кто поначалу выступал против предложений Толкина. Но с течением времени Льюис и многие другие перешли на сторону Толкина и принялись активно его поддерживать. К 1931 году Толкину удалось добиться того, что большинство его предложений были одобрены единогласно. («Я об этом и мечтать не смел», — писал он в дневнике.) Учебные программы факультета были изменены, и впервые за всю историю оксфордского факультета английского языка и литературы было достигнуто нечто похожее на настоящее согласие между «язом» и «литом».

Помимо лежавшей на них ответственности за преподавание и административных обязанностей, профессорам Оксфорда, как и любых других университетов, полагалось уделять немало времени научным исследованиям. Современники Толкина возлагали на него в этом отношении большие надежды, поскольку его глоссарий к книге Сайзема, издание «Сэра Гавейна и Зеленого Рыцаря» (совместно с Э. В. Гордоном) и статья об «Ancrene Wisse» продемонстрировали, что в области ранне–и среднеанглийского западного Мидленда Толкин не имеет себе равных. От него ожидали новых важных исследований на этом поприще. Толкин и сам рассчитывал продолжать работу в этом направлении. Он пообещал «Обществу по изданию древних английских текстов» подготовить к публикации кембриджскую рукопись «Ancrene Wisse» и глубоко и всесторонне изучил данную ветвь среднеанглийского, столь любимого им языка с «обликом

джентльмена, пусть даже провинциального джентльмена». Однако же подготовка текста к печати была завершена только через много лет, а большая часть научных изысканий Толкина так и не увидела свет.

Одной из причин этого был недостаток времени. Толкин решил посвятить большую часть своей деятельности в Оксфорде преподаванию, и уже одно это ограничивало его возможности исследователя. Много времени съедала и проверка экзаменационных работ ради денег, необходимых семье. Но, помимо всего этого, проблема состояла еще и в перфекционизме Толкина.

Толкин самозабвенно совершенствовал и оттачивал каждую написанную строку, будь то статьи или сказки. Это шло от его душевной преданности своему делу, не позволявшей относиться к работе иначе как с исключительной серьезностью. Прежде чем достичь печатного станка, материал непременно старательно вычитывался, пересматривался, вычищался и полировался — в этом Толкин был полной противоположностью Льюису, который отправлял рукописи издателю, почти не правя. Льюис отлично сознавал эту разницу и писал о Толкине: «Он был чрезвычайно требователен к себе. Одно лишь упоминание о публикации заставляло его пересматривать текст. А в процессе редактирования в голову ему приходило так много новых мыслей, что вместо окончательного варианта прежней работы его друзья получали первый набросок новой».

Это и есть основная причина, по которой Толкин позволял себе отправлять в печать лишь малую часть написанного. Но труды, которые Толкин все же опубликовал в течение тридцатых годов, стали важным вкладом в науку. Его статью о диалектах в чосеровском «Рассказе Мажордома» необходимо прочесть любому, кто желает разобраться в местных вариациях английского языка XIV века. Она была зачитана в Филологическом обществе в 1931 году, но опубликована только в 1934–м, и то с типичными для Толкина извинениями, что текст, с точки зрения автора, недостаточно отредактирован и улучшен. А его лекция «Беовульф: чудовища и критики», прочитанная в Британской академии 25 ноября 1936 года и опубликованная в следующем году, открыла новую эпоху в истории литературоведческого анализа этой великой англосаксонской поэмы.

«Беовульф», говорит Толкин в лекции, это именно поэма, а не просто беспорядочная смесь различных литературных традиций, как предполагали другие комментаторы, и не материал для отвлеченных научных изысканий. В свойственной ему образной

манере Толкин описывает отношение более ранних критиков к творчеству автора «Беовульфа» так: «Человек получил в наследство поле, на котором лежала куча старых камней, руины древнего замка. Сколько–то этих камней ранее ушло на постройку коттеджа, где жил сам этот человек, неподалеку от старинного дома его предков. А из остального человек взял и построил башню. Но пришедшие к нему друзья сразу же (даже не дав себе труда взойти на башню) определили, что камни эти некогда были частью более древнего здания. Поэтому они снесли башню, приложив к этому немалые усилия, с целью найти на камнях скрытые орнаменты или надписи или выяснить, где праотцы того человека добывали строительный материал. Некоторые, заподозрив, что под землей может лежать уголь, принялись копать шахты и о камнях вообще забыли. При этом все говорили: «Какая интересная башня!» Но еще они говорили (после того, как снесли башню): «Экий здесь беспорядок!» И даже потомки того человека, которым следовало бы поинтересоваться, чего он, собственно, хотел, вместо этого принялись ворчать: «Что за чудак! Это ж надо: использовать все эти древние камни только затем, чтобы построить какую–то дурацкую башню! Почему он не восстановил прежний замок? У него совсем не было вкуса!» А ведь с вершины этой башни было видно море!»

В своей лекции Толкин ратовал за то, чтобы восстановить наконец башню. Он утверждал, что, хотя в «Беовульфе» речь идет о чудовищах и драконе, это ничуть не снижает его ценности как героической поэзии. «Дракон — не пустая выдумка, — говорил Толкин своей аудитории. — Даже в наши дни (невзирая на критиков) найдутся люди, достаточно сведущие в трагических легендах и истории, наслышанные о героях и даже видевшие их своими глазами, которые тем не менее не могут устоять перед чарами змея».

Здесь Толкин говорил уже не как филолог и даже не как литературный критик, а в первую очередь как рассказчик историй. Подобно тому как Льюис сказал о его филологии: «Он побывал внутри языка», можно заметить, что, ссылаясь на дракона из «Беовульфа», Толкин рассуждал как автор «Сильмариллиона», а к тому времени — еще и «Хоббита». Он сам побывал в драконьем логове.

С тех пор как лекция была впервые опубликована, многие читатели «Беовульфа» выражали несогласие со взглядами Толкина на структуру поэмы. Но даже один из самых суровых критиков интерпретации Толкина, его бывший наставник Кеннет Сайзем, признавал, что эта лекция отличается от большинства работ в этой области «тонкостью восприятия и изяществом

выражений».

Лекция о «Беовульфе» и статья о «Рассказе Мажордома» — единственные крупные филологические работы, опубликованные Толкином в тридцатые годы. Он рассчитывал сделать гораздо больше: помимо «Ancrene Wisse», он намеревался издать древнеанглийскую поэму «Исход» и действительно был близок к завершению, но так и не сумел довести свой труд до той степени совершенства, которая устроила бы его самого. Он также планировал подготовить еще несколько изданий в сотрудничестве с Э. В. Гордоном — в частности, поэму «Перл» (естественное дополнение к их «Гавейну») и древнеанглийские элегии «Скиталец» и «Морестранник». Но Гордон с Толкином теперь оказались далеки друг от друга — географически. В 1931 году Гордон, некогда назначенный профессором в Лидсе в качестве преемника Толкина, переехал оттуда в Манчестер, чтобы занять предложенную ему кафедру в местном университете, и, хотя они с Толкином достаточно часто встречались и переписывались, сотрудничать чисто технически оказалось сложнее, чем тогда, когда оба они преподавали в одном месте. Гордон много работал над этими тремя проектами, Толкин же содействовал ему скорее в качестве консультанта, нежели полноправного соавтора. Однако к 1938 году еще ничего готово не было. А летом этого года Гордон лег на операцию по удалению камней в желчном пузыре. Операция прошла вроде бы успешно, но внезапно состояние его ухудшилось, и Гордон скончался от дисфункции почек, до сих пор никак не проявлявшейся. Ему было тогда сорок два года.

Смерть Гордона лишила Толкина не только близкого друга, но и идеального напарника. А к тому времени сделалось очевидно, что напарник Тол кину необходим — хотя бы затем, чтобы в конце концов принудить его отдать работу в печать [Толкин намеревался закончить издание «Перла», но обнаружил, что не в силах сделать это (он к тому времени был поглощен работой над «Властелином Колец»). В конце концов текст был выверен и окончательно подготовлен к публикации Идой Гордон, вдовой Э. В. Гордона, которая также была филологом по профессии. (Прим. авт.)]. И вскоре он познакомился с другим филологом, который оказался для него хорошим товарищем по работе. Это была Симонна д'Арденн, аспирантка из Бельгии, которая в начале тридцатых годов изучала у него среднеанглийский, готовясь к защите степени бакалавра литературы [В Оксфордском университете — ученая степень, следующая за степенью бакалавра]. Толкин немало помог ей в подготовке к изданию «Жития и страстей святой Юлианы», средневекового текста, написанного на том же диалекте, что и

«Ancrene Wisse». Более того: как это ни парадоксально, из «Юлианы» д'Арденн можно куда больше узнать о взглядах Толкина на ранне–и среднеанглийский, чем из любого труда, опубликованного Толкином под своим именем. Мадемуазель д'Арденн стала профессором в Льеже, и они с Толкином планировали совместное издание «Катерины», еще одного западносреднеанглийского текста из той же группы. Но тут вмешалась война и на много лет сделала общение между ними невозможным, а после 1945 года им не удалось сделать ничего, кроме пары коротких статей, посвященных рукописи этого текста. Хотя Толкин мог бы поработать с мадемуазель д'Арденн, когда был в Бельгии на филологическом конгрессе в 1951 году, она с грустью осознала, что теперь сотрудничать с ним уже невозможно: Толкин был всецело поглощен своим литературным творчеством.

Но даже если рассматривать тот факт, что Толкину удалось опубликовать так мало научных работ по своей теме, как повод для сожаления, нельзя не принимать в расчет влияния, оказанного им в этой области. Его теории и выводы цитировались и цитируются до сих пор (со ссылками на Толкина или без таковых) везде, где изучается английская филология.

Не следует забывать также и о его переводах «Перла», «Сэра Гавейна и Зеленого Рыцаря» и «Сэра Орфео». Работа над «Перлом» была начата в двадцатые годы, еще в Лидсе; Толкин взялся за нее, привлеченный сложной метрической и лексической системой поэмы. Он закончил перевод в 1926 году, но опубликовать его не пытался до тех пор, пока в сороковых годах Бэзил Блэкуэлл не предложил напечатать его в счет огромного долга за книги, приобретенные Толкином в книжном магазине Блэкуэлла в Оксфорде. Текст был отдан в набор, однако Блэкуэлл тщетно ждал, чтобы Толкин написал наконец предисловие к книге, и в конце концов от этого проекта пришлось отказаться. Перевод «Гавейна», начатый, вероятно, где–то в тридцатые–сороковые годы, был закончен к 1953 году; тогда же Би–би–си сделала по нему радиопостановку. Сам Толкин записал к этой постановке короткое вступительное слово и более пространную заключительную речь. Вслед за успехом «Властелина Колец» его издатели «Аллен энд Анвин» приняли решение опубликовать переводы «Гавейна» и «Перла» в одном томе. Толкин пересмотрел их и внес ряд исправлений, но от него снова потребовали предисловие, а он обнаружил, что написать таковое ужасно трудно: он не знал, что необходимо объяснить читателю, далекому от науки, для которого предназначалась книга. А потому проект снова провалился. В результате оба текста были

напечатаны только после смерти Толкина, вместе с переводом на современный английский третьей поэмы того же периода, «Сэра Орфео», — Толкин выполнил его во время войны для кадетских курсов в Оксфорде. Введение к изданию было составлено Кристофером Толкином из тех материалов, что нашлись в бумагах его отца.

На самом деле эти переводы можно считать последними из опубликованных филологических работ Толкина, поскольку, хотя они не снабжены ни примечаниями, ни комментариями, они являются плодом шестидесятилетнего тщательного изучения этих поэм и во многих случаях служат обоснованной и убедительной интерпретацией сложных и неоднозначных мест оригиналов. А главное — благодаря этим переводам поэмы сделались доступны аудитории, которая никогда не смогла бы прочесть их на среднеанглийском. И потому они представляют собой достойное завершение трудов человека, который считал главной задачей лингвиста интерпретацию литературы, а главной задачей литературы — дарить людям радость.

Глава 4
ДЖЕК

В 1925 году, когда Толкин вернулся в Оксфорд, в его жизни недоставало одного важного элемента. Недоставало с тех самых пор, как в битве на Сомме распалось ЧКБО, потому что Толкин так и не смог обзавестись новыми друзьями, столь же близкими ему по разуму и по духу. Время от времени Толкин встречался со вторым выжившим членом ЧКБО, Кристофером Уайзменом, однако Уайзмен теперь был всецело поглощен своими новыми обязанностями директора методистского пансиона [Квинз–Колледж в Тонтоне, в числе первых учеников которого был Джон Саффилд, дед Толкина. (Прим. авт.)], и при встречах они обнаруживали, что между ними осталось очень мало общего.

11 мая 1926 года Толкин присутствовал на собрании английского факультета в Мертон–Колледже. Среди множества знакомых в глаза бросался новичок: крепко сбитый человек двадцати семи лет в мешковатом костюме. Он только недавно был избран членом колледжа и наставником по английскому языку и литературе в Модлин–Колледже. Это был Клайв Стейплс Льюис, которого друзья обычно звали просто Джек.

Поначалу оба осторожно кружили вокруг друг друга. Толкин знал, что Льюис, хотя и медиевист, принадлежит к лагерю «литов» и, следовательно, является потенциальным противником. Льюис же записал в своем дневнике, что Толкин — «спокойный, бледный, болтливый типчик», и добавил: «Совершенно безобидный, ему бы только встряхнуться малость». Но вскоре Льюис очень привязался к этому человеку с вытянутым лицом и пронзительным взглядом, любившему поболтать, посмеяться и попить пивка, а Толкин поддался обаянию живого ума Льюиса и его щедрой души, столь же широкой, как его бесформенные фланелевые брюки. К маю 1927 года Толкин включил Льюиса в число «Углегрызов», чтобы он мог участвовать в чтении исландских саг, — и так началась их длительная и непростая дружба.

Тому, кто хочет знать, что значили друг для друга Толкин и Льюис, не помешает прочитать главу о дружбе из эссе Льюиса «Любовь» [Перевод на русский язык выпущен Н. Л. Трауберг в 1976 г. В оригинале — «The Four Loves»]. Здесь рассказывается обо всем: о том, как два человека становятся друзьями, обнаружив, что что–то понимают одинаково, о том, что такая дружба не знает ревности, но, напротив, стремится к расширению

круга друзей; о том, что мужчинам такая дружба практически необходима; о том, что нет ничего лучше, чем после дня, проведенного в пешем походе, ввалиться дружеской компанией в трактир. «Что может быть лучше этих посиделок? — пишет Льюис. — Все надели тапочки, вытянули ноги к огню, выпивка под рукой; беседуем — и целый мир открывается нашим умам, а отчасти и то, что за его пределами. Никто ничего друг от друга не требует, никому ничем не обязан; все равны и свободны, точно познакомились час назад, и в то же время нас согревает многолетняя привязанность. У жизни — естественной жизни — нет лучшего дара».

Вот что представляли собой все эти годы дружбы, пешие прогулки, дружеские сборища в комнатах Льюиса по четвергам. Отчасти таков был дух времени: сходные рассуждения о мужской дружбе можно найти в сочинениях Честертона, и это чувство, хотя и менее осознанно, разделяли многие их современники. Примеры такой дружбы встречались уже в древних цивилизациях, а если поискать в менее отдаленную эпоху, то окажется, что отчасти причиной тому послужила Первая мировая. Во время войны так много старых друзей погибло, что выжившие ощущали необходимость держаться поближе друг к другу. Дружба такого рода была явлением весьма примечательным и в то же время совершенно естественным и неизбежным. Она не имела ничего общего с гомосексуальностью (Льюис вполне заслуженно высмеивает подобное предположение), однако женщинам в ней места не находилось. Это великая тайна жизни Толкина, и, если мы попытаемся ее анализировать, мы ничего в ней не поймем. Однако, если нам самим доводилось испытывать нечто подобное, мы отлично знаем, что к чему. Но если даже нам этого не дано, мы можем отчасти видеть подобную дружбу во «Властелине Колец».

Как это началось? Возможно, первоначально точкой соприкосновения стал интерес ко всему «северному». Льюис с детства был захвачен германской мифологией и, обнаружив в Толкине еще одного энтузиаста, зачарованного тайнами «Эдды» и хитросплетениями легенды о Вельсунгах, понял, что им есть чем поделиться друг с другом. Они начали регулярно встречаться в комнатах Льюиса в Модлин–Колледже. Временами они засиживались далеко за полночь, беседуя о богах и великанах Асгарда или обсуждая факультетскую политику. Они также обменивались мнениями о творчестве друг друга. Толкин дал Льюису почитать машинописный текст своей длинной поэмы «Жеста о Берене и Лутиэн». Прочтя ее, Льюис написал Толкину: «Могу сказать совершенно откровенно, что не припомню, когда

мне в последний раз доводилось столь приятно провести вечер. И дело не в том, что мне нравилось читать поэму, написанную моим другом: я получил бы не меньше удовольствия, будь это книга неизвестного автора, случайно купленная в лавке». Льюис послал Толкину подробный критический разбор поэмы, для забавы написанный в форме псевдонаучных статей, в которых воображаемые ученые мужи («Памперникель», «Пибоди» и «Шик») предполагали, что слабые строки в поэме Толкина представляют собой результат ошибок переписчика и никак не могут принадлежать автору первоначального текста. Статьи Толкина позабавили, однако из предложенных Льюисом исправлений он принял лишь немногие. С другой стороны, почти все раскритикованные Льюисом отрывки он переработал, причем переработал настолько, что отредактированную «Жесту о Берене и Лутиэн» едва ли можно назвать той же самой поэмой. Вскоре Льюис обнаружил, что это вообще свойственно его другу. «На критику он реагирует только двумя способами, замечал Льюис. — Либо берется переделывать все заново с самого начала, либо вообще не обращает внимания».

К тому времени — это был конец 1929 года — Льюис поддерживал планы Толкина относительно реформ на английском факультете. Они плели интриги и дискутировали. Льюис заговорщицки писал Толкину: «Позволь тебе напомнить, что за каждым деревом прячутся замаскированные орки». Они вместе искусно провели эту кампанию, и отчасти именно благодаря поддержке Льюиса в совете факультета Толкину удалось в 1931 году протолкнуть свои реформы в программе обучения.

В автобиографии «Настигнут радостью» Льюис писал, что дружба с Толкином «избавила меня от двух старых предрассудков. С самого моего рождения меня предупреждали (не вслух, но подразумевая это как очевидность), что нельзя доверять папистам; с тех пор, как я поступил на английское отделение, мне вполне ясно намекали, что нельзя доверять филологам. Толкин был и тем и другим». Вскоре после того, как Льюису удалось преодолеть второй предрассудок, их дружба перешла в область первого.

Льюис, сын адвоката из Белфаста, воспитан был как истый ольстерский протестант. В отрочестве он исповедовал агностицизм; точнее, он обнаружил, что источником наибольших восторгов является для него не христианство, а языческие мифологии. Однако к описываемому времени Льюис уже начинал понемногу отходить от этой позиции. В середине двадцатых годов, получив степень бакалавра с отличием первого класса на

английском факультете (а ранее — степень бакалавра с отличием первого класса по двум дисциплинам на классическом) и с грехом пополам добывая себе пропитание работой наставника, Льюис пришел к тому, что он назвал своим «новым взглядом»: к вере в то, что христианский «миф» содержит ровно столько истины, сколько в состоянии воспринять большинство людей. К 1926 году Льюис шагнул еще дальше. Он понял: его поиски источника того, что он для себя называл «Радостью», на самом деле были не чем иным, как поисками бога. Вскоре для него сделалось очевидно, что он должен либо принять бога, либо отвергнуть Его. И вот тут–то он и подружился с Толкином.

В Толкине Льюис нашел человека, наделенного и остроумием, и ярким интеллектом, который при этом был убежденным христианином. В первые годы их дружбы Толкин не раз просиживал по многу часов в одном из по–спартански простых кресел Льюиса посреди большой гостиной в его комнатах в новом здании Модлин–Колледжа, в то время как Льюис, сжимая в тяжелом кулаке чубук своей трубки и вздымая брови из–за облака табачного дыма, расхаживал по комнате взад–вперед, то говоря, то слушая, внезапно разворачиваясь на каблуках и восклицая: «Distinguo, Толлерс! Distinguo!» [«Различаю» (лат.)] — когда его собеседник, тоже весь окутанный табачным дымом, делал чересчур радикальное утверждение. Спорить Льюис спорил, но все больше склонялся к мысли, что Толкин прав. К лету 1929 года он уже исповедовал теизм, простейшую веру в бога. Однако христианином еще не был.

Обычно его споры с Толкином происходили утром по понедельникам. Поговорив часок–другой, друзья отправлялись попить пивка в ближайший паб в гостинице «Восточные ворота». Но 19 сентября 1931 года они встретились в субботу вечером. Льюис пригласил Толкина на обед в Модлин–Колледж. За обедом присутствовал и другой гость Льюиса, Хью Дайсон, с которым Толкин впервые познакомился в Эксетер–Колледже в 1919 году. Дайсон теперь преподавал литературу в университете Рединга и часто бывал в Оксфорде. Хью был христианином и к тому же отличался лисьей хитростью. После обеда Льюис, Толкин и Дайсон вышли подышать свежим воздухом. Ночь выдалась ветреная, однако же они не спеша побрели по Эддисонз–Уолк, рассуждая о назначении мифа. Льюис теперь уже верил в бога, однако же никак не понимал, в чем состоит функция Христа в христианстве. Ему не удавалось постичь значения распятия и Воскресения. Льюис говорил друзьям, что ему необходимо вникнуть в смысл этих событий — как писал он позднее в письме, «уразуметь, как и чем жизнь и смерть Кого–то Другого (кто бы ни

был этот другой), жившего две тысячи лет тому назад, могла помочь нам здесь и сейчас — разве что его примером».

Время шло к полуночи, а Толкин и Дайсон убеждали Льюиса, что его притязания совершенно неправомерны. Ведь идея жертвоприношения в языческой религии восхищает и трогает его — и Действительно, идея умирающего и воскресающего бога волновала воображение Льюиса с тех самых пор, как он впервые прочел историю о германском боге Бальдере. А от Евангелий (говорили Толкин с Дайсоном) он почему–то требует большего: однозначного смысла, стоящего за мифом. Жертвоприношение в мифе он принимает как есть, не требуя объяснений — так почему бы не перенести это отношение на истинную историю?

— Но ведь мифы — ложь, пусть даже ложь посеребренная [Рассказ об этом разговоре основан на поэме Толкина «Мифопея», которую он озаглавил также «Мизомифос» и «От Филомифа — Мизомифу». Одна из рукописей поэмы помечена: «Для К. С. Льюиса». (Прим. авт.)], — возражал Льюис.

— Нет, — ответил Толкин, — мифы — не ложь. И, указав на большие деревья в Модлин–Гроув, чьи ветви раскачивались на ветру, привел другой аргумент.

— Ты называешь дерево деревом, — сказал он, — не особенно задумываясь над этим словом. Но ведь оно не было «деревом», пока кто–то не дал ему это имя. Ты называешь звезду звездой и говоришь, что это всего лишь огромный шар материи, движущийся по математически заданной орбите. Но это всего лишь то, как ты ее видишь. Давая вещам названия и описывая их, ты всего лишь выдумываешь собственные термины для этих вещей. Так вот, подобно тому, как речь — это то, что мы выдумали о предметах и идеях, точно так же миф — это то, что мы выдумали об истине.

Мы — от господа, — продолжал Толкин, — и потому, хотя мифы, сотканные нами, неизбежно содержат заблуждения, они в то же время отражают преломленный луч истинного света, извечной истины, пребывающей с господом. Воистину, только благодаря мифотворчеству, только становясь «со–творцом» и выдумывая истории, способен Человек стремиться к состоянию совершенства, которое было ведомо ему до Падения. Наши мифы могут заблуждаться, но тем не менее они, хотя и непрямыми путями, направляются в истинную гавань — в то время как материальный «прогресс» ведет лишь в зияющую пропасть, к Железной Короне силы зла.

Выражая эту веру во внутреннюю истинность мифологии, Толкин предъявил основу своей авторской философии, кредо, на котором держится «Сильмариллион».

Льюис выслушал и Дайсона, который подкреплял слова Толкина собственными рассуждениями. То есть вы хотите сказать, уточнил Льюис, что история Христа — попросту истинный миф, миф, который влияет на нас подобно всем прочим, но в то же время произошел на самом деле! Тогда, сказал он, я начинаю понимать…

Наконец ветер загнал всех троих под крышу, и они проговорили в комнатах Льюиса до трех часов ночи, после чего Толкин отправился домой. Льюис с Дайсоном проводили его по Хай–Стрит, а потом принялись бродить взад–вперед по галерее Нового Здания колледжа. Они разговаривали, пока небо не начало сереть.

Через двенадцать дней Льюис написал своему другу, Артуру Гривзу: «Я только что перешел от веры в бога к более определенной вере в Христа — в христианство. Объяснить постараюсь потом. Очень важную роль в этом сыграл мой длинный ночной разговор с Дайсоном и Толкином».

А тем временем Толкин, проводя письменные экзамены в Экзаминейшн–Скулз, сочинял длинную поэму, куда должно было войти все то, что он говорил Льюису. Поэму он назвал «Мифопея», то есть «творение мифов». А в дневнике он записал: «Дружба с Льюисом искупает многое и, помимо радости и утешения, приносит мне большую пользу от общения с человеком порядочным, отважным, умным — ученым, поэтом и философом — и к тому же теперь, после длительного паломничества, наконец–то любящим господа нашего».

Льюис с Толкином продолжали часто встречаться. Толкин читал Льюису вслух отрывки из «Сильмариллиона», и Льюис уговаривал его побыстрее закончить книгу. Позднее Толкин говорил: «Мой неоплатный долг по отношению к нему состоит не в том, что обычно понимается под словом «влияние», а в том, что он просто подбадривал меня. Долгое время он был моим единственным слушателем. Он единственный подал мне мысль о том, что мои «побасенки» могут стать чем–то большим, чем личное хобби».

Обращение Льюиса в христианство положило начало новому этапу в его отношениях с Толкином. С начала тридцатых годов и впредь оба меньше зависели от общества друг друга и больше стремились к общению с другими людьми. В «Любви» Льюис утверждает, что «дружба двумя не ограничена», и предполагает, что каждый новый человек, добавившийся к компании друзей, выявляет все новые черты в других ее членах. Толкин это знал на примере ЧКБО; а дружеский круг, который начал образовываться теперь, был крайним выражением принципа ЧКБО, той тяги к

образованию «клуба», которую Толкин испытывал еще с тех пор, как был подростком. Этот–то круг и сделался известен под названием «Инклинги».

Клуб «Инклингов» начал формироваться примерно в то же время, когда перестали собираться «Углегрызы» (то есть в начале тридцатых). «Углегрызы» распались потому, что их задача была выполнена: они прочли все основные исландские саги и «Старшую Эдду». А название «Инклинги» [Перевести это название не представляется возможным. Само по себе слово «inkling» означает «намек» — и возможно, что упомянутый киже основатель клуба имел в виду именно это значение. Но Толкин с Льюисом не могли не принимать в расчет сходства этого названия со словом «Инглинги» (т. е. «потомки Инга», королевский род Норвегии), а также созвучного слова «ink» («чернила»), так что слово «Инклинги» можно перевести также и как «чернильные души». В связи с этим мы предпочли оставить название знаменитого клуба непереведенным.] первоначально принадлежало литературному обществу, основанному около 1931 года студентом Юниверсити–Колледжа по имени Тэнджи Лин. Льюис с Толкином оба бывали на собраниях этого общества, где читались и разбирались неопубликованные сочинения. Лин закончил Оксфорд и уехал, а клуб остался — или, точнее, его название, отчасти в шутку, заимствовал кружок друзей, который регулярно собирался у Льюиса.

«Инклинги» теперь вошли в историю литературы, и писали о них немало и по большей части чересчур благоговейно. А между тем это был всего лишь кружок друзей, не более — но и не менее; все — мужчины, все — христиане, и почти все интересовались литературой. Считается, что «членами» этого кружка в то или иное время были очень многие; хотя на самом деле никакой системы «членства» в нем не существовало. Просто в разное время разные люди бывали там более или менее регулярно, в то время как другие заходили лишь от случая к случаю. Ядром кружка неизменно оставался Льюис, без него эти собрания были попросту немыслимы. Список прочих имен вряд ли может дать представление об истинной сути «Инклингов»; но если уж имена так важны, то, помимо Льюиса и Толкина (который тоже присутствовал почти всегда), в число тех, кто бывал на собраниях и до, и после войны, входили майор Уоррен Льюис (старший брат К. С. Льюиса, которого все звали просто Уорни), Р. Э. Хавард (оксфордский врач, у которого лечились Льюис и семейство Толкинов), старинный друг Льюиса Оуэн Барфилд (хотя Барфилд, работавший адвокатом в Лондоне, собрания посещал редко) и Хью Дайсон.

Общество было совершенно неформальным. Не следует думать, что одни и те же люди ходили туда каждую неделю, как на дежурство, а в случае своего отсутствия присылали извинения. Однако же кое–что оставалось неизменным. По рабочим дням обычно все или несколько человек собирались утром в пабе «Орел и дитя» (который между собой называли «Птичка с младенцем»), как правило, по вторникам; хотя во время войны, когда с пивом сделалось туго, а в пабах толпились военнослужащие, им часто приходилось изменять своим обычаям. А вечером по четвергам — в большой гостиной Льюиса в Модлин–Колледже, обычно после девяти вечера. Заваривали чай, раскуривали трубки, после чего Льюис гулко провозглашал: «Ну что, у кого–нибудь найдется что–нибудь почитать?» И кто–нибудь доставал рукопись и принимался читать вслух. Это могло быть стихотворение, рассказ или глава из книги. Потом начинался разбор. Иногда прочитанное хвалили, а иногда и критиковали — это общество создавалось не для взаимного славословия. Иногда потом читали еще что–нибудь, но вскоре принимались бурно спорить или просто болтать обо всем на свете и засиживались так допоздна.

К концу тридцатых годов «Инклинги» сделались важной частью жизни Толкина. Сам он читал, в числе прочего, отрывки из рукописи «Хоббита», тогда еще не опубликованного. В 1939 году, когда разразилась война, в дружеском кругу появился еще один человек. Это был Чарльз Уильямс, который работал в лондонской конторе издательства Оксфордского университета, и его вместе с прочими сотрудниками эвакуировали в Оксфорд. Уильямсу перевалило за пятьдесят, его мысли и творчество — а он был романистом, поэтом, богословом и критиком — пользовались известностью и уважением у читателей, пусть и не столь многочисленных. В частности, его так называемые «духовные триллеры», романы, в которых на самом обыденном фоне разворачиваются события сверхъестественные и мистические, находили себе не очень обширную, но при этом восторженную аудиторию. Льюис познакомился с Уильямсом за некоторое время до того и весьма им восхищался, а Толкин встречался с ним всего раза два. Теперь же он преисполнился к Уильямсу очень смешанных чувств.

Уильямс, с его необычным лицом (полуангел–полумартышка, как выражался Льюис), в синем костюме, столь непривычном для Оксфорда, с сигаретой, свисающей из угла рта, и с пачкой гранок, завернутых в «Тайм энд тайд», под мышкой, отличался немалым природным обаянием. Двадцать лет спустя Толкин вспоминал: «Мы пришлись друг другу по душе и любили поболтать (в основном шутливо)». Но добавлял: «На более глубоком (или

более высоком) уровне нам друг другу сказать было нечего». Отчасти потому, что, в то время как Уильямс с удовольствием слушал главы из «Властелина Колец», которые Толкин читал на собраниях, Толкину книги Уильямса, по крайней мере, те, с которыми он познакомился, не нравились. Толкин говорил, что ему эти книги «абсолютно чужды и иногда очень неприятны, временами же кажутся смехотворными». Возможно, его настороженное отношение к Уильямсу, или к тому месту, которое Уильямс занял среди «Инклингов», шло не только от рассудка. Льюис полагал и писал в «Любви», что настоящие друзья не испытывают ревности, когда к их кругу присоединяется кто–то еще. Но тут Льюис говорил за Льюиса, а не за Толкина. Очевидно, что Толкин слегка ревновал или обижался, и не без причины, потому что теперь прожектор Льюисова энтузиазма неприметно сместился в сторону Уильямса. «Льюис был очень впечатлительным человеком», — писал Толкин много лет спустя, а в другом месте говорил о «мощном влиянии», которое, по его мнению, оказал Уильямс на Льюиса, особенно на третий роман из его «Космической трилогии», «Мерзейшая мощь».

Итак, появление в Оксфорде Уильямса положило начало третьему этапу дружбы Толкина с Льюисом. Толкин несколько охладел к своему другу — впрочем, пока что даже Льюис этого почти не замечал. Возможно, была и другая причина, еще более тонкая: Льюис становился все более известен в качестве христианского апологета. Поскольку Толкин сыграл столь важную роль в обращении своего друга, он всегда сожалел о том, что Льюис не сделался католиком, подобно ему самому, но начал посещать службы в ближайшем англиканском приходе, вернувшись к религии своего детства. Толкин же питал настолько сильную неприязнь к англиканской церкви, что она временами распространялась даже на ее храмы: Толкин утверждал, что ему мешает по достоинству оценить их красоту печальная мысль о том, что все они — с его точки зрения — совращены с пути истинного католицизма. Когда Льюис опубликовал аллегорическую повесть под названием «Возвращение паломника» [«The Pilgrim's Regress»; в русском переводе Н. Трауберг — «Кружной путь, или Блуждания паломника», опубл. по–русски в собр. соч. в 8 т., т. 7], в которой рассказывается история его обращения, Толкин счел это название иронией. «Льюис, конечно же, вернулся, — говорил он. — Он не желает войти в христианство заново, через новую дверь — он возвращается к старой, по крайней мере, в том смысле, что, вновь приняв христианство, он принимает вместе с ним или пробуждает вновь все предрассудки, столь усердно насажденные в нем в

детстве и отрочестве. Он желает вновь сделаться северно–ирландским протестантом».

К середине сороковых годов Льюис сделался весьма популярен («слишком популярен, на его собственный вкус или на чей–либо из наших», — замечал Толкин) благодаря своим христианским работам, «Страдание» и «Письма Баламута». Возможно, Толкин, видя растущую славу своего друга, чувствовал себя учителем, чей ученик внезапно обошел его и добился почти незаслуженного триумфа. Однажды он не слишком–то лестно назвал Льюиса «популистским богословом».

Но если даже все это действительно присутствовало в мыслях Толкина в начале сороковых, внешне это никак не проявлялось. Он по–прежнему был почти безраздельно предан Льюису и, возможно, в глубине души питал надежду, что когда–нибудь его друг все же перейдет в католичество. А круг «Инклингов» по–прежнему радовал и поддерживал его. «Hwaet! We Inclinga, — писал Толкин, подражая начальным стихам «Беовулъфа», — on aerdagum searothancolra snyttru gehierdon» «Се! Во дни былые мы были наслышаны о хитроумных Инклингах — как мужи мудрые восседали вместе и вели беседы, искусно излагали ученость и песенное мастерство и в думы погружались. То была истинная радость!»

Глава 5
НОРТМУР–РОУД

«А что же делали в это время женщины? Откуда мне знать? Я мужчина и никогда не подглядывал за таинствами Доброй Богини», — пишет Льюис в «Любви», говоря об истории мужской дружбы. Таков неизбежный результат жизни, проходящей в чисто мужском обществе и в таких клубах, как «Инклинги»: женщины остаются в стороне.

Эдит Толкин получила весьма скудное образование. В женском пансионе, где она обучалась, основное внимание уделялось музыке, а прочими предметами пренебрегали. Несколько лет она провела в бирмингемских меблированных комнатах, еще несколько — в Челтнеме, в кругу среднего класса, не блиставшем интеллектуальностью, потом она долго жила со своей малообразованной кузиной Дженни… Она не имела возможности ни продолжать учиться, ни развиваться самостоятельно. К тому же она утратила большую часть своей независимости. Она рассчитывала стать учительницей музыки, а возможно, и музыкантом, но эта перспектива как–то незаметно растаяла: сперва потому, что у Эдит не было настоятельной нужды зарабатывать себе на жизнь, а позже — потому, что она вышла замуж за Рональда Толкина. В те времена в нормальных обстоятельствах не могло быть и речи о том, чтобы женщина из среднего класса, выйдя замуж, продолжала работать. Поступить так означало показать всему свету, что ее муж не в состоянии содержать семью. А потому игра на фортепьяно превратилась в обычное хобби, хотя Эдит продолжала музицировать до старости и Рональд любил слушать, как она играет. Он не поощрял ее заниматься какой–либо интеллектуальной деятельностью, отчасти потому, что не видел в этом Необходимости для ее роли жены и матери, отчасти потому, что его отношение к Эдит в период ухаживания (вспомним его любимое ласкательное прозвище «малышка») не имело никаких точек соприкосновения с его собственной интеллектуальной жизнью: ей он показывал совсем другую сторону своей личности, чем своим друзьям. Среди приятелей он хотел быть настоящим мужчиной, а дома он рассчитывал встретить мир, где правит женщина.

Несмотря на это, Эдит вполне могла бы вносить некий ценный вклад в его университетскую жизнь. Некоторым женам оксфордских донов это удавалось. Отдельные счастливицы (такие, как Лиззи, жена Джозефа Райта) были коллегами своих

мужей и помогали им в работе. А многие другие жены, которые, подобно Эдит, университетов не заканчивали, тем не менее превращали свои дома в некое подобие клуба для друзей мужа и таким образом принимали значительное участие в общественной жизни своего супруга.

Увы, для Эдит все обернулось иначе. Она отличалась застенчивостью, поскольку в детстве и в юности ее круг общения был достаточно ограниченным, и в 1918 году, когда Эдит приехала в Оксфорд, увиденное несколько выбило ее из колеи. Они с Рональдом и с малышом (и с кузиной Дженни, которая оставалась с ними вплоть до переезда в Лидс) снимали скромную квартирку в переулке; и с точки зрения Эдит, не знавшей Оксфорда, университет выглядел неприступной крепостью, шеренгой величественных зданий, где расхаживали надменные люди в мантиях и куда каждое утро уходил на работу Рональд. Когда университет снисходил до того, чтобы переступить ее порог, он явл лялся в обличье любезных, но неуклюжих молодых людей, друзей Рональда, которые не умели общаться с женщинами и с которыми ей было не о чем разговаривать, поскольку их миры попросту не пересекались. Иногда к ним заходили супруги донов, такие, как грозная миссис Фарнелл, жена ректора Эксетер–Колледжа, и это было еще хуже: ее даже Рональд боялся. Эти леди лишь подкрепляли уверенность Эдит в том, что университет неприступен в своем величии. Они являлись из своих страшных квартир в колледже или увенчанных башенками дворцов в северном Оксфорде, снисходительно ворковали с маленьким Джоном, лежащим в колыбельке, и, уходя, оставляли на подносике в прихожей визитные карточки (одну — с собственным именем и две — с именем своего мужа), давая понять, что вскоре ожидают ответного визита миссис Толкин. Но Эдит никак не могла решиться. Ну что она скажет этим важным людям, очутившись в их важных домах? О чем ей разговаривать с этими царственными дамами? Все их разговоры были о людях, про которых Эдит даже не слыхивала, о профессорских дочках, титулованных кузинах и прочей оксфордской публике. Рональд нервничал: он знал, что, если его жена не будет соблюдать строгого оксфордского этикета, это сочтут страшным нарушением приличий. Он Убедил Эдит нанести хотя бы один ответный визит — Лиззи Райт, которая, несмотря на всю свою Ученость, была совсем не похожа на большинство профессорских жен и, подобно своему мужу, отличалась открытостью и здравомыслием. Однако и тут Рональду пришлось самому привести Эдит к парадному Райтов и самому позвонить в колокольчик. После этого он поспешно

юркнул за угол. Все прочие визитные карточки так и пылились на подносике, визиты оставались неотданными, и в Оксфорде стало известно, что супруга мистера Толкина в гостях не бывает и, стало быть, ее должно без лишнего шума исключить из круга званых обедов и неофициальных приемов.

Потом Толкины переехали в Лидс, и Эдит обнаружила, что там все иначе. Люди обитали в обыкновенных скромных коттеджах и не имели дурацкой привычки сорить визитными карточками. Через несколько домов по Сент–Маркс–Террас жила жена другого университетского предподавателя, которая часто забегала поболтать. Эдит также то и дело виделась с учениками Рональда, что приходили на уроки или просто на чай, и многие из них ей очень нравились. Некоторые из этих учеников сделались друзьями семьи, поддерживали с ней отношения в течение многих лет и нередко заходили в гости. В университете устраивались неформальные танцевальные вечеринки, доставлявшие Эдит немало удовольствия. Даже дети (а у Толкинов уже были Джон, Майкл, а к концу пребывания в Лидсе появился еще и Кристофер) не оставались в стороне: университет организовывал чудные рождественские праздники, причем сам вице–канцлер переодевался Дедом Морозом. Позднее Рональд смог позволить себе приобрести дом побольше на Дарнли–Роуд, подальше от городского смога и грязи. Они держали горничную и няню для детей. В целом Эдит была счастлива.

Но вдруг пришлось возвращаться в Оксфорд. Первый дом на Нортмур–Роуд Рональд купил, когда Эдит была еще в Лидсе, не посоветовавшись с ней. Эдит решила, что особняк чересчур тесный. Старшие мальчики заразились стригущим лишаем через общую расческу в фотостудии в Лидсе, и их пришлось подвергнуть длительному и дорогостоящему лечению. Когда они поправились настолько, что стало возможным отправить их в Дрэгон–Скул, им поначалу было очень неуютно среди других мальчишек. Потом Эдит снова забеременела. И только когда в 1929 году родилась Присцилла, а в 1930–м семья переехала в соседний дом побольше, Эдит почувствовала, что все вроде бы устроилось.

Но все равно их семейная жизнь уже никогда не достигала того равновесия, что в Лидсе. Эдит стало казаться, что Рональд ее забросил. С чисто формальной точки зрения, он довольно много времени проводил дома: здесь проходили его уроки, и вечерами он отсутствовал нечасто — один–два раза в неделю. Но проблема заключалась в его привязанностях. Рональд по–прежнему оставался внимательным и любящим мужем, очень заботился о ее здоровье (как и она — о его), немало занимался домом. Но Эдит

видела, что одна из сторон его натуры раскрывается только в обществе мужчин своего круга. Точнее, она заметила, что Рональд очень привязан к Джеку Льюису, и ее это раздражало.

Когда Льюис заходил в гости на Нортмур–Роуд, дети были ему рады: он никогда не обращался с ними свысока и приносил им книжки Э. Несбит [Эдит Несбит (1858—1924) — английская детская писательница, автор повестей и сказок, где сосуществуют бок о бок фантастика и реальность], которые они обожали. Однако с Эдит Льюис держался застенчиво и неловко. А потому она не могла понять, чего приятного находит Рональд в его обществе, и немного ревновала. Находились и другие проблемы. В детстве у Эдит.не было нормального дома, и потому она не знала, как следует вести хозяйство. Неудивительно, что она скрывала неуверенность под маской властности и цеплялась к мелочам: требовала, чтобы за стол все садились минута в минуту, чтобы дети съедали все до крошки, чтобы прислуга выполняла свои обязанности без сучка без задоринки. А между тем она нередко чувствовала себя очень одинокой. Когда Рональд отсутствовал или сидел в кабинете, ей часто и поговорить бывало не с кем, кроме детей и слуг. С годами оксфордское общество стало менее чопорным; однако Эдит все равно побаивалась его и почти не общалась с семьями других донов — пожалуй, единственной ее подругой была жена Чарльза Ренна, Агнесса. Кроме того, Эдит страдала головными болями, из–за которых порой сутками не могла встать с постели.

Рональд быстро обнаружил, что Эдит в Оксфорде плохо и что она недолюбливает его друзей. Он понимал, что его потребность в мужской дружбе временами мешает семейной жизни. Но он считал это одним из печальных свойств падшего мира, в целом придерживался мнения, что мужчина должен иметь право на свои, мужские радости, и готов был отстаивать это право. Сыну, задумавшему жениться, он писал: «Есть много вещей, которые мужчина считает своим законным достоянием, несмотря на то что из–за них вспыхивают скандалы. Лгать о них своей жене или возлюбленной нельзя ни в коем случае! Либо отказаться от них, либо, если оно того стоит, — настоять на своем. Такие вопросы могут возникать очень часто: кружка пива или трубка, привычка не отвечать на письма, новый друг, и т. д., и т. п. Если требования противоположной стороны действительно неразумны (а такое бывает, даже между самыми страстными влюбленными или тепло любящими друг друга супругами), лучше сразу прямо сказать «нет» и пойти на скандал, чем действовать втихомолку».

Еще одну проблему представляло собой отношение Эдит к католичеству. Прежде чем они поженились, Рональд убедил ее

оставить англиканскую церковь и стать католичкой; и тогда ее это несколько огорчило. В последующие годы Эдит почти перестала ходить к мессе. На втором десятилетии брака ее нелюбовь к католичеству усилилась, и к 1925 году, когда семья вернулась в Оксфорд, Эдит уже с неодобрением относилась к тому, что Рональд водит в церковь детей. Отчасти ее неприязнь была следствием сурового, почти средневекового требования Рональда исповедоваться как можно чаще; а Эдит всегда терпеть не могла каяться в своих грехах священнику. Кроме того, Толкин не мог обсудить с нею ее чувства рационально, с той же отчетливой сознательностью, какую он проявлял в своих богословских спорах с Льюисом: Эдит он демонстрировал только свою эмоциональную привязанность к религии, а она этого отношения не понимала. Временами ее сдерживаемое отвращение к посещению церкви прорывалось бурными вспышками гнева. Но наконец одна из таких вспышек в 1940 году завершилась настоящим примирением между нею и Рональдом. Эдит объяснила ему свои чувства и даже заявила, что хочет вернуться к исполнению обрядов. В конце концов регулярно ходить в церковь Эдит все же не стала, однако больше до конца жизни не проявляла нелюбви к католицизму, более того, начала живо интересоваться церковными делами, так что даже тем друзьям, которые сами были католиками, казалось, что она сделалась ревностной католичкой.

До определенной степени Рональд с Эдит на Нортмур–Роуд жили каждый своей жизнью. Они спали в разных спальнях, ложились и вставали в разные часы. Толкин работал по ночам, отчасти потому, что днем не хватало времени, но еще и потому, что, пока жена не ляжет спать, спокойно посидеть за письменным столом ему не удавалось. Днем, стоило ему сесть за книги, Эдит просила его сделать что–нибудь по дому или приглашала попить чаю с гостем. Разумеется, эти непрестанные вмешательства на самом деле были не чем иным, как требованием любви и внимания, и Эдит тоже можно понять; но Рональда это частенько раздражало, хотя он и выказывал редкостное терпение. Однако же ошибкой было бы думать, что Эдит не имела совершенно никакого отношения к его работе. Правда, в эти годы Рональд уже не делился с нею своим творчеством так щедро, как в Грейт–Хейвуде; он не поощрял жену принимать участие в своей работе, и из всех его рукописей только самые ранние страницы «Книги утраченных сказаний» переписаны рукой Эдит. Но она, разумеется, разделяла интерес семьи, когда Рональд сочинял «Хоббита» и «Властелина Колец», и, хотя она не очень хорошо знала его книги и не понимала всей их глубины, этой стороны

своей жизни он от нее не скрывал. Эдит была первым человеком, кому Толкин показал две свои короткие повести «Лист работы Ниггля» и «Кузнец из Большого Вуттона»; и одобрение жены всегда подбадривало его и грело ему душу.

У них с Эдит было много общих друзей. Часть из них имели отношение к университету, к примеру, Росфрит Марри (дочь сэра Джеймса Марри, первого редактора «Оксфордского словаря») и ее племянник Роберт Марри, а также бывшие ученицы и коллеги, такие, как Симоннад'Арденн, Элейн Гриффитс, Стелла Миллз и Мари Салю. Все они были друзьями семьи, частью жизни не только Рональда, но и Эдит, и это само по себе связывало супругов. Они с Рональдом не всегда говорили с одними и теми же людьми об одном и том же, и с возрастом это расхождение только увеличивалось, так что Рональд мог преспокойно обсуждать с посетителем происхождение английского топонима, не обращая внимания на то, что Эдит одновременно говорит с этим гостем о внуке, заболевшем корью. Но постоянные визитеры к этому привыкали.

Эти друзья и все остальные, кто знал Рональда и Эдит Толкин в течение многих лет, никогда не сомневались, что супруги очень привязаны друг к другу. Это проявлялось как в мелочах, к примеру, в их взаимной заботе о здоровье друг друга, порой доходящей до абсурда, или в том, как тщательно они отбирали и упаковывали подарки друг другу на день рождения, так и в серьезных вещах, к примеру, в том, что, выйдя на пенсию, Рональд пожертвовал значительной частью своей привычной жизни, чтобы предоставить Эдит возможность провести последние годы в Борнмуте — он чувствовал, что она это заслужила, — или в том, как Эдит гордилась его писательской славой.

Главным источником радости, общим для обоих, была для них любовь к семье. Это связывало их до самой смерти и, возможно, оказалось самой мощной силой в их браке. Они любили обсуждать и разбирать по косточкам все подробности жизни своих детей, а потом и внуков. Они очень гордились тем, что во время Второй мировой Майкл был награжден медалью за службу в зенитных войсках, защищавших аэродромы во время битвы за Англию [Воздушные бои над территорией Великобритании в 1940–1941 гг.]; точно так же гордились они, когда вскоре после войны Джон стал католическим священником. Толкин был очень добрым и понимающим отцом, никогда не стеснялся целовать сыновей прилюдно, даже когда они стали взрослыми, и не скупился на любовь и душевную теплоту.

Читая об этом много лет спустя, мы можем подумать, что

жизнь на Нортмур–Роуд была скучна и лишена каких–либо значительных событий. Но не следует забывать, что семейству Толкин так не казалось. Для них событий было довольно. Взять хотя бы незабываемый случай в 1932 году, когда Толкин купил свою первую машину, «Моррис Каули», которую прозвали «Джо» по первым буквам номера. Научившись водить, Толкин загрузил все семейство в машину и повез в гости к своему брату Хилари в его плодоводческое хозяйство под Ившемом. За время поездки «Джо» два раза проколол шину и снес кусок каменной стены сухой кладки близ Чиппинг–Нортона. В результате Эдит в течение нескольких месяцев отказывалась вновь садиться в машину; и недаром, поскольку водителем Толкин был скорее отважным, нежели искусным. Если ему предстояло пересечь оживленную улицу в Оксфорде, чтобы попасть в переулок, он устремлялся вперед очертя голову, не обращая внимания на все прочие машины. Позднее «Джо» сменился другим «Моррисом», который исправно служил Толкинам до начала Второй мировой, когда из–за дефицита бензина держать машину сделалось невыгодно. К тому времени Толкин осознал, какой ущерб наносят природе двигатели внутреннего сгорания и новые шоссе, и после войны не стал покупать новую машину и никогда больше за руль не садился.

Что еще осталось в памяти детей? Долгие летние часы, в течение которых они под чутким руководством отца ломали асфальт бывшего теннисного корта при доме 20 по Нортмур–Роуд, чтобы расширить огород: их родители очень любили садоводство, хотя отец большую часть практической работы по выращиванию овощей и подрезке деревьев оставлял на долю Джона, сам же занимался в основном розами и газоном, с которого добросовестно выпалывал все сорняки до единого. Первые годы в доме 22 по Нортмур–Роуд, когда одна за другой сменились несколько служанок–исландок, которые рассказывали детям сказки про троллей. Походы в театр, которые, по–видимому, доставляли немалое удовольствие их отцу, хотя сам он утверждал, что драму не одобряет. Поездки на велосипеде к ранней мессе в церковь Святого Алоизия, или Святого Григория на Вудсток–Роуд, или в монастырь кармелитов неподалеку оттуда. Бочонок с пивом в угольном подвале рядом с кухней, который всегда подтекал, и мать жаловалась, что в доме воняет, как в пивоварне. Послеобеденные катания на лодке по реке Черуэлл в июле и августе (до реки было буквально рукой подать), когда все семейство спускалось на большой плоскодонке, нанятой на лето, мимо парков до самого моста Магдалены или, наоборот, поднималось по реке до Уотер–Итона и Айслипа и устраивало

пикник на берегу. Прогулки через поля до Вуд–Итона в поисках бабочек и возвращение вдоль берега, где Майкл прятался в дупле старой ивы, — прогулки, во время которых отец мог бесконечно рассказывать о деревьях и прочих растениях. Летние каникулы у моря, в Лайм–Риджис, куда приезжал из Бирмингема постаревший отец Френсис Морган: он смущал детей своим громким голосом и бурным темпераментом точно так же, как двадцать пять лет тому назад смущал Рональда и Хилари. Поездка всей семьей в Ламорна–Коув в Корнуолле в 1932 году вместе с Чарльзом Ренном и его женой и дочерью, когда Ренн с Толкином плавали наперегонки, не снимая панам и сжимая в зубах дымящиеся трубки. Толкин позднее писал об этой поездке: «Был там примечательный местный персонаж, старик, который бродил там и сям, разнося сплетни, рассуждая о приметах и так далее. Чтобы позабавить мальчиков, я прозвал его Папаша Гэмджи, и это прозвище стало частью семейного фольклора: с тех пор мы называли так подобных чудаковатых старичков. «Гэмджи» изначально появилось из–за удачной аллитерации [По–английски «Папаша Гэмджи» — «Gaffer Gamgee»], но слова этого я не выдумал. На самом деле в те дни, когда я был маленьким, в Бирмингеме так называли хлопчатобумажную ткань». Потом были каникулы в Сидмуте, прогулки в холмах и изумительные скалистые бухты у моря; их отец тогда уже начинал писать «Властелина Колец»; осенью — поездки в деревни к востоку от Оксфорда, в Уормингхолл, Брилл или Чарльтонон–Отмур, или на запад, в Беркшир и на Уайт–Хорс–Хилл, посмотреть на древний курган, известный под названием Вейлендз–Смити, «Кузница Велунда» [Легендарный кузнец германской мифологии]; воспоминания об Оксфорде и окрестных землях и о сказках, которые рассказывал им отец.

Глава 6
СКАЗОЧНИК

Первые сказки появились еще в Лидсе. Джон, старший, часто засыпал с трудом. И вот когда он лежал без сна в своей кроватке, отец приходил, садился рядом и рассказывал ему сказку о Морковке, рыжеволосом мальчишке, который залез в ходики с кукушкой и пережил множество самых удивительных приключений.

Так Толкин обнаружил, что силу воображения, которую он употреблял на создание сложных сюжетов «Сильмариллиона», можно использовать и для чего–нибудь попроще. Толкин отличался добродушно–ребячливым юмором, и, по мере того как сыновья подрастали, это давало себя знать в шумных играх, которые он затевал с детьми, и в историях, которые он рассказывал Майклу, когда того мучили кошмары. В этих историях, сочинявшихся в первые годы на Нортмур–Роуд, речь шла о неукротимом злодее по имени Билл Стикерс — этот плечистый здоровяк всегда умудрялся выйти сухим из воды. Имя бандита было взято из таблички на каких–то воротах: «BILL STICKERS WILL BE PROSECUTED». Из подобного же источника было взято и имя добродетельного человека, который неумолимо преследовал Стикерса, «майор Роуд Эхед» («Major Road Ahead»).

[В обоих случаях — непереводимая игра слов. Первое объявление означает «Расклейка объявлений преследуется по закону»; но если прочесть «BILL STICKERS» как имя собственное, получится «Билл Стикерс предстанет перед судом». «Major Road Ahead» — не что иное, как дорожный знак «Впереди большая дорога», но слово «major» может означать также и «майор», и тогда слова «Road Ahead» становятся именем собственным, вполне подходящим для отважного майора.]

Истории про Билла Стикерса никогда не записывались, зато записывались другие. Летом 1925 года, будучи на каникулах с семьей в Файли, Толкин сочинил для Джона с Майклом длинную сказку. Младший из мальчиков потерял на пляже игрушечную собачку, и, чтобы его утешить, отец принялся придумывать историю о приключениях Ровера, песика, который разозлил волшебника, был превращен в игрушку, а потом мальчик позабыл ее на пляже. Но это было только начало. Собачку нашел песчаный колдун Псамат Псаматид, который снова наделил Ровера способностью двигаться и отправил его в гости на Луну, где Ровер пережил множество самых удивительных приключений, в

частности, повстречался с Белым Драконом. Эту сказку Толкин записал и озаглавил ее «Роверандом». Много лет спустя он попробовал предложить ее своим издателям как один из вариантов продолжения к «Хоббиту», но сказку сочли неподходящей, и больше Толкин ее опубликовать не пытался.

«Роверандома» дети приняли с энтузиазмом, и Толкин решил написать для них что–нибудь еще. Многие из его задумок начинались многообещающе, но большая часть из них так и не была завершена. Некоторые вообще не продвинулись дальше нескольких предложений, к примеру, история о Тимоти Тите, крохотном человечке, которого друзья звали просто «Тим–Тит». Среди прочих сказок, начатых, но не оконченных, была история о Томе Бомбадиле. Действие этой истории происходит «во дни короля Бонгедига», и в первых же строках описывается персонаж, которому явно предстояло стать главным героем сказки. «Одного из старейших обитателей королевства звали Томом Бомбадилом; но, несмотря на свои годы, он был еще крепок и весел. Росту в нем было четыре фута со шляпой, а ширины — целых три. Шляпа у него была высокая, с голубым пером, и куртка у него была голубая, а башмаки — желтые».

Дальше этого история в записанном виде не продвинулась; однако же Том Бомбадил в семье Толкинов был личностью известной, поскольку прототипом его послужила голландская кукла Майкла. Кукла была замечательная, с пером на шляпе, однако Джон ее невзлюбил и в один прекрасный день утопил в уборной. Тома таки спасли, и впоследствии он сделался героем стихотворения, написанного отцом мальчиков, «Приключения Тома Бомбадила». В 1934 году стихотворение напечатали в журнале «Оксфорд мэгэзин». В стихотворении рассказывается о том, как Том встречается с Золотинкой, дочерью Реки, со Старцем Ивой, который поймал его в трещину ствола (Толкин однажды сказал, что, возможно, эта идея отчасти была навеяна рисунками деревьев Артура Ракема [Артур Ракем (1867—1939) — английский художник; прославился своими иллюстрациями к детским книгам, в частности к сборнику сказок братьев Гримм]), с семейством барсуков и с «могильным Умертвием», привидением из доисторического кургана того типа, что встречаются в Беркширских холмах неподалеку от Оксфорда. .Стихотворение само по себе кажется наброском к чему–то более пространному, и в 1937 году, обсуждая с издателями возможные продолжения «Хоббита», Толкин предложил сделать из этого длинную сказку, пояснив, что Том Бомбадил был задуман как «дух природы Оксфорда и Беркшира (ныне исчезающей)». Идея издателям не понравилась, однако Том и его приключения позднее нашли себе

место во «Властелине Колец».

Приобретение в 1932 году автомобиля и злоключения, связанные с вождением, подсказали Толкину сюжет еще одной детской сказки, «Мистер Блисс». Это история о высоком тощем человеке, который жил в высоком узком доме и купил за пять шиллингов ярко–желтую машину, что повлекло за собой весьма любопытные последствия (и немало дорожных происшествий). Толкин переписал сказку красивым почерком и проиллюстрировал ее множеством картинок, нарисованных чернилами и цветными карандашами; все вместе было переплетено в маленькую книжечку. «Мистер Блисс» отчасти обязан Беатрис Поттер своим ироничным юмором, а Эдварду Лиру — стилем рисунков, однако манера Толкина менее гротескна и более изящна, чем у Лира. Эта сказка, наряду с «Роверандомом» и стихами об Бомбадиле, была показана издателям в 1937 году и принята с большим энтузиазмом. Ее стали готовить к публикации — не в качестве продолжения к «Хоббиту», но как «закуску» перед появлением настоящего продолжения. Однако разноцветные иллюстрации означали, что публикация обойдется очень дорого, и издатели попросили Толкина по возможности упростить картинки. Толкин согласился, но так и не нашел для этого времени, и рукопись «Мистера Блисса» отправилась в стол, где и пролежала много лет, пока не была продана американскому университету Маркетта вместе с рукописями опубликованных произведений Толкина.

[«Мистер Блисс» — не единственное произведение Толкина, вдохновленное машинами. «Фрагменты о Бовадиуме», сочиненные, вероятно, в начале шестидесятых, — это притча о разорении Оксфорда (Bovadium — это «Оксфорд», то есть «Бычий брод», по–латыни) «моторами», изготовляемыми «Демоном Вакципратума» (намек на лорда Наффилда и его завод в Каули), которые перекрывают улицы, травят жителей города газом и в конце концов взрываются. (Прим. авт.)]

То, что «Мистер Блисс» столь щедро снабжен иллюстрациями (собственно, текст строится вокруг картинок), показывает, как серьезно Толкин относился к рисованию и живописи. Он на протяжении всей жизни оставался верен своему детскому увлечению. Студентом он сделал иллюстрации к нескольким своим стихотворениям, используя акварель, цветные чернила или карандаши. Уже тогда у него начал развиваться стиль, свидетельствующий о его любви к японским гравюрам и в то же время отличающийся своим особым подходом к линии и цвету. Война, а потом работа вынудили его на время прерваться, но уже около 1925 года Толкин вновь начал регулярно рисовать. Одной

из первых его работ была серия иллюстраций к «Роверандому». Позднее, отдыхая в Лайм–Риджисе в 1927 и 1928 годах, он изобразил несколько сцен из «Сильмариллиона». Эти иллюстрации показывают, насколько отчетливо Толкин представлял себе обстановку, в которой разворачиваются события его произведений: на нескольких из этих рисунков лаймские пейзажи оказываются частью легенд и дышат тайной.

К тому времени Толкин был уже весьма опытным художником, хотя нельзя не отметить, что изображения людей давались ему хуже, чем пейзажи. Лучше же всего выходили у него столь любимые им деревья. Подобно Артуру Ракему (чьим творчеством Толкин всегда восхищался), он умел придать извивающимся корням и сучьям жутковатую живость, и при этом таким образом, что они не переставали выглядеть правдоподобными.

Оба таланта Толкина, рассказчика и иллюстратора, совмещались каждый декабрь. На Рождество его дети получали письма от Деда Мороза. В 1920 году, когда Джону было три года и семья собиралась переезжать в Лидс, Толкин набросал сыну послание дрожащим почерком и подписался: «Любящий тебя Д. Мор.». И с тех пор он на каждое Рождество сочинял по письму. «Письма Деда Мороза» все усложнялись, в них появлялись новые персонажи: Белый Медведь, живущий в доме Деда Мороза; Снеговик, садовник Деда Мороза; эльф по имени Ильберет, секретарь Деда Мороза; снежные эльфы, гномы, а в пещерах под домом Деда Мороза обнаружились зловредные гоблины. Каждое Рождество, иногда в последнюю минуту, Толкин описывал недавние события на Северном полюсе дрожащим почерком Деда Мороза, большими буквами, похожими на руны, от имени Белого Медведя, или летящим почерком Ильберета. Потом рисовал картинки, надписывал на конверте адрес (снабжая пометками вроде «Доставка гномьим курьером. Суперсрочно!»), разрисовывал, вырезал и наклеивал марку с Северного полюса — совсем как настоящую! И наконец, письмо доставлялось по назначению. Способы существовали самые разные. Проще всего, конечно, было оставить письмо в очаге, как будто его бросили в трубу, и произвести странный шум с утра пораньше — все это вместе со следами заснеженных сапог на ковре доказывало, что Дед Мороз побывал в доме собственной персоной. Позднее Толкин взял себе в сообщники местного почтальона, и тот сам приносил письма. Как же дети могли в них не поверить? И они верили до тех пор, пока, достигнув подросткового возраста, случайно не обнаруживали или не догадывались сами, что на самом деле письма писал их отец. Но и тогда они помалкивали,

чтобы не разочаровывать младших.

Помимо отцовских сказок, в распоряжение детей Толкинов было предоставлено множество детских книжек: по большей части те, которые любил в детстве сам Толкин, к примеру, истории про Керди Джорджа Макдональда или книги сказок, собранные и изданные Эндрю Лэнгом. Но были там и новейшие поступления, в том числе «Удивительная страна снергов» Э. Э. Уайк–Смита, опубликованная в 1927 году. Толкин заметил, что его сыновьям ужасно нравятся снерги, «народец, ростом не выше обычного стола, но при этом широкий в плечах и очень–очень сильный».

У самого Толкина хватало времени или желания только на очень ограниченный круг беллетристики. В целом он предпочитал современную развлекательную литературу. Он любил рассказы Джона Бакана [Джон Бакан (1975—1940) — шотландский романист, эссеист и поэт; автор ряда триллеров и сборников рассказов как на исторические, так и на современные темы], читал кое–что из Синклера Льюиса; конечно, знал он и «Бэббита», опубликованный в 1922 году роман, в котором рассказывается об американском бизнесмене средних лет, чья размеренная жизнь мало–помалу выходит из колеи.

Странные ингредиенты попадают порой в плавильный котел писателя. «Страна снергов» и «Бэббит» сыграли свою роль в создании «Хоббита», но очень небольшую. Толкин писал У. Х. Одену, что первая из этих книг «вероятно, послужила неосознанным источником — но только хоббитов, а не чего–либо еще». А в одном интервью он сказал, что слово «хоббит» «возможно, связано с Бэббитом Синклера Льюиса. Уж конечно, не со словом «rabbit» [Кролик (англ.)], как полагают некоторые. Бэббиту свойственно то же буржуазное самодовольство, что и хоббитам. И мирок его столь же замкнут и ограничен».

Происхождение другой сказки, написанной Толкином где–то в тридцатые годы, менее загадочно. Писал он ее, разумеется, и для детей тоже, но в основном для себя. Речь идет о «Фермере Джайлзе из Хэма». «Малое Королевство», где происходит действие сказки, — это, несомненно, Оксфордшир и Бэкингемшир, а сюжет, очевидно, родился из размышлений о происхождении названия Уормингхолл (буквально — «дворец змея» или «драконий дворец»), деревушке в нескольких милях к востоку от Оксфорда. Первый вариант сказки был значительно короче опубликованного, и ее комизм создавался скорее событиями, нежели стилем изложения. Толкин и ее предложил своим издателям в качестве возможного продолжения «Хоббита», и, как и все прочее, сказку одобрили, но сочли, что это не совсем то, что

требуется в данный момент.

Несколько месяцев спустя, в начале 1938 года, Толкину предстояло прочитать студенческому обществу Вустер–Колледжа доклад о волшебных сказках. Но доклад так и не был написан, а время поджимало — и Толкин решил вместо доклада прочитать «Фермера Джайлза». Просмотрев сказку, он решил, что ее можно немного улучшить. Сказка была переписана и сделалась значительно длиннее, а юмор в ней — значительно утонченнее. Спустя несколько дней Толкин выступил с нею в Вустер–Колледже. «Результат меня поразил, вспоминал он позднее. — Аудитория, очевидно, не скучала — напротив, студенты почти непрерывно корчились от смеха». Когда стало очевидно, что продолжение «Хоббита» появится еще весьма не скоро, Толкин предложил издателям переработанного «Фермера Джайлза», и сказка была принята с энтузиазмом. Но из–за неурядиц военного времени, а также из–за того, что Толкин остался недоволен иллюстратором, которого ему предложили сначала, книга вышла только в 1949 году, с иллюстрациями молодой художницы, которую звали Паулина Диана Бэйнс. Ее псевдосредневековые рисунки очень понравились Толкину, и он писал о них: «Это не просто иллюстрации, это побочная тема!» После того как мисс Бэйнс успешно справилась с «Фермером Джайлзом», ей поручили сделать иллюстрации к «Нарнии» К. С. Льюиса. Позднее она проиллюстрировала также антологию стихотворений Толкина и «Кузнеца из Большого Вуттона». Она и ее муж сделались друзьями Толкинов. Поначалу «Фермер Джайлз» не привлек особого внимания публики. Широкую известность повесть приобрела только после успеха «Властелина Колец», когда публика бросилась раскупать и другие книги Толкина. Одно время Толкин подумывал написать к ней продолжение и даже набросал довольно подробный план. Героями новой сказки должны были стать сын Джайлза, Джордж Уорминг, и маленький паж по имени Суэт. Там снова появлялся дракон Хризофилакс, и событиям предстояло разворачиваться в той же самой сельской местности. Однако к 1945 году война изуродовала пейзаж Оксфордшира, столь любимый Толкином, и он написал своим издателям: «Продолжение (к «Фермеру Джайлзу») задумано, но не написано и скорее всего так и останется ненаписанным. Малое Королевство утратило свою душу, и его поля и леса превратились в аэродромы и мишени для бомбометания».

Несмотря на то что короткие сказки, которые Толкин писал для детей в двадцатые–тридцатые годы, временами затрагивают весьма глубокие чувства, тем не менее они не более чем остроумные забавы. На самом деле он был поглощен более

высокими темами, изложенными как в стихах, так и в прозе.

Толкин по–прежнему работал над своей большой поэмой «Жеста о Берене и Лутиэн» и над аллитерационной поэмой о Турине и драконе. В 1926 году он послал эти поэмы и другие стихотворения Р. У. Рейнолдсу, своему преподавателю английской литературы из школы короля Эдуарда, и спросил его мнения. Рейнолдс одобрил короткие стихотворения, а вот к большим мифологическим поэмам отнесся прохладно. Однако Толкина это не смутило. Ободренный похвалами Льюиса в адрес «Берена и Лутиэн», Толкин продолжал трудиться над обоими произведениями. Но несмотря на то что в поэме о Турине насчитывалось уже более двух тысяч стихов, а в поэме о Берене и Лутиэн — более четырех тысяч, ни та ни другая так и не были окончены; а к тому времени, как Толкин взялся перерабатывать «Сильмариллион» (уже после того, как был написан «Властелин Колец»), он, по всей видимости, отказался от мысли включить их в опубликованный текст цикла. Тем не менее обе поэмы сыграли немаловажную роль в развитии легенд, в особенности «Жеста», представляющая собой наиболее полную версию истории Берена и Лутиэн.

Немаловажную роль сыграли эти поэмы также в развитии писательского мастерства Толкина. Двустишиям ранних песен «Жесты» временами свойственна монотонность ритма или банальность рифм; но по мере того, как Толкин овладевал этим размером, стих поэмы становился все увереннее, и в ней немало превосходных отрывков. Поэма о Турине написана аллитерационным стихом, современным аналогом того, что применялся в древнеанглийской поэзии; и Толкин использует его с большим искусством. Вот, к примеру, отрывок, где описывается детство и юность Турина, проведенные в эльфийском королевстве Дориат:

> Мудрость обрел он и познанья тайные,
> Но редко удача ему выпадала;
> То, что творил он, — в прах претворялось,
> К чему он стремился — прочь ускользало.
> И друзей немного было у Турина —
> Мрачен он был и любим лишь немногими.
> Веселым нечасто видели Турина —
> Разлуки печаль его отягчала.
> В преддверии зрелости умело владел он
> Всяким оружьем и песни искусно
> Слагать научился — но веселья в них не было…

[Перевод А. Хромовой.]

Осовременивая этот старинный поэтический стих и адаптируя его для своих нужд, Толкин создавал весьма необычное произведение, временами достигающее исключительной мощи и выразительности. Жаль, что он написал — или, по крайней мере, опубликовал — так мало аллитерационных стихов. Этот стиль соответствовал его творческой манере куда больше, чем современные размеры.

В тридцатые годы Толкин написал еще несколько стихотворений и поэм, причем отнюдь не все они напрямую связаны с его собственной мифологией. Одна из них, навеянная бретонскими легендами, называется «Аотру и Итрун» («Лорд и леди» по–бретонски). Наиболее ранняя рукопись этой поэмы датируется сентябрем 1930 года. В поэме рассказывается история бездетного лорда, который получает от колдуньи, или «Корриган» (бретонское слово, обозначающее любое сверхъестественное существо), волшебный напиток. Благодаря зелью у жены лорда рождаются близнецы, однако Корриган требует, чтобы лорд в уплату женился на ней. Он отказывается, и это влечет за собой трагические последствия. «Аотру и Итрун» была опубликована несколько лет спустя другом и коллегой Толкина, Гуином Джоунзом, в «Уэлш ревью». Поэма написана аллитерационным стихом с рифмовкой.

Еще одна важная поэма этого периода написана нерифмованным аллитерационным стихом. Она называется «Гибель Артура». Это был единственный случай, когда Толкин обратился к артуровскому циклу. Легенды о короле Артуре нравились ему с детства, но он считал их «чересчур пышными, чересчур фантастическими, бессвязными и изобилующими повторами». К тому же артуровские истории не устраивали его как миф: в них слишком открыто говорилось о христианстве. В своей артуровской поэме Толкин не стал затрагивать тему Грааля, а начал писать собственное переложение «Смерти Артура». Король с Гавейном отправляются на войну в «Саксонские земли», но их заставляет вернуться домой весть о предательстве Мордреда. Поэма так и не была окончена, но Э. В. Гордон и Р. У. Чеймберз, профессор английского языка в Лондонском университете, прочли и одобрили ее. Профессор Чеймберз отозвался о ней так: «Отличная штуковина, по–настоящему героическая, плюс ценна уже тем, что показывает, как можно использовать стих «Беовульфа» в современной английской поэзии». Интересно также отметить, что эта поэма — одно из немногих произведений Толкина, где открыто говорится о

сексуальном влечении: там описывается неутолимая похоть, какую Мордред испытывает к Гвиневере:

> Метался он на ложе; мрачные мороки
> Желанья страстного, яростной похоти
> В душе бродили до бледного утра.

[Перевод А. Хромовой.]

Однако толкиновская Гвиневера — не та трагическая героиня, которую предпочитает изображать большинство авторов, пишущих об Артуре; напротив, она описана как

> дама безжалостная,
> Дивная, как фея, с душой беспощадной,
> В мир пришедшая мужам на погибель.

[Перевод А. Хромовой.]

«Гибель Артура» была оставлена в середине тридцатых годов; еще в 1955 году Толкин писал, что надеется когда–нибудь ее завершить, но в конце концов поэма так и осталась неоконченной.

Пару раз Толкин пробовал отойти от мифов, легенд и фантазии и написать традиционный рассказ для взрослых, действие которого развивалось бы в современном мире. Результаты были невпечатляющие: очевидно, для того, чтобы реализовать свой потенциал, воображение Толкина нуждалось в мифах и легендах. И действительно, по большей части его мысли все еще были заняты «Сильмариллионом». Он вносил многочисленные исправления и изменения в основные повествования цикла. Толкин решил отказаться от первоначального морестранника Эриола, которому рассказывались все эти истории, и переименовать его в «Эльфвине», что значит «друг эльфов». Много времени (быть может, больше, чем на сами повествования) уходило у него на разработку эльфийских языков и систем письменности; он теперь изобрел новый алфавит, который сперва называл «квеньятическим», а затем «Феаноровым». После 1926 года Толкин писал дневник именно этим алфавитом. Немало внимания он уделял также географии и Другим вспомогательным темам.

В результате всех этих трудов к концу тридцатых годов «Сильмариллион» превратился в большое количество рукописей,

немалая часть которых переписана великолепным почерком. Однако пока что Толкин не предпринимал попыток опубликовать хоть что–нибудь. Да и о самом существовании этих текстов знали лишь немногие. Кроме семьи Толкинов, в тайну .был посвящен только К. С. Льюис. А в семье наиболее частым слушателем был третий сын Толкина, Кристофер. Толкин писал в своем дневнике, что мальчик вырос в «нервозную, раздражительную, строптивую, нахальную личность, склонную к самоистязаниям; однако же есть в нем нечто бесконечно обаятельное, по крайней мере, с моей точки зрения, именно благодаря тому, что мы так похожи». В начале тридцатых Кристофер немало часов провел в отцовском кабинете, прижавшись к теплой печке, и, замерев, слушал, как отец рассказывает — именно рассказывает, а не читает — о том, как эльфы воевали с темной силой, как Берен и Лутиэн наперекор опасности пробирались в самое сердце железной твердыни Моргота. Это были не просто истории: легенды оживали в устах отца, яркие повествования о мрачном мире, где на дорогах подстерегают отвратительные орки и мрачный Некромант и жуткий красноглазый волк одного за другим разрывает на куски эльфов, спутников Берена; однако были в этом мире и три великих эльфийских самоцвета, Сильмарилли, сияющие чудным и могущественным светом, и в этом мире опасный поход, паче всякого чаяния, мог завершиться победой.

Возможно, именно особое отношение Толкина к третьему сыну стало одной из причин, побудивших его взяться за новую книгу. Официально же она обязана своим рождением Льюису, который, по словам Толкина, однажды сказал ему: «Толлерс, на свете слишком мало историй, которые нам по вкусу. Боюсь, придется взяться и написать что–нибудь самим». «Мы договорились, — пишет Толкин, — что он попытается написать о «путешествии в пространстве», а я — о «путешествии во времени». Они решили также, что обе истории должны вести к открытию Мифа.

Льюис написал «За пределы безмолвной планеты», ставшую первой книгой «трилогии про Рэнсома». [Эту и последующие книги трилогии Льюис в процессе работы над ними читал в клубе «Инклингов». Толкин почти целиком одобрил первые два романа (хотя имена и названия Льюиса ему не всегда нравились). Отчасти именно благодаря поддержке Толкина «За пределы безмолвной планеты», отвергнутая двумя издательствами, была принята издательством «Бодли хед» и в 1938 году вышла в свет. «Переландра» понравилась ему даже больше, чем первый роман, но, когда Льюис начал читать «Инклингам» «Мерзейшую мощь», Толкин записал в дневнике: «Боюсь, это дешевый ширпотреб», и

более близкое знакомство с книгой не заставило его переменить мнение. Он полагал, что ее испортила артуровско–византийская мифология Чарльза Уильямса.

Толкин признавал, что филолог Рэнсом, главный герой романов Льюиса, возможно, отчасти был списан с него самого. В 1944 году он писал своему сыну Кристоферу: «Пожалуй, в нем есть нечто от меня как от филолога; кроме того, я узнаю в нем некоторые свои мнения и идеи, изрядно, впрочем, «льюисизированные».]

Толкин же, отвечая на вызов, взялся за роман под названием «Утраченный путь», в котором два путешественника во времени, отец и сын, открывают для себя мифологию «Сильмариллиона», возвращаясь в древний Нуменор.

Толкиновская легенда о Нуменоре, огромном острове на Западе, дарованном людям, которые помогали эльфам в войнах с Морготом, была создана, вероятно, за некоторое время до того, как он начал писать «Утраченный путь», в конце двадцатых — начале тридцатых. Одним из источников этой легенды был кошмар, преследовавший Толкина с детства, «синдром Атлантиды», как он это называл, «жуткий сон о Волне, от которой нет спасения, встающей посреди безмятежного моря или нависающей над зеленой равниной». Когда Саурону (наместнику Моргота, который уже появлялся в длинной поэме о Берене и Лутиэн) удается убедить жителей Нуменора нарушить божественную заповедь и отправиться на Запад, к запретным землям, разыгрывается великая буря, на Нуменор обрушивается огромная волна и весь остров исчезает в бездне. Атлантида тонет.

История о Нуменоре сочетает платоновскую легенду об Атлантиде с красочными образами «Сильмариллиона». В конце ее Толкин рассказывает о том, как вместе с низвержением Нуменора переменился облик мира, так что Западные земли «навеки отторжены от кругов мира». Сам мир искривился, но Прямой Путь на Древний Запад все еще существует — для тех, кто способен его найти. Это и есть тот самый «Утраченный путь», давший название новому роману.

Сам «Утраченный путь» (в противоположность преданию о Нуменоре, для которого он должен был служить введением), очевидно, представляет собой нечто вроде идеализированной автобиографии. Главные герои — отец и сын. Отец, профессор истории по имени Альбойн (ломбардская форма имени «Эльфвине»), создает языки — или, скорее, обнаруживает, что ему откуда–то извне передаются слова, слова, кажущиеся обрывками древних, забытых языков. Многие из этих слов связаны с низвержением Нуменора. История не окончена и обрывается на

том месте, когда Альбойн с сыном отправляются в путешествие во времени в сам Нуменор. Описание отношений отца и сына довольно слащавое: похоже, это именно то, чего хотелось бы самому Толкину. Примечательно также, что ни Альбойн, ни его собственный отец, появляющийся в начале романа, не обременены женами: оба овдовели в молодости. Эти первые главы, по всей вероятности, тоже были прочитаны в клубе «Инклингов»; во всяком случае, Льюис–то уж точно слышал легенду о Нуменоре, поскольку упоминает о ней в «Мерзейшей мощи», только по ошибке пишет «Нуминор». Льюис, кстати, позаимствовал у Толкина еще несколько имен: так, имя героя его романов, Рэнсома, Элвин — вариант имени Эльфвине, а «Адама и Еву» в «Переландре» зовут Тор и Тинидриль, и сам Толкин полагал, что это «явный отзвук» Туора и Идрили из «Падения Гондолина».

«Утраченный путь» был оставлен («из–за моей медлительности и неуверенности», говорил Толкин) вскоре после того, как путешественники во времени попали в Нуменор. Однако Толкин еще раз вернулся к теме путешествия во времени как обрамления для легенды о Нуменоре в конце 1945 года, когда взялся писать «Записки клуба «Мнение». Действие происходит в среде «Инклингов» (разве что самую малость закамуфлированных), и на этот раз в странствия во времени отправляются два оксфордских дона, члены неформального литературного клуба, давшего название произведению. Но этот роман, как и предыдущий, обрывается в конце вводного повествования, причем само путешествие во времени описано более чем поверхностно. «Записки клуба «Мнение» неплохо передают Дух «Инклингов», хотя Толкин едва ли пытался создать портреты своих друзей. Однако один кусок из романа все же был напечатан: это стихотворение о плавании святого Брендана, средневековую легенду о котором Толкин подогнал под свою мифологию. Поэма появилась в «Тайм энд тайд» в 1955 году под названием «Имрам» («плавание» по–гэльски). Но сама по себе она довольно невыразительна — всего лишь одинокий памятник многообещающему, но неоконченному произведению.

Подводя итоги, можно сказать, что в двадцатые–тридцатые годы воображение Толкина работало в двух направлениях, которые между собой не пересекались. С одной стороны — сказки, написанные только для забавы, часто — специально для детей. С другой — более торжественные темы, иногда артуровские или кельтские, но обычно связанные с собственными легендами Толкина Между тем в печать ничего не попадало, если не считать нескольких стихотворений в «Оксфорд мэгэзин», из

которых коллеги Толкина сделали вывод, что профессор забавляется драконьими кладами и смешными человечками с дурацкими именами вроде «Тома Бомбадила». Все это, с их точки зрения, было обычным хобби, совершенно безобидным, хотя и несколько ребячливым.

Чего–то еще не хватало — чего–то, что должно было связать две стороны его воображения и породить историю, одновременно героическую, мифическую и в то же время не чуждую воображению простого читателя. Сам Толкин, конечно, об этом не задумывался; и, когда недостающее звено внезапно встало на место, он не счел это каким–то особо выдающимся событием.

Было лето, и Толкин сидел у окна в своем кабинете на Нортмур–Роуд, прилежно вычитывая экзаменационные работы на аттестат зрелости. Много лет спустя он вспоминал: «Мне повезло: один из экзаменующихся великодушно оставил последний лист чистым (а это лучший подарок экзаменатору). И я написал на нем: «В норе на склоне холма жил да был хоббит». У меня из имен всегда вырастают истории. Я подумал и решил, что стоит выяснить, кто же такие хоббиты. Но это было только начало».

Часть 5
1925–1949 (II): ТРЕТЬЯ ЭПОХА

Глава 1
ЯВЛЕНИЕ МИСТЕРА БЭГГИНСА

[Хоббитские фамилии и названия в разных переводах «Властелина Колец» переводятся по–разному. В частности, «Baggins» переводится как «Торбинс», «Сумникс», «Беббинс» и т. д. Но поскольку в данной книге немало говорится об английских корнях хоббитских имен и названий (и, в частности, о происхождении названия «Бэг–Энд», см. ниже), мы предпочли оставить эту и прочие фамилии непереведенными.]

Хотя на самом–то деле это недостающее звено было при нем с самого начала. А именно — саффилдовская сторона натуры Толкина.

Еще с тех пор как Толкин был студентом, природа его научной деятельности определялась глубоким ощущением, что его настоящий дом — это западный Мидленд, сердце сельской Англии. Те же самые мотивы, что побуждали Толкина изучать «Беовульфа», «Гавейна» и «Ancrene Wisse», заставили его теперь создать персонажа, воплощавшего в себе все, что было дорого его сердцу в западном Мидленде: хоббита мистера Бильбо Бэггинса.

Мы уже видели, что, если поискать, можно найти что–то вроде прототипов этого персонажа: снерги, имя Бэббит, а также Том Бомбадил в четыре фута ростом и крошечный Тимоти Тит из собственных сказок Толкина. Но все это нам почти ничего не даст. Куда полезнее будет обратиться к личности автора. Бильбо Бэггинс, сын энергичной Белладонны Тук, одной из трех достойных дочерей Старого Тука, по отцовской же линии происходящий от респектабельных и солидных Бэггинсов, средних лет, благоразумен, одевается скромно, однако же любит яркие цвета, предпочитает простую пищу; однако есть в нем нечто необычное, и оно дает о себе знать, когда начинаются приключения. Джон Рональд Руэл Толкин, сын предприимчивой Мэйбл Саффилд, одной из трех достойных дочерей старого Джона Саффилда (немного не дотянувшего до ста лет), по отцовской же линии происходивший от респектабельных и солидных Толкинов, средних лет, был склонен к пессимизму, одевался скромно, но любил носить яркие жилеты, когда мог себе это позволить, и предпочитал простую пищу. Однако было в нем нечто необычное, и оно уже дало о себе знать, ибо он создал мифологию, а теперь вот взялся за новую сказку.

Сам Толкин прекрасно сознавал это сходство между созданием и создателем. «Я на самом деле хоббит, — писал он

однажды, — хоббит во всем, кроме роста. Я люблю сады, деревья и немеханизированные фермы; курю трубку и предпочитаю хорошую простую пищу (не из морозилки!), а французских изысков не перевариваю; люблю и даже осмеливаюсь носить в наше унылое время узорчатые жилеты. Обожаю грибы (прямо из леса); юмор у меня простоватый, и даже самые доброжелательные критики находят его утомительным; я поздно ложусь и поздно встаю (по возможности). Путешествую я тоже нечасто». И, словно бы затем, чтобы подчеркнуть параллель с самим собой, Толкин избрал для дома хоббита название «Бэг–Энд» — имя, которое местные жители дали ферме его тети Джейн в Вустершире. Вустершир, графство, откуда происходило семейство Саффилдов и где теперь занимался сельским хозяйством его брат Хилари, — это именно тот самый Шир (из всех западномидлендских «широв», графств), откуда родом хоббиты. Толкин писал о нем: «В любом уголке этого графства, будь он прекрасным или запущенным, я неким неуловимым образом чувствую себя «дома», как нигде в мире». Однако же саму деревеньку Хоббитон, с ее рекой и мельницей, следует искать не в Вустершире, но в Уорикшире. Ныне она почти затерялась среди красно–кирпичных домов бирмингемской окраины, однако же и теперь можно в ней признать Сэрхоул, где Рональд Толкин провел четыре года, оказавших решающее влияние на формирование его личности.

Хоббиты обязаны своим происхождением не только личным воспоминаниям. В одном интервью Толкин сказал: «Хоббиты — это просто английские крестьяне. Они изображены малорослыми, потому что это отражает свойственную им, по большей части, скудость воображения — но отнюдь не недостаток мужества и внутренней силы». Иначе говоря, хоббиты представляют сочетание скудости воображения с немалой отвагой, которая (как Толкин убедился в окопах Первой мировой) зачастую помогает выжить вопреки всему. «Меня всегда впечатляло то, — сказал он однажды, — что все мы живы и существуем благодаря неукротимой отваге, проявляемой самыми что ни на есть маленькими людьми в, казалось бы, безнадежных обстоятельствах».

В определенном смысле неправильно было бы говорить о хоббитах как о «недостающем звене», которого не хватало для того, чтобы две стороны творчества Толкина на протяжении двадцатых–тридцатых годов могли наконец встретиться и слиться воедино; по крайней мере, с хронологической точки зрения это неправильно, потому что Толкин, по всей вероятности, принялся писать «Хоббита» примерно в середине этого периода. Точнее было бы сказать, что лишь после того, как эта книга была

закончена и издана — а еще точнее, лишь после того, как Толкин взялся за продолжение, — он осознал все значение хоббитов и понял, что им предстоит сыграть ключевую роль в его мифологии. «Хоббит» сам по себе задумывался всего лишь как еще одна забавная сказочка. Более того, он едва не разделил участь многих иных и не остался неоконченным.

Почему Толкин начал писать «Хоббита» — довольно очевидно, но когда именно он начал его писать — сказать невозможно. В рукописи никаких указаний на дату не имеется, а сам Толкин так и не вспомнил, когда же он приступил к книге. Один раз он сказал: «Я не уверен, но думаю, что «Нежданная вечеринка» (первая глава) была набросана раньше 1935 года, но совершенно точно после 1930 года, когда я переехал в дом 20 по Нортмур–Роуд». В другом месте он писал: «На пустом листе я нацарапал: «В земле была нора, а в норе жил да был хоббит». Почему — я не знал и до сих пор не знаю. В течение долгого времени я с этим ничего не делал и за несколько лет не пошел дальше того, что начертил карту Трора. А в начале тридцатых годов это превратилось в «Хоббита». Это воспоминание о том, что между идеей как таковой и сочинением самой сказки имелся разрыв, подкрепляется заметкой, которую Толкин нацарапал на уцелевшей странице первоначального варианта главы I: «Единственная страница небрежного чернового варианта «Хоббита», который так и не пошел дальше первой главы». В 1937 году, вскоре после выхода книги, Кристофер Толкин вспоминал (в письме к Деду Морозу): «Папа написал ее сто лет тому назад и читал ее нам с Джоном и Майклом во время наших зимних «чтений», по вечерам после чая. Но последние главы были лишь в набросках и даже не напечатаны на машинке. Закончил он ее около года тому назад». А в письме своим издателям в том же году Толкин говорит: «Мой старший мальчик прослушал этот сериал в тринадцать лет. Младшим было неинтересно; они дорастали до него по очереди».

Все эти утверждения приводят к выводу, что книга была начата в 1930–м или 1931 году (когда Джону, старшему, исполнилось тринадцать); к концу 1932 года, когда ее показали Льюису, уже совершенно точно существовал готовый машинописный текст (в котором не хватало только последних глав). Однако Джон и Майкл Толкины считают, что это не все: они отчетливо помнят, что какие–то куски этой истории они слышали еще в кабинете дома 22 по Нортмур–Роуд, то есть до 1930 года. Они не уверены, что отец читал им именно написанный текст, — это вполне могли быть какие–то импровизированные истории, которые потом вошли в «Хоббита».

Судя по рукописи «Хоббита», основная часть сказки была написана за сравнительно короткий промежуток времени: чернила, бумага и почерк везде одни и те же, страницы последовательно пронумерованы, и деления на главы почти не наблюдается. К тому же, похоже, Толкин писал бегло, почти не колеблясь, потому что в тексте очень мало зачеркиваний и исправлений. Дракона первоначально звали Прифтан, Гэндальфом звали главного гнома, волшебник же носил имя Бладортин. Имя дракона вскоре было изменено на Смауг, от германского глагола «smugan», означающего «протискиваться в нору»; Толкин назвал это «дешевой филологической шуточкой». Однако имя Бладортин в течение некоторого времени сохранялось, и повествование продвинулось уже достаточно далеко, прежде чем главного гнома стали звать «Торином Дубощитом», а имя Гэндальф (взятое, как и все гномьи имена, из «Старшей Эдды») перешло к волшебнику. Оно ему очень подходило, поскольку по–исландски это слово означает «эльф с волшебным посохом»; отсюда — «волшебник».

Итак, история была начата просто так, для забавы. И конечно, поначалу Толкин не собирался каким бы то ни было образом объединять уютный буржуазный мирок Бильбо Бэггинса с грандиозным мифологическим ландшафтом «Сильмариллиона». Однако постепенно в сказку начинают просачиваться фрагменты его мифологии. Уже само по себе появление гномов предполагает связь, поскольку гномы, «dwarves» [Именно «dwarves», а не «dwarfs», как того требует современное написание данного слова], — уже присутствовали в более ранних работах; а когда в первой главе «Хоббита» волшебник упоминает «Некроманта», возникает отсылка к легенде о Берене и Лутиэн. Вскоре сделалось очевидно, что Бильбо Бэггинс и его спутники путешествуют по краешку того самого Средиземья, ранняя история которого описана в «Сильмариллионе». По словам Толкина, это был «мир, в который случайно забрел мистер Бэггинс». А поскольку события этой новой истории явно имели место много позднее событий «Сильмариллиона», а в более ранних хрониках излагалась история Первой и Второй эпох Средиземья, то, по всей видимости, «Хоббит» относился к Третьей эпохе.

«Такие истории… прорастают подобно семечку в темноте из лиственного перегноя, накопившегося в уме», — говорил Толкин. Мы еще можем различить очертания кое–каких отдельных листьев: поход в Альпы в 1911 году, злые гоблины из книг о Керди Джорджа Макдональда, эпизод из «Беовульфа», в котором у спящего дракона похищают чашу. Но суть толкиновской метафоры состоит не в этом. Много ли можно узнать, копаясь в

компостной куче, в поисках остатков растений, которые были в нее свалены? Куда интереснее посмотреть, какой эффект компост произвел на новые растения, которые им удобрили! А в «Хоббите» на этом «перегное» взошла пышная поросль, с которой могут сравниться лишь немногие детские книги.

Потому что «Хоббит» — именно детская книга. Несмотря на то что сказка оказалась втянута в его мифологию, Толкин не допустил, чтобы она сделалась чересчур серьезной или даже просто слишком взрослой по тону. Он твердо придерживался своего первоначального намерения: позабавить своих и, возможно, чьих–нибудь еще детей. На самом деле в первоначальном варианте он делал это иногда чересчур сознательно и нарочито. Там много отступлений, обращенных к юным читателям, замечаний вроде «Ну, теперь вы знаете достаточно, чтобы читать дальше» или «Как мы увидим под конец». Позднее он убрал большую часть из них, но некоторые остались и в опубликованном тексте — к вящему сожалению автора, потому что со временем Толкин невзлюбил подобные обращения и даже полагал, что намеренно подстраиваться к детскому уровню в сказке недопустимо. «Не говорите мне о детях! — писал он однажды. — Меня не интересует «ребенок» как таковой, современный или какой–то еще, и, уж конечно, я не собираюсь идти ему навстречу — ни полдороги, ни даже четверть дороги. И вообще это ошибочный подход. Это либо бесполезно (если ребенок глуп), либо вредно (если он одарен)». Но в то время, когда Толкин писал «Хоббита», он все еще разделял то, что позднее сам называл «современными заблуждениями насчет «волшебных сказок» и детей» — заблуждениями, от которых он вскоре сознательно отрекся.

Сказка писалась легко вплоть до того места ближе к концу, где дракону Смаугу вот–вот предстоит быть убитым. Тут Толкин засомневался и принялся составлять план дальнейшего повествования в виде черновых заметок. Во время работы над «Властелином Колец» он делал так часто, а вот с «Хоббитом» — нет. Судя по этим заметкам, предполагалось, что Бильбо Бэггинс проберется в драконье логово и заколет дракона. «Бильбо вонзает свой волшебный кинжальчик. Дракон мечется. Разрушает стены и вход в тоннель». Но этот вариант не очень–то соответствовал характеру хоббита, да и смерть Смауга в этом случае представлялась недостаточно впечатляющей, и потому он был отвергнут в пользу окончательной версии, в которой Смауг убит лучником Бардом. И потом, вскоре после того, как была описана гибель дракона, Толкин забросил сказку.

Или, точнее, он перестал ее записывать. Для детей он

придумал на ходу какой–то финал, но, как выразился Кристофер Толкин, «последние главы были лишь в набросках и даже не напечатаны на машинке». Более того, они даже и написаны–то не были. Машинописный текст почти оконченной сказки, перепечатанный на «Хаммонде» аккуратным мелким шрифтом, со стихами, набранными курсивом, Толкин время от времени показывал избранным друзьям, вместе с картами (и, возможно, тогда уже существовавшими несколькими иллюстрациями). Однако же по большей части сказка почти не покидала стен кабинета Толкина. Конца недоставало; и, судя по всему, ей так и суждено было прозябать незавершенной. Мальчики подросли и уже больше не требовали устраивать «зимние чтения», так что доделывать «Хоббита» было ни к чему.

Одной из немногих людей, которые видели машинописный текст «Хоббита», была аспирантка по имени Элейн Гриффитс, бывшая ученица Толкина, ставшая другом семьи. По рекомендации Толкина лондонское издательство «Джордж Аллен энд Анвин» наняло ее, чтобы редактировать перевод «Беовульфа» Кларка Холла, популярный у студентов подстрочник. И вот однажды в 1936 году, вскоре после того, как Толкин забросил работу над «Хоббитом», одна из сотрудниц «Аллен энд Анвин» приехала в Оксфорд к Элейн Гриффитс, чтобы обсудить с нею подробности проекта. Это была Сьюзен Дагналл, которая изучала английский в Оксфорде одновременно с Элейн Гриффитс и вообще была ее хорошей знакомой. От Элейн она узнала о существовании неоконченной, но весьма любопытной детской сказки, принадлежащей перу профессора Толкина. Элейн Гриффитс предложила Сьюзен Дагналл самой сходить на Нортмур–Роуд и попытаться раздобыть рукопись. Сьюзен Дагналл сходила, поговорила с Толкином, попросила рукопись — и получила ее. Она взяла ее с собой в Лондон, прочла и решила, что книгу стоит, как минимум, показать в издательстве. Но сказка обрывалась вскоре после гибели дракона. Сьюзен Дагналл отправила рукопись обратно Толкину с просьбой закончить книгу, и как можно скорее, чтобы ее можно было подготовить к публикации на следующий год.

Толкин сел за работу. 10 августа 1936 года он написал: «Хоббит» почти окончен, и издательство его требует». Он подрядил своего сына Майкла, который сильно порезал правую руку о разбитое окно в школе, помогать печатать, пользуясь левой рукой. Работа была завершена к первой неделе октября, и машинописный текст, озаглавленный «Хоббит, или Туда и обратно», отослали в офис издательства «Аллен энд Анвин», расположенный неподалеку от Британского музея.

Директор издательства, Стэнли Анвин, полагал, что лучше всего судить о детских книгах могут дети, и потому передал «Хоббита» своему десятилетнему сыну Рейнеру. Рейнер книгу прочел и написал такую рецензию:

«Бильбо Бэггинс был хоббит, который жил в своей хоббичей норе и не в каких приключениях не учавствовал, но наконец волшебник Гэндалъф и его гномы убедили Бильбо поучавствовать. Он очень здорово провел время сражаясь с гоблинами и варгами. Наконец они добрались до одинокой горы. Смауга дракона который ее караулил убили и после страшной битвы с гоблинами Бильбо вернулся домой — богатым! Эта книга с помощью карт не нуждается в илюстрациях она хорошая и понравицца всем детям от 5 до 9».

Мальчик получил свой честно заработанный шиллинг, и книгу приняли к публикации.

Несмотря на то что писал Рейнер Анвин, было решено, что иллюстрации «Хоббиту» все же не помешают. Толкин весьма скромно относился к своему художническому дарованию, и когда он по просьбе издателей прислал им несколько своих рисунков к сказке, то заметил: «Мне кажется, эти картинки в основном доказывают, что рисовать автор не умеет». Однако в «Аллен энд Анвин» не согласились и с радостью приняли восемь черно–белых иллюстраций.

Хотя Толкин имел некоторое представление о том, как печатаются книги, он был немало изумлен тем, с каким множеством трудностей и разочарований пришлось столкнуться в следующие месяцы; надо сказать, что махинации, а иногда и откровенная некомпетентность издателей и печатников продолжали изумлять его до конца жизни. Карты к «Хоббиту» пришлось чертить заново: прежние оказались слишком многоцветными. Но и тогда его первоначальный замысел поместить большую карту на форзац, а карту Трора включить в текст первой главы не был исполнен. Издательство решило вставить обе карты в конец книги; и от идеи Толкина сделать «невидимые буквы», которые будут видны, только если поднести карту Трора к свету, тоже пришлось отказаться. Пришлось также провести уйму времени за вычиткой корректуры — впрочем, тут уж он сам был виноват. В феврале 1937–го, когда на Нортмур–Роуд пришли гранки, Толкин решил, что необходимо внести существенные изменения в отдельные части книги, поскольку он, вопреки своему обычаю, отправил рукопись, не вычитав ее с обычной тщательностью, и теперь многие места его совершенно не устраивали. Особенно ему не нравились многочисленные снисходительные обращения к юным читателям. К тому же

Толкин обнаружил множество несоответствий в описаниях местности. Этих Деталей не заметил бы никто, кроме разве что самых въедливых и придирчивых читателей, но Толкин, с его страстью к совершенству, такого стерпеть не мог. За несколько дней он буквально испещрил гранки многочисленными исправлениями. Беспокоясь о том, чтобы печатникам не пришлось делать лишней работы — что было вполне в его духе, — Толкин позаботился, чтобы внесенная правка совпадала по объему с первоначальным текстом. Однако он только зря потратил время: печатники все равно решили набирать отредактированные им куски заново.

«Хоббит» вышел из печати 21 сентября 1937 года. Толкин немного тревожился о том, как к этому отнесутся в Оксфорде, тем более что он сейчас получал исследовательскую стипендию Леверхюльма. Он говорил по этому поводу: «Боюсь, мне будет трудно заставить людей поверить, что это — не главный плод моих «исследований» 1936—1937 годов». Однако беспокоился он напрасно: поначалу в Оксфорде книга прошла практически незамеченной.

Через несколько дней после выхода в свет «Хоббит» получил благоприятные отзывы в колонках «Таймс». «Всем, кто любит детские книги из тех, которые могут читать и перечитывать и взрослые, — писал обозреватель, — стоит взять на заметку, что в этом созвездии загорелась новая звезда. Искушенному глазу отдельные персонажи могут показаться почти мифологическими». Вышеупомянутый глаз принадлежал К. С. Льюису. Льюис был в то время постоянным обозревателем литературного приложения к газете «Таймс», «Таймс литерари сагошент», и сумел пропихнуть заметку о книге своего друга в родственную газету. Естественно, он не преминул напечатать хвалебную статью и в самом литературном приложении. За этим последовали столь же восторженные отзывы других критиков, хотя кое–кто из них не упускал случая указать на неуместность издательской рекламы на обложке, в которой «Хоббит» сравнивался с «Алисой в Стране чудес» только на том основании, что обе книги были написаны оксфордскими донами. Нашлись также и недовольные, в числе прочих — обозреватель из «Джуниор букшелф», который почему–то решил, что в этой книге «отсутствует бесшабашная свобода истинного приключения».

Первое издание «Хоббита» было распродано к Рождеству. Издательство поспешило подготовить второе, в которое на этот раз были включены четыре из пяти цветных иллюстраций, сделанных Толкином. По всей видимости, Толкин просто никогда не предлагал их в «Аллен энд Анвин», и в издательстве узнали об

их существовании, только когда они попали к ним по пути в «Хоутон–Мифлин», которое должно было издавать эту книгу в Америке. Американское издание, которое вышло через несколько месяцев, большинство критиков также одобрили, и оно получило премию «Нью–Йорк геральд трибьюн» как лучшая детская книга года. Стэнли Анвин осознал, что у него в издательстве вышел детский бестселлер. Он писал Толкину: «На будущий год многие начнут требовать новых книг про хоббитов!»

Глава 2
«НОВЫЙ «ХОББИТ»

Через несколько недель после выхода «Хоббита» Толкин приехал в Лондон. Стэнли Анвин пригласил его на ланч, обсудить возможное продолжение книги. Толкин обнаружил, что издатель, невысокий, с блестящими глазами и с бородой, выглядит «точь–в–точь как один из моих гномов — только он, кажется, не курит». Анвин и впрямь не курил, а также не употреблял спиртных напитков (он происходил из суровой нонконформистской семьи [Общее название сект, отделившихся от англиканской церкви, их представители отличаются строгостью нравов]), и оба сочли друг друга довольно странными. Анвин узнал, что у Толкина есть большой мифологический труд под названием «Сильмариллион», который Толкин теперь хочет опубликовать — хотя признает, что это не слишком подходящее продолжение для приключений Бильбо Бэггинса. Толкин сказал, что у него также имеется несколько коротких детских сказок: «Мистер Блисс», «Фермер Джайлз из Хэма» и «Роверандом», а также неоконченный роман под названием «Утраченный путь». Анвин попросил Толкина прислать все эти рукописи в его офис на Мьюзиум–Стрит.

Рукописи были присланы и прочитаны. Детские сказки очень понравились, но в них не было ничего про хоббитов, а Стэнли Анвин был уверен, что хоббиты — именно то, чего хочется людям, которым полюбилась первая книга. Ну а «Утраченный путь» явно не был рассчитан на детей. С «Сильмариллионом» же дело обстояло сложнее.

Рукопись этого колоссального труда — точнее, пачка рукописей — прибыла в редакцию в несколько разрозненном виде, и на первый взгляд единственным цельным текстом из всего этого была длинная поэма «Жеста о Берене и Лутиэн». А потому ее–то и отдали внутреннему рецензенту. Рецензенту поэма не особенно понравилась — честно говоря, в рецензии он довольно резко отозвался о рифмованных двустишиях поэмы. Правда, поспешил заметить, что зато прозаическая версия истории Берена и Лутиэн (вероятно, Толкин присовокупил ее к поэме, чтобы было понятно, что произошло дальше, поскольку сама «Жеста» была не окончена) весьма захватывающая. «Здесь события развиваются стремительно, — докладывал рецензент Стэнли Анвину и восторженно, хотя и несколько бестолково, продолжал: — История рассказана с лаконичной выразительностью и благородством, так что невозможно оторваться, невзирая на

зубодробительные кельтские имена. Есть в ней та безумная, ослепляющая красота, что озадачивает англосакса при встрече с кельтским искусством».

Похоже, что на тот момент в «Аллен энд Анвин» больше ничего из «Сильмариллиона» читать не стали. Тем не менее 15 декабря 1937 года Стэнли Анвин написал Толкину:

> «В «Сильмариллионе» — масса великолепных материалов; собственно говоря, это не столько книга сама по себе, сколько золотые копи, которые предстоит разрабатывать, сочиняя новые книги вроде «Хоббита». Мне казалось, что вы отчасти и сами так считаете, не правда ли? Нам же абсолютно необходима еще одна книга, которую можно было бы издать на волне нашего успеха с «Хоббитом». Но увы! Ни один из этих текстов (ни поэма, ни сам «Сильмариллион») не соответствует данным требованиям. Я все еще надеюсь, что вы вдохновитесь на то, чтобы написать еще одну книгу о хоббите».

В том же письме Анвин переслал Толкину восторженный, хотя и несколько неуместный отзыв рецензента о той части «Сильмариллиона», которую он прочел.

Толкин ответил (16 декабря 1937–го):

> «Больше всего радует меня то, что «Сильмариллион» не был отвергнут с презрением. Как это ни смешно, я терзался страхом и чувством утраты с тех самых пор, как отдал эту глубоко личную, дорогую моему сердцу чепуху в чужие руки; и мне думается, что, если бы вы сочли это чепухой, я был бы совершенно раздавлен. Но теперь я буду надеяться, что в один прекрасный день смогу опубликовать — или позволить себе опубликовать «Сильмариллион»! Отзыв вашего рецензента привел меня в восторг. Очень жаль, если имена кажутся ему зубодробительными: лично я полагаю (а тут, я полагаю, мне лучше знать), что имена хороши и общее впечатление в изрядной степени зависит от них. Система имен, связная и последовательная, основана на двух родственных языках, что позволяет достичь реализма, которого прежде не достигал ни один из авторов, придумывавших имена (скажем, Свифт или Дансени!). Нечего и говорить, что они вовсе не кельтские! Как и сами истории.

> Я и не думал, что какие–то из текстов, которые я вам подсунул, соответствуют вашим требованиям. Я просто хотел знать, представляет ли что–то из этого ценность для кого–то, помимо меня самого. По–моему, достаточно очевидно, что, помимо всего, требуется продолжение или дополнение к «Хоббиту». Я обещаю подумать и заняться этим. Но, уверен, вы поймете меня, если я скажу, что создание разработанной и последовательной мифологии (и двух языков в придачу) поглощает все мысли, и сердце мое отдано Сильмарилям. Так что бог знает, что из этого выйдет. Мистер Бэггинс появился как забавная сказочка о привычных и противоречивых гномах из сказок братьев Гримм и оказался затянут на край этих легенд — так, что даже Саурон Ужасный выглянул из–за грани. А на что еще способны хоббиты? Они могут быть забавны, но эта их комичность весьма ограниченна, если не сопоставить ее с чем–то более фундаментальным. Однако самое интересное (на мой взгляд), что касается всяких там драконов и орков, произошло задолго до хоббитов. Быть может, взять новый (хотя и похожий) сюжет?»

Стэнли Анвин, по всей вероятности, не понял большей части этого письма; но на самом деле Толкин все равно просто размышлял вслух и уже начинал строить планы. Всего через три дня, 19 декабря 1937 года, он сообщил Чарльзу Ферту, одному из сотрудников издательства «Аллен энд Анвин»: «Я написал первую главу новой истории про хоббитов — «Долгожданная вечеринка».

Новая история начиналась почти так же, как первая. Мистер Бильбо Бэггинс из Хоббитона дает званый обед в честь своего дня рождения и, произнеся речь перед гостями, надевает волшебное колечко, которое добыл в «Хоббите», и исчезает. Причиной исчезновения в первом варианте главы является то, что у Бильбо «не осталось ни денег, ни драгоценных камней», и он решил снова отправиться на поиски драконьего золота. На этом месте первый вариант обрывается, глава оставлена неоконченной.

Толкин пока что не имел отчетливого представления, о чем будет новая книга. В конце «Хоббита» он написал, что Бильбо «счастливо прожил оставшуюся жизнь, а она у него оказалась необыкновенно долгой». Так как же этот хоббит мог изведать новые приключения, достойные называться приключениями, так, чтобы это не возникло противоречия финалу «Хоббита»? И потом, разве он не исчерпал практически все возможности характера

Бильбо? Толкин решил ввести в повествование нового хоббита, сына Бильбо, и дать ему имя, которое носило семейство принадлежавших детям Толкина игрушечных медвежат–коала, Бинго. Итак, он вычеркнул из первого наброска имя Бильбо и вписал вместо него «Бинго». Потом ему в голову пришла другая идея, и он записал ее в виде короткой заметки (он часто так поступал во время работы над этой новой книгой): «Сделать сюжетом _возвращение кольца_».

В конце концов, кольцо было, во–первых, связующим звеном между первой и второй книгами, а во–вторых, одной из немногих деталей, о которых было сказано далеко не все. Бильбо случайно добыл его у скользкого Голлума, жившего под Мглистыми горами. Способность кольца делать своего владельца невидимым была до конца исчерпана еще в «Хоббите». Но не обладало ли оно какими–нибудь другими свойствами? Толкин делает еще несколько заметок: «Кольцо — откуда оно взялось? Некромант? Не очень опасное, если использовано для благих целей. Но рано или поздно грядет расплата. Приходится утратить либо его — либо себя». Потом Толкин переписал первую главу заново, назвав героя «Бинго Болджер–Бэггинс» и превратив его из сына Билъбо в его племянника. Он перепечатал главу на машинке и в начале февраля 1938 года послал ее в «Аллен энд Анвин», спросив, не согласится ли Рейнер, сын Стэнли Анвина, первый рецензент «Хоббита», высказать свое мнение.

11 февраля Стэнли Анвин ответил, что Рейнер прочел и ему очень понравилось, и добавил от себя: «Продолжайте».

Толкин был ободрен, но написал в ответ: «Написать первые главы для меня всегда проще простого — а вот теперь история не движется. Я так много растратил на первого «Хоббита» (я ведь не рассчитывал, что придется сочинять к нему продолжение), что в этом мире уже трудно найти что–нибудь новенькое». Тем не менее Толкин снова взялся за работу и вскоре написал вторую главу, которую назвал «Дорога втроем». В ней рассказывалось, как Бинго и его родичи Одо и Фродо отправляются в путь по сельской местности под звездами.

«Истории имеют обыкновение выходить из–под контроля, — написал Толкин своему издателю несколько недель спустя, — вот и эта приняла неожиданный оборот». Толкин имел в виду совершенно незапланированное появление зловещего Черного Всадника, который явно разыскивал хоббитов. На самом деле то был лишь первый из нескольких неожиданных оборотов, с которыми ему еще предстояло столкнуться. Толкин неосознанно, и зачастую непредумышленно, уклонялся от веселой манеры «Хоббита» в сторону чего–то более мрачного и возвышенного,

ближе к «Сильмариллиону».

Была написана третья глава, никак не озаглавленная, но по содержанию примерно соответствовавшая той, что в конце концов вошла в книгу под названием «Прямиком по грибы». После этого Толкин перепечатал все, что уже было написано (и переписано), и опять отправил Рейнеру Анвину, чтобы узнать его мнение. Мальчик снова одобрил, только заметил, что тут слишком много «хоббичьей болтовни», и спросил, как будет называться книга.

И в самом деле, как? Но, главное, Толкин до сих пор не знал, о чем она будет. И к тому же у него оставалось не так уж много свободного времени для сочинительства. Помимо обычных дел: лекций, экзаменов, административных обязанностей, научной работы, — добавилась еще одна забота: у Кристофера обнаружилось какое–то непонятное сердечное заболевание. Мальчика, которого только недавно отправили вместе с братьями в католический пансион в Беркшире, пришлось на много месяцев оставить дома. Кристоферу было велено соблюдать постельный режим и лежать на спине, и отец посвящал ему немало времени. Так что прошло больше трех месяцев, прежде чем Толкин снова взялся за новую книгу. В конце трех уже написанных глав он некогда нацарапал заметку: «Бинго собирается что–то сделать с Некромантом, который намерен напасть на Шир. Они должны найти Голлума и узнать, откуда он взял кольцо, потому что нужны три». Но какой бы многообещающей ни казалась эта идея, сперва она никаких результатов не дала. 24 июля 1938 года Толкин написал Чарльзу Ферту в «Аллен энд Анвин»: «Продолжение «Хоббита» все на том же месте. Я утратил к нему интерес и понятия не имею, что с ним делать».

А вскоре пришли вести о том, что Э. В. Гордон скончался в больнице, и этот удар заставил Толкина еще на некоторое время отложить работу над книгой. Однако примерно тогда же Толкин начал приводить в порядок свои мысли по поводу центральной темы Кольца и принялся писать диалог между Бинго и эльфом Гильдором, в котором говорилось о природе Кольца. Эльф объясняет хоббиту, что это Кольцо — одно из многих, сделанных Некромантом, и, по всей видимости, он его разыскивает. Черные Всадники — это «Призраки Кольца», которых другие кольца сделали навеки невидимыми. Идеи наконец–то хлынули потоком. Толкин сочинил кусок диалога между Бинго и волшебником Гэндальфом, в котором решено, что Кольцо необходимо отнести за многие сотни миль в темную страну Мордор и бросить в «одну из Расселин Земли», где пылает жаркое пламя. Это послужило достаточной основой для того, чтобы продолжать сказку. И она была продолжена. Хоббиты попали к Тому Бомбадилу. Закончив

эту главу 31 августа 1938 года, Толкин написал в «Аллен энд Анвин», что «книга двинулась вперед и совершенно выходит из–под контроля. Она достигла примерно главы VII и стремится дальше, к каким–то совершенно непредвиденным целям». Потом Толкин вместе с семьей, включая Кристофера, здоровье которого заметно улучшилось, уехал на каникулы в Сидмут.

Там он довольно много работал над книгой. Он довел хоббитов до деревенского трактира в «Бри», где они встретились со странным персонажем — еще одним непредвиденным элементом повествования. В первых вариантах Толкин описывал его как «странного на вид смуглолицего хоббита» и называл его Trotter, Непоседа. Позднее Непоседа превратился в персонажа истинно героического, короля, чье возвращение к власти дало название третьему тому книги; но пока что Толкин не лучше самих хоббитов представлял себе, кто это такой. А действие между тем развивалось. Бинго прибыл в Ривенделл. Примерно в это же время Толкин нацарапал на клочке бумаги: «Слишком много хоббитов. К тому же Бинго Болджер–Бэггинс — плохое имя. Пусть Бинго будет Фродо». Однако ниже приписал: «Нет. Я теперь уже слишком привык к Бинго». Была и еще одна проблема: почему это Кольцо кажется всем таким важным? До сих пор этот вопрос все еще не решился. Но внезапно Толкину пришла в голову новая идея, и он написал: «Колечко Бильбо оказалось единым главным Кольцом. Все прочие вернулись в Мордор, а это было потеряно».

Единое кольцо, управляющее всеми остальными; кольцо, бывшее источником силы Саурона, Черного Властелина Мордора, и средством для управления ею; кольцо, которое хоббиты должны отнести туда, где его можно уничтожить, иначе весь мир окажется под властью Саурона. Теперь все сошлось. И история оторвалась от «детского» уровня «Хоббита» и перешла в высокую сферу героического эпоса. Заодно появилось и заглавие: когда Толкин в следующий раз писал о своей книге в «Аллен энд Анвин», он назвал ее «Властелин Колец».

Это было почти неизбежно. Толкину больше не хотелось сочинять сказки, подобные «Хоббиту»; он стремился вернуться к своей серьезной мифологии. И теперь он мог это сделать. Новая история оказалась тесно связана с «Сильмариллионом» и должна была приобрести высокий смысл и благородный стиль последнего. Нет, конечно, хоббиты по–прежнему оставались хоббитами, малорослым шерстолапым народцем с забавными именами вроде Бэггинсов или Гэмджи (из семейной шутки про Папашу Гэмджи родился персонаж с таким именем, а главное — появился его сын Сэм, которому предстояло стать одним из

главных героев книги). В определенном смысле хоббиты попали сюда случайно из более ранней книги. Однако теперь Толкин впервые осознал всю значимость хоббитов для Средиземья. Тема его новой книги была широка, но центром ее оказалась отвага этого малорослого народца, и сердцем ее стали трактиры и сады Шира, воплощение всего, что было дорого Толкину в родной Англии.

Теперь, когда выявилась суть сюжета, переделок и тупиков стало меньше. Вернувшись из Сидмута домой, осенью 1938 года Толкин провел немало часов, трудясь над романом, так что к концу года была уже готова немалая часть того, что потом стало книгой II. Работал он обычно по ночам, как то вошло у него в привычку, грелся у бестолковой печки в своем кабинете на Нортмур–Роуд и писал ручкой–вставочкой на оборотных сторонах старых экзаменационных сочинений, так что немалая часть «Властелина Колец» перемежается обрывками давно забытых студенческих эссе. Каждая глава начиналась с небрежно накорябанного, зачастую совершенно нечитабельного наброска; набросок затем переписывался уже начисто и наконец печатался на «Хаммонде». Единственное крупное изменение, которое оставалось внести, касалось имени ключевого персонажа. Спустя какое–то время, летом 1939 года Толкин подумывал переделать все, что уже написал, и начать заново, сделав главным героем все–таки Бильбо — очевидно, исходя из принципа, что в первой и второй книге главный герой должен быть один и тот же, — но потом все же решил использовать хоббита Бинго. Но имя Бинго теперь сделалось для него уже совершенно неприемлемым, поскольку книга приняла чересчур серьезный оборот, и потому Толкин заменил Бинго на Фродо, имя, принадлежавшее ранее одному из второстепенных персонажей. И так оно и осталось.

Примерно в то же время, когда Толкин решил назвать свою книгу «Властелин Колец», Чемберлен подписал с Гитлером Мюнхенское соглашение. Толкин, как и многие его современники, опасался не столько Германии, сколько Советской России: он писал, что ему «отвратительно быть среди тех, кто заодно с Россией», и добавлял: «Сдается, что Россия, вероятно, в конечном счете куда более виновна в нынешнем кризисе и выборе момента, нежели Гитлер». Однако это не значит, что, поместив Мордор (цитадель зла во «Властелине Колец») на Востоке, Толкин создал аллегорию современной политики, поскольку Толкин сам утверждал, что это было «обусловлено требованиями повествования и географии». В другом месте он подчеркивает необходимость различать аллегорию и параллелизм: «Я терпеть не могу аллегории во всех ее проявлениях, и всегда терпеть не

мог, с тех пор как сделался достаточно взрослым и бдительным, чтобы почуять ее присутствие. Мне куда больше нравится история, реальная или выдуманная, с ее разнообразными параллелями в мыслях и опыте читателей. Я думаю, многие путают «параллелизм» с «аллегорией»; но первый основан на свободе читателя, в то время как вторая навязывается автором». Как писал о «Властелине Колец» К. С. Льюис: «Все это было придумано не затем, чтобы отразить какую–то конкретную ситуацию в реальном мире. Наоборот: это реальные события начали до ужаса соответствовать сюжету, являющемуся плодом свободного воображения».

Толкин надеялся продолжить работу над книгой в первые месяцы 1939 года, но его все время отвлекало то одно, то другое. Помимо всего прочего, в начале марта ему предстояло прочесть в университете Сент–Эндрюз обещанную лекцию памяти Эндрю Лэнга. В качестве темы Толкин избрал то, о чем первоначально собирался говорить в студенческом обществе Вустер–Колледжа годом раньше: волшебные сказки. Тема казалась подходящей, поскольку была тесно связана с самим Лэнгом; к тому же Толкин много размышлял об этом, пока работал над новым произведением. «Хоббит» был явно предназначен для детей; «Сильмариллион» — для взрослых; однако Толкин сознавал, что с «Властелином Колец» все обстоит не так просто. В октябре 1938 года Толкин написал Стэнли Анвину, что его книга «забывает о «детишках» и становится куда более страшной, чем «Хоббит». И добавил: «Может быть, она окажется совершенно неподходящей». Но при этом Толкин остро ощущал, что волшебные сказки вовсе не обязательно предназначены для детей. И большую часть лекции он намеревался посвятить именно доказательству этого тезиса.

Он уже касался этой важной темы в поэме «Мифопея», написанной для Льюиса много лет назад, и теперь решил процитировать отрывок из нее в своей лекции:

> Не с ложью ищет человек сродство,
> Но мудрость постигает у Того,
> В ком — Мудрости исток. Хоть отчужден,
> Не вовсе пал и умалился он.
> В опале он — но и в таком обличье
> Хранит лохмотья прежнего величья.
> Он — со–творец; в нем отраженный свет,
> Как в зеркале, дробится; белый цвет
> Дает тонов и красок сочетанья,
> Что обретают плоть и очертанья.

Пусть эльфами и гоблинами мы
Заполним мир, пусть из лучей и тьмы
Творим богов, какие нам по нраву,
И их обители — в том наше право
(К добру иль к худу). В мире сотворенном
Творим и мы, верны его законам.

Образ «человека, со–творца» явился в некотором смысле новым способом выразить то, что часто называется «добровольным подавлением недоверия», и Толкин сделал это основным содержанием лекции.

«На самом деле, — пишет он, — создатель истории оказывается успешным «со–творцом». Он создает Вторичный мир, куда мысленно можете войти и вы. Внутри этого мира все, о чем он рассказывает, — «правда»: оно согласуется с законами этого мира. А потому до тех пор, пока вы как бы «внутри», вы в него верите. Но как только возникает недоверие, чары рушатся: волшебство или, точнее, искусство потерпело крах. И вы снова оказываетесь в Первичном мире и глядите на неудавшийся Вторичный мирок снаружи».

В этой лекции Толкин выдвинул достаточно много тезисов — быть может, даже чересчур много для вполне убедительной аргументации. Но в конце ее Толкин настойчиво утверждает, что нет у человека предназначения выше, чем «со–творение» Вторичного мира, подобного тому, который сам Толкин создавал во «Властелине Колец», и выражает надежду, что в некотором смысле эта история и вся связанная с нею мифология могут оказаться «правдой». «Каждый писатель, создающий вторичный мир, — заявлял он, — желает в какой–то мере быть настоящим творцом или надеется, что черпает свои идеи из реальности; что характерные особенности этого вторичного мира (если не все его детали) выведены из Реальности или вливаются в нее». Толкин даже заходил настолько далеко, что утверждал, будто написание такой истории, как та, над которой он работал сейчас, — дело исключительно христианское. «Христианину, — говорил он, — теперь дано понять, что все его способности и стремления исполнены смысла, который тоже подлежит спасению. Милость, которой он удостоен, столь велика, что он, вероятно, не без оснований осмеливается предположить: мир его фантазий, возможно, действительно помогает украшению и многократному обогащению реального мироздания».

Лекция была прочитана в университете Сент–Эндрюз 8 марта 1939 года (иногда дата ошибочно указывается как 1938–й или

1940–й). После этого Толкин, вновь исполнившись энтузиазма, вернулся к истории, цель и смысл которой только что отстоял. Она была задумана как простое «продолжение» к «Хоббиту» и начата по настоянию издателя, но ныне, особенно после того, как Толкин во всеуслышание заявил о высоком предназначении подобных «сказок», Кольцо сделалось для него не менее важным, нежели Сильмарили. На самом деле теперь стало очевидно, что «Властелин Колец» — продолжение не столько к «Хоббиту», сколько к «Сильмариллиону». Все аспекты последнего были задействованы и в новой истории: сама мифология, обеспечивающая как предысторию, так и ощущение глубины, эльфийские языки, которые Толкин столь прилежно и подробно разрабатывал более двадцати пяти лет, и даже Феаноров алфавит, на котором Толкин вел дневник с 1926–го по 1933 год и который он теперь использовал для эльфийских надписей. Однако в разговорах и переписке с друзьями Толкин по–прежнему скромно называл роман «новым «Хоббитом» или «продолжением к «Хоббиту».

Именно под таким названием роман глава за главой читался в клубе «Инклингов». «Инклинги» принимали его весьма восторженно; правда, не всем слушателям пришелся по вкусу «высокий штиль», который начинал преобладать в книге. От сравнительно разговорного языка, которым написаны первые главы, Толкин все больше и больше переходил к архаичной, торжественной манере. Разумеется, он это замечал — более того, делал это вполне сознательно и обсуждал этот вопрос в печати (точно так же, как обсуждал смысл и значение книги в лекции, прочитанной в университете Сент–Эндрюз), на этот раз в предисловии к исправленному переводу «Беовульфа» Кларка Холла. Элейн Гриффитс поняла, что ей не по силам завершить редактуру, и, обнаружив, что самому ему на это времени тоже не найти, Толкин передал «Беовульфа» своему коллеге Чарльзу Ренну, который тогда работал в Лондонском университете. Ренн с редактурой управился быстро, но «Аллен энд Анвин» пришлось в течение многих месяцев дожидаться, пока Толкин сумеет собраться с мыслями и написать обещанное предисловие. В результате предисловие превратилось в длинное рассуждение о принципах перевода, и в первую очередь — в отстаивание уместности «высокого штиля» там, где речь идет о героических деяниях. На самом деле Толкин, сознательно или бессознательно, обсуждал «Властелина Колец», который тогда (в начале 1940 года) достиг середины того, что впоследствии стало книгой II.

Во введении Толкин заявляет в оправдание высокого стиля следующее: «Нетрудно заметить, насколько мы сделались

легкомысленны, если попробовать отказаться от слов «стукнуть» или «треснуть» в пользу «нанести удар» или «поразить»; от слов «болтовня» или «треп» в пользу «речи» или «беседы»; от «любезных, блестящих и вежливых дворян» (так и представляешь себе колонки светской хроники или пузатых богатеев на Ривьере) в пользу «достойных, отважных и учтивых мужей» древности». И с тех пор Толкин все более и более придерживается подобных стилистических принципов во «Властелине Колец». Это было почти неизбежно, поскольку, по мере того как роман приобретал все более грандиозный масштаб и глубокий смысл, он все сильнее приближался по стилю к «Сильмариллиону». Однако менять стиль первых глав, написанных в куда более легкомысленном ключе, Толкин не стал и, перечитывая книгу двадцать пять лет спустя, заметил: «Первый том сильно отличается от остальных».

В сентябре 1939 года разразилась война, но поначалу это не оказало особого влияния на жизнь Толкина. Но семейная жизнь в это время переменилась заметно, к большому, но неизбежному огорчению Толкина: мальчики покинули дом. Старший, Джон, изучавший английский в том же колледже, Эксетере, где некогда учился его отец, находился в Риме, где готовился принять сан католического священника; позднее Джона вместе с его товарищами–студентами эвакуировали в Ланкашир. Майкл год проучился в Тринити–Колледже, а потом пошел в зенитчики. Кристофер, оправившийся наконец от своей болезни, ненадолго вернулся в школу, а потом вслед за братом поступил в Тринити–Колледж. Дома оставалась только Присцилла, младшая из детей. Размеренная жизнь на Нортмур–Роуд несколько вышла из колеи: найти прислугу сделалось трудно, в доме селились то эвакуированные, то жильцы, в саду стали держать кур, чтобы решить проблему с яйцами. Временами Толкину приходилось дежурить по ночам в местном штабе противовоздушной обороны — тесном, сыром домишке. Однако же Оксфорд немцы налетами не тревожили; к тому же Толкина, в отличие от многих других донов, не призвали работать в Военном министерстве или других государственных учреждениях.

Война шла, и университет заметно менялся. В Оксфорд присылали большие группы кадетов, которые должны были проходить в университете «краткие курсы» перед получением офицерских званий. Толкин составил для флотских кадетов программу обучения на факультете английского языка и литературы и переработал многие из своих лекций таким образом, чтобы сделать их доступными для менее подготовленной аудитории. Но в целом его жизнь текла так же, как и до войны. И продолжение боевых действий тревожило его

не столько по личным, сколько по идеологическим причинам. «Люди в этой стране, — писал он в 1941 году, — похоже, до сих пор не осознали, что в лице немцев нам противостоят враги, которые в массе своей наделены добродетелями повиновения и патриотизма (а это именно добродетели!) куда больше нашего. Нынешняя война заставляет меня испытывать глубокую личную неприязнь к этому треклятому невеждишке Адольфу Гитлеру за то, что он погубил, извратил, обратил в неверное русло и навсегда обрек проклятию тот благородный северный дух, величайший дар Европе, который я всегда любил и старался показать в истинном свете».

Много лет спустя Толкин вспоминал, что в конце 1940 года работа над «Властелином Колец» застопорилась на том месте, где Хранители обнаруживают в Мории могилу Балина, и не двигалась дальше почти целый год. Если это правда — а существуют и другие свидетельства, подтверждающие, что в это время в работе наступил застой, — то это была лишь первая из нескольких крупных остановок в работе над романом и ни одну из них не представляется возможным приписать каким–то конкретным внешним причинам.

Вернувшись наконец к книге, Толкин набросал план развязки романа — тогда ему казалось, что конец наступит всего через несколько глав, — и принялся писать черновой вариант эпизода, в котором двое из хоббитов встречаются с Древобрадом, существом, которое воплотило в себе всю любовь и уважение Толкина к деревьям. Когда у Толкина наконец дошли руки до этой главы, он, как он сам говорил Невиллу Когхиллу, «срисовал» манеру речи Древобрада («Хрум–хум…») с гулкого баса Льюиса.

«Аллен энд Анвин» поначалу надеялись, что новый роман будет готов к публикации годика через два после того, как они выпустили «Хоббита». Постепенно надежда на это растаяла, а в 1942 году погиб весь тираж уже отпечатанного «Хоббита», потому что во время бомбежки Лондона сгорели склады. Однако же Стэнли Анвин не переставал интересоваться тем, как продвигается «новый «Хоббит». В декабре 1942 года он получил письмо, в котором Толкин докладывал: «Книга близится к завершению. Я надеюсь, что в ближайшие каникулы мне удастся выкроить немножко свободного времени, так что можно надеяться, что в начале будущего года я ее закончу. Она дошла до XXXI главы, и до конца еще минимум глав шесть (но наброски к ним уже имеются)».

Однако глава XXXI (первоначальный номер главы IX книги III) была лишь концом того, что впоследствии стало книгой III, и оказалось, что до конца книги оставалось не шесть глав, а

тридцать одна. В следующие несколько месяцев Толкин пытался вновь заняться романом и написал еще несколько страниц. Но к лету 1943 года ему пришлось признать, что «дело зашло в тупик».

Отчасти трудности объяснялись его стремлением к совершенству. Толкину мало было написать огромную, сложную книгу — он считал необходимым сделать так, чтобы каждая деталька четко вписывалась в общую схему. География, хронология, система имен — все должно было быть выверенным и последовательным. С географией Толкину помогли: его сын Кристофер начертил подробную карту территории, на которой разворачиваются события книги. Толкин и сам рисовал небрежные наброски карт с самого начала работы над романом; он однажды сказал: «Если собираетесь писать сложную книгу — сразу пользуйтесь картой; иначе потом вы эту карту никогда не начертите». Но одной карты было недостаточно: он постоянно рассчитывал время и расстояние, чертил сложные хронологические таблицы, с указанием дат, дней недели, времени и временами даже направления ветра и фаз Луны. Отчасти это делалось из его обычного стремления к точности, отчасти ему просто доставлял удовольствие сам процесс «со–творения», но в первую очередь Толкин стремился к тому, чтобы создать абсолютно достоверную картину. Много позднее он говорил: «Мне хотелось, чтобы люди просто оказались внутри книги и воспринимали ее, в каком–то смысле, как реальную историю».

Немало внимания уделял он также созданию имен. Иначе и быть не могло: ведь вымышленные языки, на которых давались имена и названия, лежали в основе его мифологии и сами по себе занимали его в первую очередь. И снова, как двадцать пять лет назад, когда Толкин взялся за «Сильмариллион», эльфийские языки, квенья и синдарин, теперь уже куда более разработанные, играли основную роль в номенклатуре и использовались для сочинения эльфийских песен и стихов. Но этого было мало: книга требовала разработки хотя бы начатков еще нескольких языков. И на это тоже уходило немало сил и времени. К тому же Толкин достиг того этапа повествования, когда сюжет разделился на несколько независимых линий, которые сами по себе были достаточно запутанными. Он полагал, что на то, чтобы довести Фродо и Сэма до Мордора, понадобится всего две–три главы, но никак не мог заставить себя разобраться в хитросплетениях событий, происходивших параллельно этому в Гондоре и Рохане. На то, чтобы добраться до этого момента повествования, у Толкина ушло почти шесть лет. Где же взять время и силы на то, чтобы его закончить, не говоря уже о том, чтобы завершить и отредактировать «Сильмариллион», который по–прежнему

настоятельно требовал внимания? Толкину был пятьдесят один год; он устал и боялся, что в конце концов так ничего и не достигнет. В среде коллег у него уже сложилась репутация человека, который способен тянуть с работой практически до бесконечности; и порой это его забавляло, хотя зачастую и огорчало; но мысль о том, что ему не суждено завершить свою мифологию, была ужасна и вгоняла в прострацию.

Примерно в это же время соседка напротив, леди Агнью, пожаловалась, что ее нервирует старый тополь, растущий у дороги. Она говорила, что дерево загораживает от солнца ее палисадник, и боялась, что в сильный ветер тополь, чего доброго, рухнет на ее особняк. Толкин полагал, что ее страхи смехотворны. «Ветер такой силы, какой мог бы выворотить этот тополь и бросить на ее дом, — говорил он, — вполне мог бы снести этот дом вместе с ней самой без помощи дерева». Но тополь уже обрезали и обкорнали. Толкину удалось пока что спасти дерево, но тополь все никак не шел у него из головы. Ведь он сам сейчас тревожился «за Дерево, растущее внутри меня», за свою мифологию; и ему казалось, что тут есть некая аналогия.

Однажды утром он проснулся с готовой короткой сказкой в уме и тут же ее записал. Это была история о художнике по имени Ниггль [Английское «to niggle» — «заниматься пустяками»], человеке, который, как и сам Толкин, непомерно много внимания уделял мелким деталям. «Он всегда подолгу возился с одним–единственным листиком, стараясь уловить его неповторимую форму и то, как он блестит на солнце и как переливаются на нем капельки росы. И все–таки Ниггль мечтал нарисовать целое дерево. Особенно много Ниггль возился с одной из своих картин. Сперва на ней появился лист, трепещущий на ветру, а за ним — дерево. Дерево росло, выпуская бесчисленные ветви и причудливые корни. На ветвях селились неведомые птицы — и им тоже надлежало уделить внимание. Потом вокруг Дерева и за ним, в просветах между листьями и ветвями, начала проступать целая страна».

В этой сказке, названной «Лист работы Ниггля», Толкин выразил свои худшие страхи, касающиеся его мифологического Древа. Он ощущал, что его, подобно Нигглю, оторвут от работы задолго до того, как она будет завершена. Если такая работа вообще может быть завершена в нашем мире. Ведь, только попав в иное, более светлое и яркое место, Ниггль обнаруживает, что Дерево его закончено, и узнает, что это на самом деле настоящее дерево, живая часть сотворенного мира.

Прошло несколько месяцев, прежде чем эта сказка была опубликована; но сам процесс ее написания помог Толкину

избавиться от некоторых своих страхов и снова взяться за «Властелина Колец». Однако главный толчок ему дал Льюис.

Было уже начало 1944 года. «Властелин Колец» в течение многих месяцев лежал нетронутым, и Толкин писал: «Похоже, мои душевные силы и воображение окончательно иссякли». Однако Льюис заметил, что происходит, и принялся заставлять Толкина снова приступить к работе и закончить наконец роман. «Мне нужно какое–то давление, — говорил сам Толкин, — и я скорее всего откликнусь». В начале апреля он действительно вернулся к своему замыслу и начал писать то, что позднее стало книгой IV, в которой Фродо с Сэмом пробираются через болота к Мордору, где они надеются уничтожить Кольцо, сбросив его в Роковую Расселину.

Кристофера Толкина к тому времени призвали в ВВС и отправили в Южную Африку учиться на летчика (к большому огорчению его отца, который полагал ведение войны с неба аморальным и очень опасным). Толкин давно уже писал Кристоферу длинные письма, и теперь в этих письмах содержались подробные рассказы о том, как движется книга и как он читает ее братьям Льюисам и Чарльзу Уильям су в «Белой лошади», их излюбленном пабе в то время. Вот несколько отрывков из писем:

5 апреля 1944 года, среда: «Я решился закончить книгу и всерьез взялся за дело. Засиживаюсь теперь допоздна: приходится очень многое перечитывать и выяснять. Раскачиваться заново — дело довольно мучительное и непростое. Проливаю уйму пота — и получаю всего несколько страниц; но сейчас они как раз повстречались над пропастью с Голлумом».

8 апреля, суббота: «Провел часть дня (и ночи тоже) сражаясь с главой. Вернувшийся Голлум держится неплохо. Чудная ночь, высоко в небе висела луна. Около двух часов я вышел в теплый, залитый серебряным светом сад, жалея, что мы не можем пойти погулять вместе. Потом пошел спать».

13 апреля, четверг: «Мне ежечасно тебя не хватает, и очень без тебя одиноко. Конечно, есть еще друзья, но я с ними вижусь редко. Вчера почти два часа просидели с К. С. Л. и Чарльзом Уильямсом. Читал недавно написанную главу; ее одобрили. Начал новую. Надо будет по возможности напечатать несколько копий и послать одну тебе. Теперь ненадолго вернусь к Фродо и Голлуму».

14 апреля, пятница: «Мне удалось выкроить пару часов для работы над романом и привести Фродо почти к самым воротам Мордора. После обеда подстригал газон. На той неделе — начало триместра, и пришли экзаменационные работы из Уэльса. Однако

же я собираюсь уделять «Кольцу» каждую свободную минутку».

18 апреля, вторник: «Надеюсь завтра утром повидать К. С. Л. и Чарльза У. и прочитать им свою новую главу: о переходе через Мертвецкие болота и приближении к Вратам Мордора, которую я уже практически закончил. Триместр, можно считать, начался: в течение часа занимался с мисс Салю. Вся вторая половина дня ушла на возню с водопроводом (труба протекла) и чистку курятника. Куры несутся щедро — вчера опять девять штук. Листики разворачиваются: на айве — серебристо–белые, на яблоньках — серо–зеленые, на боярышнике — ярко–зеленые, и даже ленивцы–тополя выпустили сережки».

23 апреля, воскресенье: «В ср. утром читал вторую главу, «Через болота», Льюису и Уильямсу. Одобрили. Я теперь почти закончил третью: «Врата Страны Тени». Однако роман меня захватил, и я уже написал три главы там, где собирался сделать всего одну! И я забросил слишком много дел ради этой книги. Я полностью поглощен ею, и мне приходится силой заставлять себя оторваться от нее, чтобы заняться экзаменационными работами или лекциями».

25 апреля, вторник: «Прочитал слабую лекцию, полчаса просидел с Льюисами и Ч. У. в «Белой лошади», подстриг три газона, написал письмо Джону и сражался с неподатливым местом в «Кольце». Сейчас мне необходимо знать, насколько позднее встает луна каждую ночь по мере приближения к полнолунию и как тушить кролика!»

4 мая, четверг: «На сцене появился новый персонаж (я уверен, что не выдумывал его, он даже не был мне нужен, хотя он мне и нравится; но вот он явился и бродит по лесам Итилиэна): Фарамир, брат Боромира, — и он оттягивает развязку, сообщая уйму сведений об истории Гондора и Рохана. Если так пойдет и дальше, придется большую часть его рассуждений перенести в приложения, куда уже отправились кое–какие любопытнейшие сведения о хоббичьей табачной промышленности и языках Запада».

14 мая, воскресенье: «Вчера довольно много писал, но возникли два препятствия: необходимость прибраться в кабинете (там воцарился хаос, вечный спутник литературного или филологического труда) и заняться делами, а также проблемы с луной. То есть я обнаружил, что в наиболее важные дни, начиная с бегства Фродо и кончая нынешней ситуацией (приходом к Минас–Моргулу), луна у меня вытворяла вещи самые невообразимые: вставала в одном месте и одновременно садилась в другом. Пришлось переписывать целые куски уже готовых глав, и на это ушла вся вторая половина дня!»

21 мая, воскресенье: «Я воспользовался ужасно холодной пасмурной неделей (в течение которой трава на газонах не росла, невзирая на то, что время от времени шел дождь) и засел за работу; но завяз. Все предварительные наброски оказались почти бесполезны, поскольку время, мотивы и т. д. во многом переменились. Однако в конце концов, ценой великих трудов и пренебрежения некоторыми обязанностями, мне удалось написать все или почти все вплоть до того момента, как Фродо попадает в плен на горном перевале, на самой границе Мордора. Теперь надо будет вернуться к остальным и попытаться поскорее довести дело до финального столкновения. Как тебе кажется, подходящее ли имя для чудовищной паучихи — Шелоб? Конечно, это всего–навсего «She + lob» («lob» = «паук») [«She» — «она», «lob» — диал. «паук» (англ.). Это довольно распространенная модель для образования слов, обозначающих самок животных, к примеру, «she–goat» («коза») или «she–wolf» («волчица»), только обычно такие слова пишутся через дефис], но, будучи написано вместе, выглядит довольно мерзостно».

31 мая, среда: «С понедельника ничего серьезного не писал. Сегодня до полудня потел над материалами секции и отнес мои рукописи в издательство только в два часа дня — сегодня был крайний срок. Вчера собрался на лекцию — проколол камеру, после того как съездил за рыбой. Пришлось тащиться пешком в город и обратно. С ремонтными мастерскими дело иметь невозможно, пришлось весь день после обеда возюкаться в масле. Дело кончилось тем, что я заклеил прокол в камере, дыру в шине и поставил все на место. To! Zriumphum! [«Ура! Победа!» (лат.)]

Собрание «Инклингов» (имевшее место в четверг на прошлой неделе. — Прим. авт.) прошло очень славно. Был Хью — довольно усталый на вид, но умеренно шумный. Главным развлечением послужили глава из книги Уорни Льюиса о временах Людовика XIV (мне очень понравилось) и куски из «Кто возвращается домой» [Была опубликована под названием «Расторжение брака». (Прим. авт.)] К. С. Л. Домой вернулся только за полночь. Все остальное время, не считая хлопот по дому и в саду, отчаянно пытался довести «Кольцо» до логической паузы, того момента, когда Фродо попадает в плен к оркам на перевале в Мордоре, прежде чем придется прерваться на время экзаменов. Пришлось совсем не спать по ночам, но все же я это сделал — и утром в понедельник прочел последние две главы («Логово Шелоб» и «Сэм на распутье») К. С. Л. Он одобрил с непривычным рвением, а последняя глава тронула его прямо–таки до слез, так что, похоже, она мне и впрямь удалась».

Книга IV «Властелина Колец» была перепечатана и

отправлена в Южную Африку Кристоферу. К тому времени Толкин был совершенно истощен психологически этим лихорадочным творческим порывом. «Вот пройдет усталость, — писал он Кристоферу, — и я снова засяду за мою книгу». Но пока что ничего не выходило. «Я абсолютно иссяк, — жаловался он в августе. — Никакого вдохновения на тему Кольца». И до конца года он так ничего и не сделал, если не считать краткого наброска конца книги. Он размышлял о том, не стоит ли переделать и дописать «Утраченный путь», неоконченную историю о путешествии во времени, начатую много лет тому назад. Он обсуждал с Льюисом идею совместной книги о природе, функциях и происхождении языка. Однако ни из того, ни из другого проекта ничего не вышло, и Льюис, говоря некоторое время спустя о ненаписанной книге о языке, назвал Толкина «этот великий, но медлительный и неметодичный человек». Эпитет «медлительный» был не вполне справедлив; однако что касается «неметодичности» — это, увы, зачастую оказывалось правдой.

В течение 1945 года Толкин над «Властелином Колец» почти не работал — если вообще работал. 9 мая завершилась война в Европе. А на следующий день слег Чарльз Уильямс. Его прооперировали в Оксфордской больнице, но 15 мая он скончался. Конечно, Толкин с Уильямсом были совершенно разными по духу людьми, но это не мешало им оставаться большими друзьями, и потеря Уильямса стала для Толкина тяжелым ударом, знаком того, что мир еще не означает конца всех бед, — впрочем, Толкин это и без того знал прекрасно. Во время войны он говорил Кристоферу: «Мы пытаемся одолеть Саурона с помощью Кольца», а теперь он написал: «Война не окончена (а та, что окончена, или та ее часть, что окончена, в немалой степени проиграна). Но, разумеется, впадать в подобное настроение неправильно: ведь войны всегда оказываются проиграны, а война продолжается вечно, и терять мужество не годится».

Осенью 1945 года Толкин стал мертоновским профессором английского языка и литературы и, следовательно, членом Мертон–Колледжа. Мертон–Колледж приятно удивил его своим «отсутствием официозности» по сравнению с Пембруком. Несколько месяцев спустя ушел на пенсию Дэвид Никол Смит и встал вопрос о замещении должности мертоновского профессора английской литературы. Толкин был одним из выборщиков и писал по этому поводу: «Наверное, следует назначить К. С. Льюиса или, быть может, лорда Дэвида Сесила, а там кто его знает…» В конце концов обоих обошли, а должность была предложена Ф. П. Уилсону, и он ее принял. Нет никаких причин

предполагать, что Толкин не поддерживал Льюиса во время выборов; однако же после этого случая трещина между двумя друзьями немного расширилась, или, точнее, Толкин постепенно охладевал к своему другу. Почему именно — сказать невозможно. Сам Льюис, вероятно, поначалу просто ничего не замечал, а когда заметил, это его смутило и огорчило. Толкин по–прежнему посещал собрания «Инклингов», как и его сын Кристофер (тот после войны вернулся студентом в Тринити–Колледж). Впервые Кристофера пригласили на собрание «Инклингов» читать вслух «Властелина Колец» — Льюис утверждал, что Кристофер читает лучше, чем его отец; но вскоре молодой человек сделался полноправным членом клуба. Но хотя Толкин продолжал регулярно появляться в «Птичке с младенцем» по вторникам и в Моддин–Колледже по четвергам, прежней близости между ними с Льюисом уже не было.

Отчасти угасание дружбы могло быть ускорено льюисовскои критикой в адрес отдельных моментов «Властелина Колец», временами весьма педантичной, в особенности же высказываниями в адрес стихов, которые по большей части (за исключением, нельзя не отметить, аллитерационных) Льюису не нравились. Комментарии Льюиса нередко больно задевали Толкина, и по большей части он их игнорировал, так что позднее Льюис заметил: «На Толкина никто никогда никакого влияния не оказывал: это было все равно что пытаться повлиять на Брандашмыга». Растущая холодность со стороны Толкина, возможно, отчасти была вызвана также тем, что ему не нравились детские сказки Льюиса про Нарнию. В 1949 году Льюис начал читать вслух Толкину первую из них, «Лев, колдунья и платяной шкаф». История была встречена презрительным фырканьем. «На самом деле это никуда не годится! — говорил Толкин Роджеру Ланслину Грину. — Ну что это такое: «Жизнь и письма Силена», «Нимфы и их обычаи», «Личная жизнь фавна»!» Тем не менее книгу Льюис закончил, и, когда она, а следом за ней и другие книги из той же серии были опубликованы, их ждал столь же шумный успех, как и некогда «Хоббита». Однако же Толкин не мог заставить себя изменить первоначальное мнение. «Грустно, — писал он в 1964–м, — что «Нарния» и вообще вся эта часть деятельности К. С. Л. так и останется вне круга моих симпатий, точно так же, как большая часть моей деятельности — вне круга его симпатий». Несомненно, он полагал, что Льюис в своих сказках позаимствовал кое–что из его идей и сюжетов; и, подобно тому, как Толкин без особого восторга отнесся к превращению Льюиса из новообращенного в популярного богослова, его, вероятно, раздражал тот факт, что друг и критик, слушавший

истории о Средиземье, словно бы внезапно встал с кресла, подошел к столу, взял ручку, попробовал — и у него «сразу пошло». К тому же само по себе количество книг, написанных Льюисом для детей, и почти неприличная скорость, с какой он их сочинял, наверняка несколько бесили Толкина. Семь сказок про Нарнию были написаны и опубликованы всего за каких–то семь лет — менее чем за половину того времени, в течение которого выкристаллизовывался «Властелин Колец». Это вбило еще один клин между двумя друзьями, и после 1954 года, когда Льюис был избран профессором только что созданной кафедры литературы Средневековья и Возрождения в Кембридже и волею обстоятельств в Оксфорде подолгу отсутствовал, они с Толкином встречались сравнительно редко.

После окончания войны вышло новое издание «Хоббита», и началась подготовка к изданию «Фермера Джайлза из Хэма». Летом 1946 года Толкин доложил «Аллен энд Анвин», что он предпринял грандиозные усилия закончить «Властелина Колец», но у него ничего не вышло. На самом же деле он почти не притрагивался к роману с весны 1944 года. Он заявил: «Я действительно надеюсь завершить его к осени» — и в следующие недели и впрямь сумел взяться за работу. К концу года он сообщил издателям, что пишет «последние главы». Но тут он переехал.

Дом на Нортмур–Роуд сделался чересчур велик для семьи — точнее, того, что от нее осталось, — и содержать его стало слишком дорого. А потому Толкин подал в Мертон–Колледж заявление о том, что ему необходимо новое жилье, и, когда освободился один из домов на Мэнор–Роуд близ центра Оксфорда, Толкин решил его снять. Они с Эдит, Кристофер и Присцилла переехали в марте 1947 года. Джон к этому времени стал священником в Мидленде, а Майкл, у которого была семья и недавно родился сын, работал учителем в школе.

Переехав, Толкин почти сразу понял, что в этом доме слишком тесно. Дом 3 по Мэнор–Роуд был уродливым кирпичным строением и к тому же очень маленьким. Нормального кабинета там не нашлось — только комната в мансарде, служившая и кабинетом, и спальней. Было решено, что, как только Мертон–Колледж сможет предоставить новый дом, семья опять переедет. А пока придется пожить так.

Рейнер Анвин, сын издателя, у которого печатался Толкин, тот самый мальчик, который когда–то написал рецензию, решившую судьбу «Хоббита», теперь был студентом в Оксфорде и общался с Толкином. В сентябре 1947 года Толкин решил, что «Властелин Колец» достаточно близок к завершению, чтобы

можно было показать Рейнеру машинописный текст большей части книги. Прочитав роман, Рейнер доложил отцу в «Аллен энд Анвин», что «книга странная», однако же «сюжет блестящий и захватывающий». Он заметил, что война между тьмой и светом заставляет заподозрить в ней аллегорию, и вынес резюме: «Честно говоря, не представляю, кто это будет читать: дети половины не поймут; однако, если взрослые не сочтут ниже своего достоинства прочесть все это, им, безусловно, понравится». Рейнер был уверен, что книгу издавать стоит, и предложил разделить ее на части, заметив, что, по его мнению, кольцо Фродо отчасти напоминает кольцо Нибелунгов.

Стэнли Анвин переслал этот отзыв Толкину. Надо сказать, что Толкина всегда раздражало, когда историю о Кольце сравнивали с «Песнью о Нибелунгах» и операми Вагнера; как он однажды выразился, «Оба кольца были круглые, и на том сходство и кончается». Разумеется, предположение насчет аллегории ему тоже не понравилось. Он ответил: «Напрасно Рейнер подозревает, что это «аллегория». Думается мне, в любой повести, которая стоит того, чтобы ее рассказывать, есть «мораль». Но это не одно и то же. Даже война между тьмой и светом (а это он ее так назвал, а не я) для меня является всего лишь отдельным этапом истории, быть может, одним из проявлений ее сути, но никак не самой этой Сутью; и действующие лица — личности; то есть они, конечно, воплощают в себе некие универсалии, иначе бы они не смогли существовать, но они не являются всего лишь их воплощениями». Однако же в целом Толкина очень порадовало то, что Рейнер воспринял книгу с таким энтузиазмом, и в конце письма он сказал: «Главное — завершить то, что было задумано, а там пусть себе судят».

Однако же и на сей раз Толкин книгу не завершил. Он редактировал, придирался к мелочам, правил ранние главы и уделял этому столько времени, что его коллеги уже считали Толкина окончательно потерянным для филологии. Однако же заставить себя сделать финальный рывок он пока не мог.

Летом 1947 года он пересмотрел отдельные места из «Хоббита», где шла речь об отношении Голлума к Кольцу, с тем чтобы объяснение этого отношения выглядело более логично — или, точнее, лучше подходило к продолжению. Написав новый вариант, Толкин отправил его Стэнли Анвину, чтобы узнать его мнение. Анвин же ошибочно решил, что пересмотренные куски надлежит включить в очередное издание «Хоббита» без какого–либо дальнейшего обсуждения, и передал их прямиком в производственный отдел. Много месяцев спустя Толкину были присланы на вычитку гранки очередного издания — и он, к

изумлению своему, обнаружил в них новый вариант главы.

В следующие несколько месяцев «Властелин Колец» наконец–то был завершен. Толкин потом вспоминал, что он «в самом деле плакал», когда писал о том, как хоббитов чествовали как героев на Кормалленском поле. Он уже давно решил, что в конце книги главные герои должны отправиться на Запад за море, и поэтому с созданием главы, в которой Фродо отплывает из Серых Гаваней, огромная рукопись могла считаться практически законченной. Могла — но не считалась. «Мне нравится подбирать свисающие концы», — сказал как–то раз Толкин, и он желал позаботиться о том, чтобы никаких «свисающих концов» в его истории не осталось. А потому он сочинил эпилог, в котором Сэм Гэмджи рассказывал своим детям, что произошло с каждым из главных героев, которые не отплыли на Запад. Кончался эпилог тем, что Сэм внимает «вздохам и ропоту Моря, накатывающего на берега Средиземья».

Вот это уж точно был конец; но теперь Толкину предстояло редактировать, еще и еще, до тех пор, пока он не остался доволен всем текстом, а это заняло не один месяц. Он однажды сказал о книге: «Думаю, в ней найдется не так уж много фраз, над которыми я бы не покорпел». Потом Толкин отпечатал беловой экземпляр, пристроив машинку на своей кровати в мансарде, потому что на стол она не помещалась, двумя пальцами, потому что печатать десятью он так и не научился. Так что работа была окончена только к осени 1949 года.

Готовый машинописный текст Толкин дал прочитать Льюису. Тот прочел и написал в ответ:

> «Дорогой Толлерс!
> Действительно, «uton herian holbytlas» [«Восхвалим же хоббитов!» (древнеангл.). Древнеанглийским во «Властелине Колец» передается роханский, так что эта фраза вполне могла бы звучать во время чествования на Кормалленском поле, хотя в книге ее и нет].
> Я осушил чашу дивного вина и утолил давнюю жажду. Как только события набирают ход, повествование упорно поднимается все выше по величественному и ужасному склону (не лишенному, впрочем, зеленых лощин, без которых напряжение было бы действительно невыносимо), почти не имеющему себе равных во всей литературе, которую я знаю. Думается мне, что эта книга превосходит все остальные по крайней мере в двух отношениях: чистое со–творение: Бомбадил, Умертвия, эльфы, энты, словно бы из неиссякаемого источника, —

и композиция. И еще — gravitas [Серьезность (лат.)]. Ни один другой роман не мог бы столь уверенно отвести от себя обвинение в «эскапизме». Если он и заблуждается, то как раз в противоположном направлении: все победы надежды отсрочены, почти все оборачивается против героев, и это почти невыносимо. А длинная кода после эвкатастрофы, хотел ты того или нет, поневоле напоминает нам, что победа так же преходяща, как борьба, что, как говорит Байрон, «нет более сурового моралиста, чем удовольствие», и потому оставляет конечное впечатление глубокой меланхолии.

Конечно, это далеко не все. Мне хотелось бы, чтобы некоторые места ты написал по–иному или вообще опустил. И если я не включаю в это письмо никаких критических замечаний, то только потому, что ты уже слышал и отклонил большую часть из них (отклонил — это еще мягко сказано; по крайней мере, один раз ты отреагировал более чем бурно!). И даже если бы все мои возражения были справедливы (что, разумеется, маловероятно), недостатки, которые мне видятся, могут лишь отдалить и ослабить восхищение — великолепие, присущее этой истории, затмевает все погрешности. Ubi plura nitent in carmine non ego paucis offendi maculis [«Там, где большее блистает в песне, там я немалым покрыт позором» (лат.)].

Поздравляю. Все эти долгие годы потрачены не зря.

Твой Джек Льюис».

Толкин и сам не думал, что книга вышла безупречной. Но он сказал Стэнли Анвину: «Эта книга написана кровью моего сердца, густой или жидкой — уж какая есть; большего я не могу».

Часть 6
1949–1966:
УСПЕХ

Глава 1
ХЛОПАНЬЕ ДВЕРЬМИ

На создание «Властелина Колец» у Толкина ушло двенадцать лет. К тому времени как Толкин закончил книгу, ему было уже под шестьдесят.

Естественно, что теперь он стремился как можно скорее увидеть свой грандиозный труд напечатанным. Но Толкин не был уверен, что хочет публиковать его именно в «Аллен энд Анвин», невзирая на то, что обсуждал с издателями книгу во время работы над ней и они поощряли его и одобрили рукопись. Дело в том, что Толкин решил, будто наконец–то нашел издательство, которое согласится напечатать «Властелин Колец» вместе с «Сильмариллионом».

За прошедшие годы Толкин постепенно копил обиду на «Аллен энд Анвин» за то, что они отвергли «Сильмариллион», хотя на самом–то деле никто его не отвергал: Стэнли Анвин просто сказал, что он не годится в качестве продолжения к «Хоббиту». Однако же Толкин внушил себе, что, отвергнув книгу один раз, они будут отвергать ее всегда. А это было обидно: издать «Сильмариллион» ему очень хотелось. Нет, конечно, «Властелин Колец» можно считать самостоятельным произведением, но, поскольку в нем встречаются туманные отсылки к более ранней мифологии, было бы куда лучше опубликовать обе книги вместе. Но больше всего Толкину хотелось найти читателя для первого своего труда, и сейчас, казалось, возникла идеальная, а быть может, и единственная возможность сделать это. А потому, когда Мильтон Уолдман из издательства «Коллинз» выразил желание напечатать оба произведения, Толкин испытал большое искушение бросить «Аллен энд Анвин» и перейти на сторону Уолдмана.

Уолдман, католик, был представлен Толкину Джирвейсом Мэттью, ученым и священником–доминиканцем, который часто посещал собрания «Инклингов». Когда Уолдману стало известно, что Толкин только что закончил писать длинное продолжение к книжке «Хоббит», имевшей такой большой успех, он проявил интерес. И в конце 1949 года Толкин отправил ему объемистую рукопись. Но то был не «Властелин Колец» — то был «Сильмариллион». Более ранняя мифологическая работа, начатая в 1917 году под заглавием «Книга утраченных сказаний», по–прежнему оставалась незавершенной, однако Толкин снова взялся за нее параллельно с окончанием работы над «Властелином

Колец» и к тому времени успел достаточно привести рукопись в порядок, чтобы Уолдман мог это прочесть. Ничего подобного этой необычной повести об эльфах, злых силах и героизме, написанной архаичным стилем, Уолдману прежде видеть не доводилось. Часть рукописи была перепечатана на машинке, остальное — переписано красивым почерком. Уолдман сказал Толкину, что находит эту книгу примечательной и хотел бы ее опубликовать — при условии, что Толкин ее закончит. Толкин был счастлив. Уолдман прошел первое испытание: он пусть и условно, но принял «Сильмариллион»! Толкин пригласил Уолдмана в Оксфорд и вручил ему рукопись «Властелина Колец». Уолдман взял рукопись с собой в отпуск и принялся ее читать.

К началу января 1950 года Уолдман почти дочитал роман и снова выразил Толкину свое восхищение. «Это настоящий шедевр», — писал он, хотя добавлял, что его несколько тревожит объем книги. Но выражал надежду, что «Коллинз» все же сможет ее напечатать. На самом деле, издательство располагало всеми необходимыми для этого средствами. Большинство издательств, в том числе «Аллен энд Анвин», еще со времен войны испытывали трудности с бумагой; «Коллинз» же было не только издательством: оно занималось также торговлей канцелярскими принадлежностями, печатало ежедневники и имело свою типографию, так что могло располагать большими запасами бумаги, чем прочие фирмы. Что же до коммерческих перспектив длинных мифологических работ Толкина, то директор издательства, Уильям Коллинз, уже сказал Уолдману, что готов опубликовать любое сочинение автора «Хоббита». На самом–то деле Коллинз хотел приобрести в первую очередь «Хоббита», оказавшегося столь доходным; Толкин же, недовольный первым послевоенным переизданием «Хоббита», которое, в целях экономии, выпустили без цветных иллюстраций, сказал Уолдману, что не будет иметь ничего против, если они выкупят права на «Хоббита» у «Аллен энд Анвин» и перепечатают в соответствии с его первоначальным замыслом. Толкин был также сердит на «Аллен энд Анвин» за то, что они, по его мнению, поскупились на рекламу «Фермера Джайлза из Хэма», и думал, что «Коллинз» будет успешнее продавать его книги. Так что, казалось бы, никаких препятствий к сотрудничеству между Толкином и издательством «Коллинз» не существовало.

Однако же оставался один вопрос, с которым Уолдман желал разобраться. «Правильно ли я понимаю, что вы не имеете никаких обязательств перед «Аллен энд Анвин», ни моральных, ни юридических?» — писал он Толкину. Толкин ответил: «Я полагаю, что никаких юридических обязательств у меня перед ними нет. В

договоре на «Хоббита» есть пункт о преимущественном праве на публикацию моей следующей книги в течение двух месяцев. Однако этот пункт был выполнен благодаря a) последовавшему отказу Стэнли Анвина от «Сильмариллиона» и b) «Фермеру Джайлзу». Однако я состою в дружеских отношениях со Стэнли А. и, в особенности, с его вторым сыном Рейнером. Если это можно считать моральным обязательством, то да, моральные обязательства у меня перед ними есть. Однако я всеми силами постараюсь вырваться или освободить, по крайней мере, «Сильмариллион» и всю его родню, из медлительных пут «A&A», если сумею — по–хорошему, если получится».

На самом деле Толкин на тот момент вбил себе в голову, что «Аллен энд Анвин» ему если и не враги, то, по крайней мере, союзники весьма ненадежные; в то время как издательство «Коллинз», казалось, воплощало в себе все, на что он надеялся. На самом же деле все обстояло куда сложнее, как и показали последующие события.

В феврале 1950 года Толкин написал в «Аллен энд Анвин» и сообщил, что «Властелин Колец» окончен. Однако письмо было составлено таким образом, чтобы отбить у издательства всякий интерес к книге. «Мое детище вышло из–под контроля, — говорил он, — и получилось настоящее чудовище: необъятный, сложный, довольно мрачный и довольно жуткий роман, который совершенно не годится для детского чтения (если он вообще годится для чтения); на самом деле это продолжение не к «Хоббиту», а к «Сильмариллиону». Вы, конечно, сочтете меня смехотворным и занудным, но тем не менее я надеюсь опубликовать обе книги: и «Сильмариллион», и «Властелин Колец». Вот чего бы мне хотелось. Или ну их совсем. Что–то переписывать или сокращать я не возьмусь. Но я не буду на вас в претензии (да и не особенно удивлюсь), если вы отклоните столь невыгодное предложение». В самом конце, почти что в качестве примечания, он сообщил, что, по его прикидкам, обе книги вместе потянут более чем на миллион слов.

В ответном письме Стэнли Анвин признал, что объем книг и в самом деле представляет значительную проблему, и поинтересовался, нельзя ли их разбить «на три–четыре более или менее самостоятельных тома». Нет, отрезал Толкин, нельзя; единственное возможное деление — на две эти книги как таковые. В своем стремлении заставить Анвина отказаться от книги Толкин пошел еще дальше: «Я теперь не уверен, что многие, за исключением моих друзей — а ведь и среди моих друзей не все вытерпели до конца, — сумеют прочитать нечто столь затянутое. Пожалуйста, не думайте, что я сочту себя

незаслуженно обиженным, если вы предпочтете не иметь с этим дела». («Я очень надеюсь, что он оставит меня в покое и не станет требовать предъявить рукопись», — писал он Уолдману.)

Но сэр Стэнли Анвин (он получил титул сразу после войны) сдаваться не собирался. Он написал своему сыну Рейнеру, который тогда учился в Гарварде, и спросил его совета. Рейнер ответил: «Властелин Колец» — замечательная книга в своем собственном, достаточно любопытном стиле, и в любом случае издавать ее стоит. Лично мне, когда я ее читал, ни разу не показалось, что для ее понимания необходим «Сильмариллион». Автор говорит, что ничего переписывать не собирается, — но почему бы за это не взяться редактору, который мог бы вставить во «Властелина Колец» действительно важные сведения из «Сильмариллиона», не слишком раздув и без того огромный роман — а по возможности даже подсократив его. Толкин за это не возьмется — но, быть может, возьмется кто–нибудь, кому он доверяет и кто понимает его, скажем, один из его сыновей? Ну а если этот вариант неприемлем, тогда я бы посоветовал опубликовать «Властелина Колец» в хорошем издании, а насчет «Сильмариллиона» подумать–подумать, да и спустить на тормозах». И Стэнли Анвин неблагоразумно переслал копию этого письма Толкину.

Толкин пришел в ярость. В апреле 1950 года он написал Анвину, что письмо Рейнера подтвердило худшие его опасения, «а именно, что «Властелина» вы, может быть, и примете, но этого больше чем достаточно, и никаких довесков вам не требуется, тем более «Сильмариллиона», менять решение насчет которого вы даже не собирались! Отказ все–таки есть отказ, и он остается в силе. Но о том, чтобы тихой сапой «спустить на тормозах» «Сильмариллион» и взять «Властелина» (отредактированного), не может быть и речи! Я «Властелина Колец» на таких условиях не предлагал и не предлагаю — ни вам, ни кому–то другому, о чем я достаточно недвусмысленно заявил раньше. Я требую однозначного ответа, «да» или «нет», на то предложение, которое я сделал, а не на какие–то воображаемые возможные варианты».

Стэнли Анвин ответил 17 апреля: «Мне несказанно жаль, что вы сочли необходимым прислать мне ультиматум, тем более что речь идет о рукописи, которой я в окончательном и завершенном виде даже не читал. Поскольку вы требуете немедленно ответить «да» или «нет», ответ будет «нет»; но могло бы быть и «да», если бы вы дали мне время и возможность взглянуть на текст. Увы, придется оставить это как есть».

Толкин добился своей цели. Теперь ничто не препятствовало ему опубликовать книгу у Коллинза. Ну а пока что Толкин снова

переселялся: Мертон–Колледж предложил ему дом 99 по Холиуэлл, старый и очень своеобразный особняк со множеством комнат. Они с Эдит и Присциллой переехали туда с Мэнор–Роуд (всего в нескольких сотнях ярдов оттуда) в начале весны 1950 года. Присцилла теперь была студенткой Леди–Маргарет–Холла, одного из женских колледжей Оксфорда, Кристофер же жил отдельно и работал внештатным наставником на факультете английского языка и литературы, одновременно готовясь к экзамену на бакалавра литературы [В Оксфордском университете — более высокая ученая степень по сравнению с обычным бакалавром].

Мильтон Уолдман из издательства «Коллинз» в душе был совершенно уверен, что его фирма опубликует произведения Толкина. Он договорился, чтобы Толкин приехал в Лондон, в офис издательства, встретился с Уильямом Коллинзом и обсудил книги с производственным отделом. Казалось, все готово, стоит только подписать договор — и «Властелин Колец» пойдет в печать, так же как «Сильмариллион», когда будет закончен, хотя над «Сильмариллионом» Толкину предстояло еще очень немало потрудиться, приводя его в пригодный для публикации вид. Оставалось уладить только один вопрос: в мае 1950–го Уолдман приехал в Оксфорд и сообщил Толкину, что «Властелин Колец» «настоятельно требует сокращения». Толкин расстроился. Он сказал Уолдману, что «уже и так не раз сокращал, где только можно», но попробует еще раз, как только найдет время. Уолдман же в свою очередь был весьма обескуражен, узнав, что, по оценке Толкина, завершенный «Сильмариллион» окажется почти таким же объемным, как «Властелин Колец»; обескуражен он был потому, что прочитанная им рукопись таких грандиозных размеров отнюдь не достигала.

На самом–то деле оценка Толкина была непомерно завышена. Общий объем «Сильмариллиона» в том виде, в каком Толкин намеревался его опубликовать, составлял, возможно, около ста двадцати пяти тысяч слов, а может, и меньше, но уж никак не полмиллиона, как во «Властелине Колец». Однако же Толкин, который считал, что «Сильмариллион» не менее важен, чем «Властелин Колец», почему–то решил, что он вследствие этого не менее длинен. Вдобавок он передал Уолдману несколько дополнительных глав к «Сильмариллиону», не пояснив, какое отношение они имеют к остальному тексту, и это тоже ситуации не улучшило. Уолдман был несколько озадачен. «Эти тексты довольно сильно сбили меня с толку», — говорил он. В результате всего этого переговоры, что должны были бы пройти без сучка без задоринки, все больше запутывались.

А тут Уолдман уехал в Италию, где он проживал большую часть года, бывая в Лондоне только весной и осенью. Это усугубило положение. Уильям Коллинз мало что знал о книгах Толкина и предоставил вести все дело Уолдману. Но Уолдман заболел, и его осеннюю поездку в Лондон пришлось отложить. В результате в конце 1950–го, спустя год после того, как «Властелин Колец» был завершен, Толкин обнаружил, что ни на шаг не продвинулся к тому, чтобы опубликовать книгу. Слухи об этом дошли до Стэнли Анвина, и тот написал Толкину, что все еще не утратил надежду «добиться привилегии быть причастным к публикации книги». Но Толкина было не так–то просто заманить обратно в «Аллен энд Анвин». Ответил он вполне доброжелательно, но о романе в письме не говорилось ни слова.

Большую часть времени Толкин был занят научной и административной работой в Оксфорде. Он несколько раз побывал в Бельгии (по научным делам) и в Ирландии (в качестве экзаменатора). Так миновал еще год, а дело с публикацией не двигалось. В конце 1951 года Толкин написал длинное письмо, почти в десять тысяч слов, Мильтону Уолдману. В этом письме он изложил всю структуру своей мифологии, надеясь таким образом доказать Уолдману, что «Сильмариллион» и «Властелин Колец» взаимозависимы и неразделимы. Но к марту 1952 года договор с «Коллинзом» все еще не был подписан, и «Сильмариллион» все еще не был готов к изданию. Уильям Коллинз находился в Южной Африке, Уолдман — в Италии, бумага резко подорожала. Толкин (который, по правде говоря, был не менее ответствен за задержку, чем все остальные) написал Коллинзу, что он, Толкин, только даром теряет время. Пусть немедленно публикуют «Властелина Колец», а не то он отошлет рукопись обратно в «Аллен энд Анвин». Результат предвидеть не составило труда: Уильям Коллинз любил ультиматумы не больше, чем Стэнли Анвин. Он вернулся из Южной Африки, прочел письмо Толкина и 18 апреля 1952 года ответил: «Боюсь, нас пугает колоссальный объем книги. При нынешних ценах на бумагу это означает, что расходы окажутся непомерно велики», и сказал, что Толкину, пожалуй, и впрямь стоит отослать рукопись обратно в «Аллен энд Анвин».

Да, но захотят ли «Аллен энд Анвин» снова иметь с ним дело?

22 июня 1952 года Толкин написал Рейнеру Анвину, который к тому времени вернулся в Англию и теперь работал в фирме своего отца: «Что же до «Властелина Колец» и «Сильмариллиона», они застряли там, где и были. Первый окончен, второй до сих пор не окончен (или не отредактирован), и оба пылятся без толку. Я сильно умерил свои требования. Лучше уж что–нибудь, чем вовсе ничего! Несмотря на то что для меня это части единого целого и

«Властелин Колец» читался бы куда лучше (и проще) вместе с «Сильмариллионом», я был бы рад опубликовать хотя бы часть. Время поджимает. Как насчет «Властелина Колец»? Нельзя ли как–нибудь отпереть дверь, которую я сам же и захлопнул?»

Глава 2
РИСКОВАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

Рейнера Анвина дважды упрашивать не пришлось. Он посоветовал Толкину как можно скорее отослать рукопись в «Аллен энд Анвин» заказной бандеролью. Но у Толкина был только один окончательно отредактированный машинописный экземпляр книги, и доверять его почте он побаивался. Он хотел передать папку лично, а вышло так, что возможность сделать это представилась только через несколько недель. В августе Толкин отдыхал в Ирландии и в том же месяце навестил Джорджа Сэйера, друга К. С. Льюиса, преподавателя Молверн–Колледжа [Мужская привилегированная частная средняя школа в городе Грейт–Молверн], часто бывавшего у «Инклингов». В то время как Толкин гостил у Сэйера в Вустершире, хозяин записал на магнитофон, как Толкин читает и поет отрывки из «Хоббита» и машинописного текста «Властелина Колец», который он захватил с собой. Прослушав записи, Толкин «был немало удивлен, обнаружив, что декламация звучит весьма недурно и что сам я, если можно так сказать, недурной рассказчик». Много лет спустя, уже после смерти Толкина, эти записи были выпущены на долгоиграющих пластинках.

Толкину никогда прежде не доводилось видеть вблизи магнитофон. А потому он сделал вид, что машинка Сэйера внушает ему немалые подозрения, и на всякий случай произнес в микрофон «Отче наш» на готском, чтобы изгнать бесов, которые могли таиться внутри этой штуковины. Однако после сеансов записи в Молверне это устройство произвело на него такое впечатление, что он приобрел такую же машинку для себя и принялся развлекаться тем, что наговаривал на магнитофон свои тексты. За несколько лет до того Толкин сочинил пьесу, которая вполне могла бы сгодиться для радиопостановки. Пьеса была озаглавлена «Возвращение Беорхтнота, сына Беорхтхельма», и представляла собой не что иное, как «продолжение» «Битвы при Мэлдоне» [Знаменитая древнеанглийская поэма, в которой описано сражение между англосаксами и викингами, завершившееся поражением англосаксов. См. в изд. Дж. Р. Р. Толкин. Возвращение Беорхтнота. 2001]. В ней описан вымышленный эпизод после сражения. Двое слуг эрла Беорхтнота приходят ночью на поле битвы, чтобы отыскать тело своего господина. Написанная современным аналогом древнеанглийского аллитерационного стиха, она знаменует конец

героической эпохи, чьи идеалы воплощает юный романтик Торхтхельм. Ему противопоставлен практичный старый крестьянин Тидвальд. К 1945 году «Возвращение Беорхтнота» уже существовало, но свет увидело только в 1953 году, в «Эссейз энд стадиз». На сцене пьеса никогда не ставилась, но через год после публикации была передана по третьей программе Би–би–си [Одна из трех основных радиопрограмм Би–би–си, передававшая классическую и современную музыку, беседы на научные и политические темы, радиопьесы]. Эта постановка Толкину ужасно не понравилась: актеры совершенно не обращали внимания на аллитерационный стих и декламировали его так, будто это был обычный пятистопный ямб. Он сам записал эту пьесу у себя в кабинете на магнитофон так, как это его устраивало. Он не только читал за обоих персонажей, но еще и весьма искусно создавал шумовые эффекты. Несмотря на то что запись эта была сделана исключительно для собственного удовольствия, она наглядно демонстрирует недюжинные актерские данные Толкина. Он проявил эти таланты еще до войны, когда в 1938 и 1939 годах играл Чосера в «Летних развлечениях», поставленных в Оксфорде Невилл ом Когхиллом и Джоном Мейзфилдом. В этих спектаклях он читал наизусть «Рассказ Монастырского Капеллана», а на следующий год — «Рассказ Мажордома». Толкин без особого восторга относился к драме как к роду искусства, полагая, что она чересчур антропоцентрична и потому ограниченна. Однако на художественное чтение стихов его неприязнь не распространялась — и, видимо, своего «Беорхтнота» он относил именно к этой категории.

19 сентября 1952 года Рейнер Анвин приехал в Оксфорд и забрал машинописный текст «Властелина Колец». Его отец, сэр Стэнли Анвин, был тогда в Японии, и потому предпринимать следующие шаги пришлось самому Рейнеру. Он решил не тратить времени на перечитывание объемистого тома, поскольку уже видел практически все пять лет тому назад и до сих пор находился под впечатлением прочитанного. Вместо этого он сразу же погрузился в вычисление того, во что обойдется издание, поскольку был озабочен тем, чтобы цена книги не превышала возможностей среднего покупателя (и, в частности, публичных библиотек). После всех расчетов и обсуждений в издательстве решили, что лучше всего разделить книгу на три тома, которые, при минимальной наценке, можно продавать по двадцати одному шиллингу. Двадцать один шиллинг — это все равно было очень много, куда больше, чем стоили прочие романы, даже самые дорогие, но дешевле уже не получалось. Рейнер отправил отцу телеграмму, спрашивая, издавать ли книгу, признавая, что

«предприятие рискованное» и предупреждая, что фирма может потерять на этом проекте до тысячи фунтов. Но в конце заверял, что, по его мнению, книга гениальная. Сэр Стэнли ответил телеграммой: «Издавайте».

10 ноября 1952 года Рейнер написал Толкину, сообщая, что издательство хотело бы заключить на «Властелина Колец» контракт с участием в прибылях. Это означало, что обычных авторских процентов с каждого изданного экземпляра Толкину не полагалось. Вместо этого ему полагалась «половина прибыли», то есть до тех пор, пока издание не окупится, он не получал вообще ничего, зато ему причиталась половина возможной прибыли издательства. Этот способ в свое время использовался повсеместно, но теперь другие издательства от него практически отказались. Сэр Стэнли же до сих пор предпочитал его, когда имел дело с «невыгодными» книгами. Это позволяло продавать книги по более дешевой цене, поскольку избавляло от необходимости включать в стоимость каждого экземпляра процент на покрытие «авторских». С другой стороны, если, паче чаяния, книга оказывалась бестселлером, автор при такой системе выручал куда больше, нежели при получении фиксированного процента. Впрочем, «Аллен энд Анвин» не рассчитывали продать больше нескольких тысяч экземпляров: книга была слишком толстая, слишком непривычная и не ориентировалась на определенного читателя, поскольку не входила ни в категорию детской литературы, ни в категорию романов для взрослых.

Среди друзей Толкина вскоре разнеслась весть, что роман наконец–то собираются издавать. Льюис прислал ему поздравительное письмо и заметил: «Думается, затянувшаяся беременность отняла у тебя слишком много жизненных сил; теперь, когда книга пошла, появится новая зрелость и свобода». Однако на тот момент Толкин свободным себя отнюдь не ощущал. Он хотел еще раз перечитать рукопись, прежде чем она отправится в печать, и устранить оставшиеся противоречия. Хорошо еще, что Рейнер Анвин не стал просить его подсократить книгу, как Мильтон Уолдман! Весьма щекотливой проблемой являлись и приложения к книге, которые Толкин задумал уже давно. В них должны были содержаться сведения, важные для сюжета, однако же слишком громоздкие, чтобы вставить их в повествование. Пока что все эти приложения существовали только в виде черновых набросков и разрозненных заметок, и Толкин видел, что на приведение их в порядок потребуется очень много времени. Он был также озабочен необходимостью сделать к книге понятную и точную карту, потому что в результате многих

изменений в топографии и повествовании карта, которую он использовал при работе над книгой (начерченная Кристофером много лет тому назад), перестала соответствовать тексту. А помимо всего этого, на нем висела многолетняя задолженность по научным трудам, и ее откладывать тоже было больше нельзя. И в довершение Толкин снова решил переехать.

Дом на Холиуэлл–Стрит, где Толкины обитали с 1950 года, был очень своеобразным, но жить там было практически невозможно: под окнами круглыми сутками гудел поток машин. «Такой очаровательный домик, — писал Толкин, — но совершенно непригодный для жизни: спать нельзя, работать нельзя, все шатается и трещит от грохота, и воняет выхлопными газами. Такова современная жизнь. Мордор среди нас». Они с Эдит теперь остались одни. Присцилла уехала работать в Бристоль. А Эдит страдала ревматизмом и артритом, и ей сделалось трудно ходить по многочисленным лестницам. К весне 1953–го Толкин нашел и приобрел домик в Хедингтоне, тихом пригороде Оксфорда, к востоку от города. И в марте они с Эдит переехали.

Несмотря на неразбериху, связанную с переездом, к середине апреля Толкину удалось окончательно отредактировать то, что должно было стать первым томом «Властелина Колец», и он отправил рукопись в «Аллен энд Анвин», чтобы печатники могли начать работу. Вскоре после этого он отослал и второй том. Он уже обсудил с Рейнером Анвином вопрос об отдельных заглавиях для каждого из томов: Рейнер счел, что так будет лучше, чем издавать все три тома под одним названием с порядковыми номерами. Несмотря на то что книга была единым произведением, а не трилогией — Толкин всегда это подчеркивал, — решили, что предпочтительнее выпускать роман том за томом под разными названиями. Таким образом, каждый том получит отдельную серию откликов, и, быть может, удастся как–то замаскировать непомерный объем книги. Толкин все–таки остался недоволен этим разделением и настоял на том, чтобы сохранить общее название «Властелин Колец». Однако после долгих споров они с Рейнером наконец сошлись на том, что первый том будет называться «Братство Кольца», второй — «Две твердыни», а третий — «Возвращение короля», хотя сам Толкин предпочел бы озаглавить третий том «Война Кольца»: «Возвращение короля» слишком многое сообщало заранее.

«Производственные проблемы», с которыми пришлось столкнуться Толкину, были примерно теми же, что и при издании «Хоббита». Он очень заботился о том, чтобы его драгоценное произведение вышло именно в том виде, как ему представлялось,

но зачастую его замыслы отвергались, в основном из соображений цены. В числе прочего, ему сообщили, что красная краска для «огненных букв», проступающих на Кольце, обойдется чересчур дорого, так же как и полутоновое изображение для факсимиле изготовленных Толкином страниц из «Книги Мазарбула», обгоревшего и изорванного манускрипта, найденного в Копях Мории. Последнее Толкина особенно огорчило: он ведь потратил на изготовление этого факсимиле не один час, исписывая страницы рунами и эльфийским алфавитом, а потом нарочно портя их, обжигая края и пачкая бумагу веществом, похожим на засохшую кровь. А теперь оказалось, что все его труды пропали даром [В конце концов эти страницы из «Книги Мазарбула» были опубликованы в «Толкиновском календаре» за 1977 год. (Прим. авт.)]! Он также немало рассердился, впервые увидев гранки: дело в том, что наборщики поменяли некоторые слова, приспособив их к общепринятой орфографии: «dwarves» заменили на «dwarfs», «elvish» на «elfish» и, «самое страшное», как выразился Толкин, «elven» — на «elfin» [Соответственно, «гномы», «эльфийский» и «эльфийский» в сложных словах типа «elven–ship» («эльфийский корабль») или «Elven–tongue» («эльфийское наречие»). Во всех случаях Толкин предпочитает архаичные варианты тем, что употреблялись в современном ему языке. Дело еще и в том, что последние в сознании носителя английского языка неразрывно связаны с «крошечными эльфиками с прозрачными крылышками», а Толкин всячески стремился избегать подобных ассоциаций. Нельзя не отметить, что, по крайней мере, в современной фэнтези слова «dwarves» («гномы») и «elvish» («эльфийский») пишутся, как правило, именно так, как у Толкина.]. Наборщикам сделали выговор; они оправдывались тем, что просто руководствовались словарным написанием. Кстати, с подобными же «исправлениями» Толкину пришлось столкнуться в 1961 году, когда издательство «Паффин–букс» выпустило «Хоббита» в мягкой обложке, причем в тот раз, к ужасу Толкина, ошибка была обнаружена лишь тогда, когда книга уже пошла в магазины. До сих пор не решилась и проблема с картой; точнее, не с картой, а с картами, поскольку теперь сочли необходимым добавить в книгу еще и план Шира. «Я зашел в тупик, — писал Толкин в октябре 1953 года. — Можно сказать, я в панике. Карты необходимы, и необходимы срочно; но я просто не в состоянии их сделать». В конце концов Толкин поручил чертить карты своему первоначальному картографу, Кристоферу, который как–то ухитрился разобраться в отцовских многократно правленных, изменявшихся и нередко противоречивших друг другу черновых схемах, и нарисовать на их основе удобочитаемую

большую карту Средиземья с четкими надписями, и отдельно — план Шира.

Первый том «Властелина Колец» должен был выйти летом 1954 года, а остальные два следом за ним с короткими интервалами. Тираж был невелик: всего три с половиной тысячи экземпляров у первого тома, а у двух следующих — чуть поменьше. Издательство рассчитывало, что этого как раз должно хватить на то, чтобы удовлетворить умеренный интерес, который вызовет книга. Что же до рекламы, одна только мысль об аннотации на суперобложку приводила Рейнера Анвина в панику: ну как охарактеризовать в двух словах книгу столь необычную? В конце концов они с отцом призвали на помощь трех авторов, которым наверняка было что сказать об этой книге: Наоми Митчисон, страстную поклонницу «Хоббита», Ричарда Хьюза, который давным–давно одобрительно отозвался о том же «Хоббите», и К. С. Льюиса. Все трое расхвалили книгу как могли. Миссис Митчисон сравнила «Властелина Колец» с научной фантастикой и «Смертью Артура» Томаса Мэлори, а Льюис провел параллель с Ариосто. («Я Ариосто не читал, — сказал как–то Толкин, — а если бы прочел, он бы мне ужасно не понравился».)

Приближался день выхода первого тома. С тех пор как Толкин впервые взялся за книгу, миновало шестнадцать лет. «Я ужасно боюсь публикации, — признавался он своему другу, отцу Роберту Марри. — Ведь не обращать внимания на то, что станут говорить, будет невозможно. Я выставил свое сердце под выстрелы».

Глава 3
ЛИБО ДЕНЬГИ, ЛИБО СЛАВА

«Эта книга — как гром с ясного неба. Сказать, что с ней в наш век, с его почти патологическим отсутствием романтизма, внезапно вернулся героический эпос во всем своем беззастенчивом великолепии и высокопарности, — значит ничего не сказать. Для нас, живущих в эту странную эпоху, это возвращение — и утешение, с ним связанное, — несомненно, очень важно. Но для самой истории романа истории, восходящей ко временам «Одиссеи» и далее в глубь веков, — это не возвращение, а прогресс, более того — революция, завоевание новой территории». Эта рецензия на «Братство Кольца» появилась в журнале «Тайм энд тайд» 14 августа 1954 года, через несколько дней после выхода книги. Ее автором был К. С. Льюис.

Быть может, Льюис немного переборщил, написав аннотацию, а потом еще и рецензию, но ему хотелось сделать все, чтобы помочь Толкину. Правда, перед тем, как отправить текст для обложки Рейнеру Анвину, Льюис предупредил Толкина: «Даже если мой отзыв устроит вас обоих, советую подумать дважды, прежде чем его использовать: меня теперь не любят и, кажется, чем дальше, тем сильнее, так что мое имя может принести больше вреда, чем пользы». Слова эти оказались пророческими: не один критик из тех, что давали рецензии на книгу в августе 1954–го, продемонстрировал просто из ряда вон выходящую враждебность по отношению лично к Льюису и использовал (или потратил) немалую часть объема своей статьи на то, чтобы высмеять Льюисово сравнение Толкина с Ариосто. Эдвин Мьюир писал в «Обзервере»: «Только настоящий шедевр способен пережить тот залп похвалы, что обрушился на него с обложки», и, хотя Мьюир признавал, что книга ему понравилась, он заявлял, что остался разочарован «недостатком человеческой беспристрастности и «глубины, каких требовал сюжет. Мистер Толкин, — продолжал Мьюир, — описывает грандиозный конфликт между добром и злом, от которого зависит будущее жизни на земле. Но все добрые у него неизменно добры, а все злодеи злы до мозга костей; в его мире нет места фигуре злого и в то же время трагичного Сатаны». Очевидно, мистер Мьюир совсем забыл о Голлуме — и злом, и трагичном, и почти что достигшем искупления [Нельзя не отметить, однако, что если мистер Мьюир рецензировал только «Братство Кольца», то об этом он мог и не знать]. Несколько критиков придрались к стилю

Толкина — в частности, Питер Грин из «Дейли телеграф» писал, что он «колеблется между прерафаэлитами и детским журнальчиком», в то время как Дж. У. Ламберт в «Санди тайме» заявлял, что у романа две странные особенности: «полное отсутствие какого бы то ни было религиозного духа и, по сути дела, полное отсутствие женщин» (ни то ни другое нельзя назвать вполне справедливым, однако же оба заявления позже были неоднократно повторены другими критиками). Но при всем при том было также много рецензий восторженных, и даже среди насмешников некоторые склонялись к положительной оценке. Грин из «Дейли телеграф» поневоле признавал, что книга, «несомненно, завораживает», в то время как Ламберт из «Санди тайме» писал: «Что же это? Эксцентричный бред с идеей? Нет, благодаря энергии и яркости повествования книга поднимается выше этого уровня». Возможно, самое толковое замечание сделал обозреватель «Оксфорд тайме»: «У людей строгих и практичных на этот роман времени не найдется. Те же, чье воображение ждет только искры, чтобы воспламениться, будут полностью захвачены повествованием, сделаются участниками похода, полного событий, и пожалеют, что впереди еще только два тома».

Рецензии были достаточно благоприятными, чтобы способствовать продажам, и вскоре сделалось ясно, что на удовлетворение спроса трех с половиной тысяч экземпляров первого тома не хватит. Поэтому через полтора месяца после публикации заказали новый тираж. Сам Толкин писал: «Что до отзывов, они куда одобрительнее, чем я рассчитывал». В июле он посетил Дублин, чтобы получить почетную степень доктора литературы в Национальном университете Ирландии. В октябре он снова отправился за границу: ему присвоили еще одну почетную степень, в Льеже. Все эти поездки и другие дела сильно замедляли работу над приложениями к «Властелину Колец». Текст третьего тома был уже набран. Толкин решил изъять несколько сентиментальный эпилог с участием Сэма и его детишек. Однако печатать третий том не представлялось возможным, пока не будут готовы приложения, а также подробная карта Гондора и Мордора, которую Толкин теперь считал необходимой, и указатель имен и названий, обещанный в предисловии к первому тому.

Второй том, «Две твердыни», вышел в середине ноября. Тон отзывов был примерно такой же, как и при выходе первого тома. Теперь поклонники с нетерпением ждали выхода третьего: ведь история оборвалась на том, что Фродо оказался пленником в башне Кирит–Унгол, и обозреватель «Иллюстрейтед Лондон ньюс» выразил общее мнение: «Ожидание невыносимо». А тем

временем крайний срок, назначенный «Аллен энд Анвин» для сдачи приложений, миновал, а никаких приложений в издательство не поступило. «Я ужасно извиняюсь, — писал им Толкин. — Я стараюсь изо всех сил». Вскоре после этого ему все–таки удалось отправить в издательство часть материалов — часть, но не все.

В Америке «Хоутон–Мифлин» выпустило «Братство Кольца» в октябре; «Две твердыни» вышли почти сразу же вслед за первым томом. Американские рецензии на первые два тома были в целом осторожными. Но восторженные статьи У. Х. Одена в «Нью–Йорк тайме» — «Ни одна другая книга, прочитанная мною за последние пять лет, не доставила мне такой радости», — помогли поднять спрос, и в течение следующего года американские читатели раскупили немало экземпляров книги.

К январю 1955 года, через два месяца после выхода второго тома, Толкин все еще не закончил приложения, которые требовались так срочно. Он уже не надеялся сделать указатель имен, обнаружив, что этот труд займет слишком много времени. Освободившись от этой ноши, за январь и февраль он успел подготовить еще некоторую часть материала. Однако он обнаружил, что задача это безумно трудная. Одно время он даже рассчитывал составить отдельный том «для специалистов» с подробностями, касающимися истории и языков выдуманных им народов, и собрал множество заметок на эту тему. Но теперь все это приходилось срочно сокращать, поскольку издательство могло предоставить ему только небольшой объем в конце третьего тома. Однако же Толкин торопился как мог, подстегиваемый письмами, которые уже начал получать от читателей, воспринявших книгу почти как исторический источник, и требовавших дополнительной информации по самым разным темам. Такое отношение к книге льстило Толкину, поскольку именно на это он и надеялся, однако же он замечал: «Теперь я уже не уверен в том, не опасна ли тенденция воспринимать все это как некую затянувшуюся игру — по крайней мере, для меня, поскольку я нахожу в подобных вещах некую роковую притягательность». Тем не менее мысль о том, что подготовленные с такими трудами сведения о ширском календаре, наместниках Гондора или тенгвар Феанора будут с жадностью проглочены многими читателями, сильно подбадривала Толкина.

К марту приложения все еще не были окончены, и в издательство «Аллен энд Анвин» начали приходить гневные письма читателей, жаждущих увидеть наконец третий том. Издателям стало очевидно, что книга возбуждает куда больший

интерес, чем обычный роман. Рейнер Анвин умолял Толкина побыстрее завершить работу, но окончательный вариант приложений попал в типографию только 20 мая. Последняя карта, сделанная Кристофером, который работал над ней сутками напролет, была прислана еще несколько недель тому назад, так что теперь новых задержек не ожидалось. Однако же они случились. Сперва таблица рун оказалась напечатана неправильно, и Толкину пришлось ее исправлять. Потом у типографии возникли еще какие–то вопросы. Их переслали Толкину — а он к тому времени уехал отдыхать в Италию.

Он путешествовал с Присциллой пароходом и поездом, а Эдит тем временем отправилась в круиз по Средиземному морю с тремя подругами. Толкин вел дневник и записывал свои впечатления. Он «очутился в самом сердце христианства: изгнанник, вернувшийся с границ, из дальних провинций домой, или, по крайней мере, в дом своих отцов». В Венеции, среди каналов, он ощутил себя «почти свободным от проклятой заразы двигателей внутреннего сгорания, душащих весь мир». Позднее он писал: «Венеция казалась невероятно, эльфийски прекрасной. Для меня это было как сон о Старом Гондоре, или Пеларгире Нуменорских Кораблей, до возвращения Тени». Они с Присциллой поехали дальше, побывали в Ассизи. В Ассизи Толкина наконец настигло письмо с вопросами от типографии. Однако ответить на них он не мог, пока не воссоединится со своими записями, оставшимися дома, в Оксфорде. Так что «Возвращение короля» попало на прилавки только 20 октября, почти через год после выхода «Двух твердынь». На последней странице стояли извинения за отсутствие обещанного указателя.

Теперь, когда вышли все три тома, критики могли наконец высказаться по поводу всего «Властелина Колец» в целом. К. С. Льюис напечатал в «Тайм энд тайд» еще одну хвалебную рецензию. «Эта книга, — утверждал он, — слишком оригинальна и слишком многогранна, чтобы судить о ней с первого прочтения. Но мы сразу понимаем, что она каким–то образом изменила нас. Мы стали иными». К хору похвал присоединился еще один голос: Бернард Левин из «Трут» объявил, что считает эту книгу «одним из наиболее примечательных литературных произведений нашего времени, а быть может, и всех времен. В наши смутные дни утешительно еще раз убедиться в том, что смиренные наследуют землю». Впрочем, многие продолжали критиковать стиль. Джон Меткаф из «Санди тайме» писал: «Мистер Толкин чересчур часто пользуется языком вроде библейского, увитым инверсиями, инкрустированным архаизмами». А Эдвин Мьюир напечатал в «Обзервере» очередную разгромную статью, озаглавленную «Мир

мальчишек». «Самое удивительное, — писал он, — что все персонажи на самом деле — мальчишки, переодетые взрослыми героями. Хоббиты, или полурослики, — обыкновенные мальчишки, герои–люди перешли в старший класс; но вряд ли кто–то из них знает что–то о женщинах, кроме как понаслышке. Даже эльфы, гномы и энты — и те безнадежно ребячливы и никогда не достигнут полового созревания».

«К черту Эдвина Мьюира с его затянувшимся подростковым инфантилизмом! — фыркнул Толкин. — В его годы пора бы и поумнеть. Имей он степень магистра, я назначил бы его преподавать поэзию — вот уж сладкая была бы месть!»

К этому времени все читатели разделились на два противоположных лагеря. У книги появились свои поборники и свои враги. У. Х. Оден писал: «Похоже, нет никого, кто относился бы к ней сдержанно: одни, подобно мне, считают ее шедевром в своем роде, другие же на дух ее не переносят». И так оно и продолжалось до конца жизни Толкина: с одной стороны — неумеренные восхваления, с другой — глубочайшее презрение. Сам Толкин в целом был не против, более того, его это забавляло. Он написал на этот счет такой стишок:

Книга «Властелин Колец» —
Любопытный образец:
Нравится — молчишь,
Не нравится — громишь!

Оксфордский университет не то чтобы «громил». Оксфордские доны были для этого чересчур вежливы. Но, как рассказывал сам Толкин, коллеги ему говорили: «Теперь понятно, чем вы занимались все эти годы! И почему обещанное издание того, комментарии к этому, грамматики и глоссарии оставались неоконченными. Вы достаточно поразвлекались — займитесь же хоть теперь делом!» Первым откликом на это требование стала лекция, которую Толкин должен был прочесть еще несколько месяцев тому назад, в рамках цикла, посвященного кельтскому элементу в английском языке. Толкин прочел эту лекцию под названием «Английский и валлийский» 21 октября 1955 года, на следующий день после выхода «Возвращения короля». Это было длинное и довольно расплывчатое исследование взаимоотношений между двумя языками, но замышлялось оно, согласно пояснению Толкина, всего лишь как вступительная лекция к соответствующему курсу. Конечно, она содержит немало ценных сведений автобиографического плана об истории возникновения интереса к языкам у самого Толкина. В начале

лекции Толкин извинился за то, что она так запоздала, и в оправдание скромно добавил, что в числе прочих дел, препятствовавших ему выступить с ней прежде, была «необходимость завершить наконец одну крупную «работу», если это можно так назвать, и в этой работе содержатся в наиболее естественном для меня виде образцы того, что дало изучение кельтских языков мне лично».

К тому времени сделалось уже окончательно ясно, что «Аллен энд Анвин» не потеряет тысячу фунтов на «Властелине Колец». Количество проданных экземпляров росло пока что медленно, но верно. Интерес к книге еще заметнее оживился после того, как по радио была передана постановка по «Властелину Колец». Толкин ее, естественно, не одобрил, ибо если он недолюбливал драму в целом, то к «переработке» литературных произведений относился вдвойне отрицательно, полагая, что в результате они опускаются до чисто бытового, банального уровня. Однако, как бы то ни было, после этой передачи популярность книги возросла, и в начале 1956 года Толкин получил первую выплату от «Аллен энд Анвин» согласно их соглашению об «участии в прибылях», чек на более чем три с половиной тысячи фунтов. Эта сумма существенно превышала его годичное университетское жалованье. Толкин, конечно, очень порадовался, но зато теперь ему впервые пришлось всерьез столкнуться с проблемой подоходного налога. В 1956 году объем продаж продолжал расти, и год спустя Толкину вручили чек на значительно большую сумму. В свете этого нежданного источника доходов Толкин даже пожалел, что не ушел на пенсию в шестьдесят пять лет и согласился доработать до шестидесяти семи (обычный возраст выхода на пенсию в Оксфорде). Тревоги из–за налогов, которые вскорости полностью оправдались, привели к тому, что, когда в 1957 году католический университет Маркетта, расположенный на Среднем Западе Америки, предложил Тол кину купить у него рукописи его основных опубликованных произведений, Толкин с радостью ухватился за это предложение. Ему заплатили 1250 фунтов стерлингов (тогдашний эквивалент пяти тысяч долларов), и весной 1958 года рукописи «Хоббита», «Властелина Колец» и «Фермера Джайлза из Хэма», а заодно с ними и неопубликованный «Мистер Блисс» уехали за море.

Помимо денег, «Властелин Колец» приносил Толкину множество писем от поклонников. В числе прочих ему пришло послание от настоящего, живого Сэма Гэмджи. Сэм Гэмджи книги не читал, но слышал, что там фигурирует его тезка. Толкин пришел в восторг, объяснил, как он придумал это имя, и отправил мистеру Гэмджи все три тома с автографами. Позднее

он говорил: «Некоторое время я боялся, что в один прекрасный день получу письмо с подписью «С. Голлум». И что бы я стал делать тогда?»

«Аллен энд Анвин» начали заключать договора о переводе «Властелина Колец» на иностранные языки. Открывает список голландское издание, опубликованное в 1956 году, после того как Толкин безжалостно раскритиковал первые попытки переводчика передать на своем родном языке всю сложную систему имен. В конце концов Толкин остался доволен голландским переводом — а вот шведский перевод, вышедший три года спустя, порадовал его куда меньше. Толкин был не только недоволен самим качеством перевода (шведский он знал достаточно прилично), но еще и рассержен предисловием, которое переводчик предпослал книге. Толкин назвал это предисловие «пятью страницами нахальной чепухи» [Интересно, что бы он сказал о предисловиях некоторых русских переводчиков?]. В нем переводчик интерпретировал «Властелина Колец» как аллегорию современной международной политики, сообщал о том, что Толкин рассказывал эту историю «стайке внучат», и описывал самый что ни на есть тривиальный пригород Оксфорда Хедингтон, где ныне проживал Толкин (этот пригород находится на чуть заметной возвышенности, известной как «Хедингтонский холм»), как «пейзаж, тонущий в зелени садов, над которым вздымаются Упокоища — Хедингтонские холмы». По настоятельному требованию Толкина в последующих изданиях это предисловие сняли.

В последующие годы «Властелин Колец» был переведен на все основные европейские языки, и не только на европейские. В результате Толкину стали отовсюду приходить приглашения. Но он принял только одно из них: в 1958 году он съездил в Голландию, и поездка оказалась весьма успешной. Он был заранее уверен, что его ждет теплый прием, потому что уже в течение нескольких лет дружил с профессором Питом Хартингом из Амстердамского университета, который встретил его по прибытии и принял по–королевски. Главным событием стал «Хоббитский обед», организованный роттердамским книготорговцем, на котором Толкин произнес остроумную речь на английском, пересыпанную голландским и эльфийским. Отчасти то была пародия на прощальную речь Бильбо в начале «Властелина Колец». В конце выступления Толкин сказал: «Прошло ровно двадцать лет с тех пор, как я всерьез принялся составлять историю наших досточтимых предков, хоббитов Третьей Эпохи. Я смотрю на Восток, на Запад, на Север, на Юг — и Саурона нигде не видать; однако же у Сарумана развелось

множество потомков. У нас, хоббитов, нет против них никакого волшебного оружия. Однако, господа мои хоббиты, я предлагаю вам такой тост: за хоббитов! Пусть они переживут всех Саруманов и снова увидят деревья, распускающиеся по весне!»

К тому времени стало очевидно, что «Властелин Колец» сделался чем–то вроде международного бестселлера. Стэнли Анвин предупредил Толкина, что им вот–вот начнут поступать запросы на право создания фильмов, и они договорились о том, что будут придерживаться следующей политики: либо «уважительное обращение» с книгой, либо большие деньги. Как выразился сам сэр Стэнли, «либо деньги, либо слава». Первая попытка знакомства со стороны мира кино состоялась в конце 1957 года. К Толкину подступились трое американских бизнесменов, которые продемонстрировали ему эскизы к предполагаемому мультфильму по «Властелину Колец». Эти господа (мистер Форрест Дж. Акерманн, мистер Мортон Грейди Циммерман и мистер Эл Бродакс) привезли также сценарий будущего мультфильма. Прочитав этот сценарий, Толкин убедился, что ни о каком уважении к книге там и речи не идет. Многие имена были искажены (к примеру, вместо «Боромира» везде стояло «Боримор»), практически все передвижения пешком были выброшены, и вместо этого Хранителей повсюду возили на себе орлы, а эльфийские дорожные хлебцы лембас были обозваны «пищевым концентратом». Особой славы это не сулило, а так как больших денег компания платить тоже не собиралась, то на том дело и кончилось. Но это дало некоторое представление о том, что будет дальше. А тем временем Толкин продолжал получать неплохие доходы с проданных книг. «Боюсь, я не могу отрицать, что у «более приземленных проявлений литературной славы», как недавно выразился один насмешливый критик, действительно есть свои хорошие стороны», — говорил по этому поводу сам Толкин.

Объемы продаж «Хоббита» и «Властелина Колец» непрерывно продолжали расти, однако вплоть до 1965 года никаких особых скачков не наблюдалось. Но в начале 1965–го стало известно, что некое американское издательство, не страдающее, по–видимому, особой щепетильностью, намеревается выпустить пиратское издание «Властелина Колец» в мягкой обложке и почти наверняка не собирается платить Толкину никаких авторских. С охраной авторских прав на тот момент дела в Америке обстояли не блестяще, и в издательстве, несомненно, рассчитывали, что смогут сделать это безнаказанно; кроме того, они понимали, что издание это, по всей вероятности, пойдет нарасхват, в особенности среди американских студентов, которые уже тогда

начинали проявлять интерес к книге. Спасти положение можно было только одним способом: издательству, имевшему официальное право на издание Толкина в Америке, «Хоутон–Мифлин», следовало срочно выпустить своего «Властелина Колец» в мягкой обложке. Они уже собирались сделать это в сотрудничестве с «Баллантайн–букс». Однако, для того чтобы зарегистрировать авторские права на это новое издание, нужно было внести в текст некоторое количество изменений, чтобы книга могла считаться «новой». Рейнер Анвин приехал в Оксфорд, объяснил все это Толкину и попросил как можно быстрее внести какие–нибудь исправления во «Властелина Колец» и в «Хоббита», чтобы последняя книга тоже оказывалась под защитой закона об авторских правах. Толкин согласился, и Анвин, удовлетворенный, вернулся в Лондон.

Обычно одно только упоминание о необходимости правки побуждало Толкина немедленно взяться за работу. Однако на сей раз он не спешил что–то предпринимать. Он уже привык пропускать крайние сроки и запаздывать со сдачей рукописей. И потому пока что продолжал редактировать свою новую, только что написанную сказку «Кузнец из Большого Вуттона», работать над переводом «Гавейна» и над примечаниями к эльфийскому стихотворению «Намарие», которое композитор Дональд Суонн собирался положить на музыку в цикле песен на стихи Толкина. К тому времени как Толкин управился со всеми этими делами, наступил июнь, и то, что Толкин и прочие считали американским пиратским изданием «Властелина Колец», было благополучно издано.

Издательство, выпустившее эту книгу, называлось «Эйс–букс». На запрос владельцы ответили, что в их действиях нет ничего незаконного, несмотря на то, что книга была напечатана без дозволения Толкина и его официально уполномоченных издателей, и даже несмотря на то, что автору не предложили никаких авторских. На самом деле издание «Эйса» подготовили довольно тщательно, так что при цене семьдесят пять центов за том покупать его оказалось довольно выгодно. Конечно, в тексте нашлось некоторое количество опечаток, но в целом он достаточно точно воспроизводил толкиновский — пожалуй, местами даже чересчур точно: в предисловии имелось обещание снабдить последний том указателем, а в последнем томе — извинения за отсутствие такового. «Эйс–букс» пользовалось довольно широкой известностью в качестве издателей научной фантастики, так что было очевидно, что очень многие купят их книгу до того, как успеет выйти официальное издание. Толкину отправили просьбу как можно скорее завершить внесение

изменений (над которыми он, предположительно, трудился уже полгода).

Поэтому Толкин взялся за работу, правда, не над «Властелином Колец», который нужен был срочно, а над «Хоббитом», с которым вполне можно было и подождать. Несколько часов ушло на поиски заметок с изменениями, написанных раньше. Заметок он не нашел. Вместо них отыскался машинописный текст «Новой Тени», продолжения к «Властелину Колец», которое было начато довольно давно, но оставлено после нескольких страниц. В продолжении говорилось про возвращение зла в Средиземье. Толкин взялся его перечитывать, впал в раздумья и засиделся до четырех часов ночи. На следующий день он приступил наконец к «Хоббиту», обнаружил, что большая часть книжки «никуда не годится», и с трудом удержался от того, чтобы переписать ее заново. Однако же внесение изменений заняло некоторое время, и потому, когда он наконец добрался до «Властелина Колец», дело шло к середине лета. Во «Властелине Колец» Толкин решил исправить некоторые оставшиеся неточности и просмотрел указатель, наконец–то для него подготовленный, однако отправить новую версию в Америку он смог только в начале августа.

А тем временем издательство, получившее официальное право на публикацию «Властелина Колец» в мягкой обложке, «Баллантайн–букс», решило, что дольше ждать нельзя. Чтобы в магазины поступила хотя бы одна книга Толкина, они напечатали «Хоббита» в первоначальном варианте, не дожидаясь, пока придут исправления, внесенные автором. Их они планировали включить в следующее издание. Толкину прислали экземпляр тиража. Он увидел обложку — и обомлел. Надо сказать, что «Эйс–букс», хоть и «пираты», на обложку поставили рисунок художника, который, по крайней мере, знал, о чем идет речь в книге. А баллантайновская обложка, по всей видимости, к «Хоббиту» не имела вообще никакого отношения. На ней была изображена гора, два страуса эму и какое–то странное дерево с плодами, похожими на луковицы. Толкин взорвался. «Ну и при чем тут все это? Что это за место? Откуда страусы? А что это за штука с розовыми луковицами на переднем плане?» Когда пришел ответ, что художник просто не успел прочитать книгу, а штука с розовыми луковицами «предположительно изображает рождественскую елку», Толкин только и мог сказать: «Начинаешь чувствовать себя так, будто попал в сумасшедший дом».

В конце 1965 года в Америке вышло «официальное» трехтомное издание «Властелина Колец» в мягкой обложке. В текст были внесены поправки, сделанные Толкином, а на обложке

первого тома остались страусы и рождественская елка, хотя позднее эту картинку убрали и заменили ее одним из рисунков самого Толкина. Еще два его рисунка были использованы для обложек второго и третьего томов. На каждом томе имелось предупреждение автора: «Только это, и никакое другое, издание в мягкой обложке напечатано с моего согласия и при моем сотрудничестве. Люди, склонные уважать волю авторов (хотя бы тех, что еще живы), будут покупать только его».

Однако это не сразу дало желаемый результат, баллантайновское издание стоило на двадцать центов дороже, чем издание «Эйса», учитывая авторские отчисления, а потому поначалу американские студенты предпочитали пиратское издание. Очевидно, необходимо было что–то предпринять. Любопытно, что в начавшейся кампании не последнюю роль сыграл сам Толкин; любопытно, потому что он отнюдь не был бизнесменом, и к тому же, по иронии судьбы, именно его «неделовое» поведение в течение последних лет сыграло теперь ему на руку. Дело в том, что Толкин немало часов «тратил впустую», отвечая на бесчисленные письма поклонников, вместо того чтобы готовить книги к публикации. Зато теперь оказалось, что благодаря этому он успел обзавестись десятками восторженных друзей по переписке, в первую очередь — в Америке, и все они были готовы с радостью встать на защиту его интересов. Итак, Толкин по собственной инициативе начал сообщать во всех письмах к своим американским поклонникам о том, что издание «Эйса» является пиратским, и просить их передать это своим знакомым. Это вскоре дало ощутимый результат. Американские читатели не только стали отказываться покупать книги «Эйса», но и принялись требовать от книготорговцев, порой весьма энергично, убрать с полок пиратское издание. В борьбу включился и клуб поклонников творчества Толкина, «Американское толкиновское общество», созданный незадолго до того. К концу года объем продаж эйсовского издания резко пошел на убыль. А когда за дело взялись «Американские писатели–фантасты», влиятельная организация, которая теперь принялась оказывать давление на «Эйс» напрямую, «Эйс» прислало Толкину письмо с предложением выплатить авторские за каждый проданный экземпляр и не делать допечаток после того, как будет распродан уже имеющийся в запасе тираж. Итак, мирный договор был подписан, и на том и закончилась «Война за Средиземье», как окрестил ее один журналист.

Но это было не все. Самые важные последствия проявились лишь со временем. Скандал из–за незаконного издания широко

освещался в средствах массовой информации, и теперь благодаря этому имя Толкина и названия его произведений оказались на слуху у американской публики. За 1965 год было распродано около ста тысяч экземпляров пиратского «Властелина Колец», но «официальное» издание в мягкой обложке скоро перекрыло эту цифру и быстро достигло миллионной отметки. Так что «Эйс–букс» невольно оказало Толкину услугу, поспособствовав тому, что его книга из «респектабельного» издания в суперобложке, в каковом статусе она прозябала в течение нескольких лет, превратилась в один из популярнейших бестселлеров. К тому же «Властелин Колец» успел сделаться культовой книгой в «студенческой среде».

Очевидно, многое в творчестве Толкина оказалось близко сердцам американских студентов. Имплицитно проводимая мысль о том, что необходимо защищать природу от растущего наступления индустриального общества, импонировала нарождающемуся экологическому движению, так что нетрудно было углядеть во «Властелине Колец» манифест современных идей. Но все же в первую очередь притягательность книге придавало именно безбоязненное возвращение к героической романтике, как давным–давно предвидел Льюис. Суровые критики могли называть это эскапизмом, еще более суровые — сравнивать воздействие книги с опасным воздействием галлюциногенных наркотиков, которые как раз вошли в моду в определенных студенческих кругах, но, так или иначе, для сотен тысяч молодых американцев история похода Фродо с Кольцом сделалась теперь Главной Книгой, затмив все прежние бестселлеры. В конце 1966 года одна из газет писала: «В Йеле [Йель и Гарвард — крупнейшие и престижнейшие университеты Америки] трилогия раскупается быстрее, чем «Повелитель мух» Уильяма Голдинга во времена наибольшей популярности последнего. В Гарварде она обгоняет «Над пропастью во ржи» Дж. Д. Сэлинджера». Начали появляться значки с лозунгами «Фродо жив!», «Гэндальфа в президенты!» или «Хочу в Средиземье!». Ветви «Толкиновского общества» дали побеги по всему Западному побережью и в штате Нью–Йорк и в конце концов выросли в «Мифопеическое общество», посвященное также изучению произведений К. С. Льюиса и Чарльза Уильямса. Члены фэн–клубов [Клубы поклонников творчества писателя; это слово в последнее время вошло в обиход и в России] устраивали «хоббитские пикники», на которых ели грибы, пили сидр и одевались персонажами «Властелина Колец». В конце концов произведения Толкина начали приобретать вес и в академических кругах Америки. Защищались диссертации с названиями вроде

«Параметрический анализ антитетического конфликта и иронии во «Властелине Колец» Дж. Р. Р. Толкина». В книжных магазинах университетских городков появились сборники критических статей, посвященных Толкину. Дочь президента, космонавт и кинозвезда написали Толкину, выражая восторг по поводу его произведений. Среди настенных граффити можно было прочесть надписи вроде «Дж. Р. Р. Толкин — творец хоббитов».

Пламя американского энтузиазма перекинулось и на другие страны. На карнавале в Сайгоне [Старое название г. Хошимин (Вьетнам)] видели вьетнамского танцора с Багровым Оком Саурона на щите, на Северном Борнео было создано «Общество Фродо». Примерно в то же время заметно возрос интерес к книгам Толкина в самой Англии, отчасти потому, что те, кто читал их в детстве, теперь успели вырасти и заражали энтузиазмом своих друзей, отчасти — как отражение американского бума. Объем продаж книги в Англии резко пошел в гору, в Лондоне и по всей стране образовывались «Толкиновские общества», студенты Уорикского университета переименовали Кольцевую автодорогу вокруг студгородка в «дорогу Толкина», появился психоделический журнал под названием «Сад Гэндальфа», целью которого было «собрать вместе весь дивный народ». В первом номере журнала говорилось, что Гэндальф «быстро врастает в умы молодежи всего мира как мифологический герой эпохи».

Что же касается самого Толкина, он в письме своему коллеге Норману Дэвису назвал весь этот бум, связанный с его книгами, «мой злосчастный культ», а репортеру, спросившему, радует ли его энтузиазм молодых американцев, ответил так: «Их волнует искусство, а они не понимают, что их волнует, и упиваются этим. Многие молодые американцы вовлечены в эти истории так, как я никогда не был».

Количество продаваемых экземпляров продолжало расти. Назвать точные цифры невозможно, однако же, по приблизительным подсчетам, к концу 1968 года в мире было продано приблизительно три миллиона экземпляров «Властелина Колец». Появилось также множество переводов на разные языки.

Толкина начали осаждать репортеры. Он в принципе не любил давать интервью, однако врожденная учтивость мешала ему отвечать отказом; в конце концов он выбрал нескольких, которые пришлись ему по душе, и заявил, что будет говорить только с ними. Кроме репортеров, то и дело являлись посетители по самым разным вопросам, связанным с его книгами, и Толкин обычно соглашался принять их, хотя, опять–таки, очень хотел, чтобы его оставили в покое. В целом новые знакомые на первый взгляд Толкину обычно нравились, а через некоторое время

начинали его раздражать; и в конце концов — видимо, имея в виду эту особенность своего характера — он завел себе будильник, который ставил так, чтобы он звонил через несколько минут после прихода посетителя; тогда Толкин делал вид, что у него какие–то неотложные дела, и вежливо выпроваживал гостя.

Восторженные американцы начали устраивать целые паломничества, чтобы повидать своего кумира. Дик Плотц, один из основателей «Американского толкиновского общества», позвонил, чтобы взять у него интервью для своего журнала. Приезжал к нему также профессор Клайд С. Килби из Иллинойса, который очень интересовался «Сильмариллионом»: поклонники Толкина с нетерпением ждали выхода этой книги. Толкин показал Килби некоторые из рукописей «Сильмариллиона» и был весьма польщен его положительным отзывом. Побывал у Толкина и другой преподаватель с американского Среднего Запада, Уильям Реди, который потом опубликовал книгу о Толкине. Сам Толкин назвал эту книгу «хамской и оскорбительной» и с тех пор стал вести себя с визитерами куда осмотрительнее. В начале 1968–го Би–би–си сняла о нем фильм под названием «Толкин в Оксфорде»; Толкин, нимало не смущаясь, позировал перед камерой и невинно забавлялся. Однако в целом его все эти проявления популярности не радовали. Он писал одному из своих читателей: «Боюсь, в том, чтобы стать предметом поклонения еще при жизни, приятного мало. Однако мне не кажется, что это способствует тщеславию; во всяком случае, лично я, напротив, чувствую себя крохотным и не соответствующим навязанной роли. Впрочем, даже самый скромный идол не может остаться совершенно равнодушен к аромату воскурений».

Часть 7
1959–1973:
ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ

Глава 1
ХЕДИНГТОН

Слава его озадачила. Ничего подобного Толкин не ожидал и не считал, что заслуживает этого. Ладно, пусть читатели восторгаются его книгами — но с чего бы поднимать такую шумиху вокруг него самого? А шумиха была, да еще какая! Ему приходилось разбирать уйму писем от поклонников, и хорошо бы, если бы только писем! Некоторые присылали подарки: картины, скульптуры, кубки, собственные фотографии в костюмах персонажей, магнитофонные записи, кушанья, напитки, табак и гобелены. Дом 76 по Сэндфилд–Роуд, где теперь жили Толкины, и так уже ломился от книг и бумаг — а теперь он начал ломиться еще и от подарков. Толкин проводил целые дни за написанием ответных писем с благодарностями. Когда «Аллен энд Анвин» предложило помочь с «фэн–почтой», он с радостью согласился. Но это было еще не все. Поклонникам стал известен его домашний адрес, а его телефон имелся в оксфордском справочнике. А потому к нему то и дело без предупреждения являлись незваные гости. Одни просили автографов, другие просили денег. Большинство из них держались вежливо, но попадались и психи, временами буйные. Посреди ночи мог зазвонить телефон — это какой–нибудь американец желал поговорить с самим Толкином, совершенно забыв о разнице во времени. А хуже всего, его принялись фотографировать сквозь окна. В упорядоченном мире, в вычищенном Шире такое было бы невозможно!

По мере того как Толкин старел, некоторые его черты проявлялись все резче. Торопливая речь, плохая дикция, манера изъясняться длинными фразами с обилием вводных предложений теперь особенно бросались в глаза. Давние склонности, такие, как нелюбовь к французской кухне, превратились в карикатуру на самих себя. То, что Толкин однажды сказал о предрассудках Льюиса, вполне распространялось и на него самого в старости: «У него их было несколько, и часть из них — совершенно неискоренимые; они основывались на неведении и при этом выдерживали натиск любого количества информации». Однако по числу предрассудков Льюису он далеко уступал, да и предрассудками их назвать трудно: слово «предрассудок» предполагает мнения, на которых основываются поступки, в то время как на самом деле наиболее странные идеи Толкина редко отражались на его поведении. Так что это были не столько предрассудки, сколько привычка (свойственная, впрочем, многим

обитателям Оксфорда) выносить безапелляционные суждения о вещах, в которых он почти не разбирался.

Во многих отношениях старость очень угнетала Толкина, и в то же время она выявила некоторые из лучших его черт. Его огорчало сознание того, что силы тают, в 1965 году он писал: «Работать становится трудно: начинаю стареть, жар затухает». Иногда это повергало его в отчаяние, и потому в последние годы Толкин был особенно подвержен приступам пессимизма, свойственным ему с юных лет; одного только факта выхода на пенсию и отрешения отдел было достаточно, чтобы пробудить эту сторону его натуры. Однако и противоположная сторона его личности, любовь к веселью и хорошей компании, брала свое, более того — усиливалась, уравновешивая растущую мрачность. Старость даже облагообразила его: угловатое, вытянутое, худое лицо смягчили складки морщин, под ярким жилетом, который Толкин теперь носил почти постоянно, наметилось брюшко — и многие друзья замечали, что ему явно идет быть пожилым. Его способность получать удовольствие от общения тоже, похоже, лишь росла с годами, а весело поблескивающие глаза, воодушевленная речь, внезапные взрывы смеха, дружелюбие и открытость делали его приятнейшим из собеседников, будь то за обеденным столом или в баре.

«Он умел дружить, — писал Льюис в некрологе Толкина, — и лучше всего себя чувствовал в узком кругу близких друзей, где царила атмосфера одновременно богемная, творческая и христианская». Однако, когда Толкин летом 1959 года ушел на пенсию с поста профессора Мертон–Колледжа, он будто бы нарочно отрезал себя от этого дружеского круга, от общества тех, кого он любил больше всего на свете (не считая своей семьи), и в результате ощущал себя довольно несчастным. В последние годы Толкин еще изредка встречался с Льюисом, — заходил иногда в «Птичку с младенцем» и в Килнс, дом Льюиса на другом конце Хедингтона. И они с Льюисом вполне могли бы по–прежнему оставаться друзьями, пусть и не столь близкими, как когда–то, не будь Толкин так озадачен и даже разгневан женитьбой Льюиса на Джой Дэвидмен. Брак этот длился с 1957–го по 1960 год, когда Джой скончалась. Возмущение Толкина, вероятно, отчасти объясняется тем, что Джой была разведена, отчасти же — обидой на Льюиса, который требовал, чтобы все его друзья относились к его жене с почтением, в то время как в тридцатые годы Льюис, тогда убежденный холостяк, предпочитал попросту игнорировать тот факт, что у его друзей дома имеются жены. Но дело было не только в этом. Толкин как будто ощущал, что старый друг предал его своей женитьбой, и сердился на то, что в их с Льюисом

дружбу вторглась женщина, так же как когда–то Эдит сердилась на Льюиса, вторгшегося в их семейную жизнь. Кстати, как это ни смешно, Эдит с Джой Дэвидмен очень подружились.

Тот факт, что в середине пятидесятых Толкин перестал регулярно общаться с Льюисом, как бы поставил точку в «клубной» главе его жизни, главе, начавшейся с ЧКБО и нашедшей свое высшее выражение в «Инклингах». Отныне и впредь Толкин сделался отшельником, и практически вся его жизнь проходила дома. В первую очередь это обуславливалось необходимостью: он был очень озабочен здоровьем и благополучием Эдит, а поскольку ходить ей с каждым годом становилось все труднее и к тому же она постоянно страдала от проблем с пищеварением, Толкин считал своей обязанностью проводить как можно больше времени при ней. Но до некоторой степени этот уход из общества, где Толкин жил, работал и общался в течение сорока лет, был добровольным и преднамеренным. Ведь сам Оксфорд менялся, и поколение Толкина уступало место новой породе людей, более целеустремленных, менее общительных и явно менее религиозных.

В своей прощальной речи, прочитанной в битком набитом зале Мертон–Колледжа в конце своего последнего летнего триместра, Толкин коснулся некоторых перемен, происходящих в Оксфорде. Он высказал несколько язвительных замечаний в адрес усилившегося упора на работу в аспирантуре: он полагал, что это не что иное, как «вырождение подлинного любопытства и энтузиазма в «плановую экономику», при которой то или иное количество времени, уделенное исследованиям, впихивается в более или менее стандартную шкурку и выдается в виде колбасок, чья форма и размер регламентируются нашей собственной поваренной книжицей». Однако закончил он не обсуждением научных дел, а цитатой из своей эльфийской прощальной песни «Намарие». Отдав четыре десятилетия университету, он надеялся наконец–то посвятить все свое время легендам, и в первую очередь — завершению «Сильмариллиона». «Аллен энд Анвин» теперь жаждали опубликовать эту книгу и ждали ее уже в течение нескольких лет.

Надо сказать, Сэндфилд–Роуд оказалась не самым лучшим местом для спокойного отдыха на пенсии. Толкин прожил здесь уже шесть лет и предвидел возможные неудобства; но вряд ли он был готов к ощущению изоляции, которое возникло теперь, когда отпала необходимость каждый день отправляться в колледж. Дом на Сэндфилд–Роуд находился в двух милях от центра Оксфорда, и до ближайшей автобусной остановки было довольно далеко,

дальше, чем могла без труда пройти Эдит. Следовательно, для того чтобы съездить в Оксфорд или в хедингтонские магазины, каждый раз приходилось нанимать такси. Да и друзья заглядывали в гости не так часто, как тогда, когда Толкины жили в центре города. Что касается родных, их часто навещали Кристофер со своей женой Фейт; Фейт, скульптор, сделала бюст своего свекра, факультет английского языка и литературы подарил скульптуру Толкину в день ухода на пенсию; позднее Толкин за свой счет отлил его в бронзе, и этот бронзовый бюст установили в факультетской библиотеке. Однако у Кристофера, который теперь стал преподавателем, а позднее был избран членом Нью–Колледжа, свободное время выдавалось нечасто. Джон теперь возглавлял приход в Стаффордшире, а Майкл учительствовал в Мидленде и только изредка заезжал в гости со своей семьей, сыном и двумя дочерьми. Присцилла вернулась в Оксфорд и работала инспектором, наблюдающим за поведением условно осужденных преступников. Она часто бывала у родителей; однако жила Присцилла на другом конце города, и у нее были свои заботы.

Связи Толкина с академической средой теперь ограничивались редкими визитами Алистэра Кемпбелла, специалиста по древнеанглийскому, который сменил Чарльза Ренна на посту профессора, да ланчами с Норманом Дэвисом, бывшим учеником Толкина, новым профессором английского языка и литературы Мертон–Колледжа. Дэвис с женой скоро поняли, что эти встречи очень важны для Толкинов, поскольку вносят приятное разнообразие в уединенную и рутинную домашнюю жизнь на Сэндфилд–Роуд. А потому примерно раз в неделю Дэвисы заезжали за Толкинами и отправлялись в какую–нибудь сельскую гостиницу, которую Толкины предпочитали на тот момент — а они нигде не задерживались надолго: либо потому, что там, по их мнению, недостаточно хорошо готовили, либо потому, что слишком дорого брали, либо же потому, что туда надо было ехать по новой дороге, которая испортила пейзаж. В гостинице заказывали по рюмочке чего–нибудь крепкого — Эдит обнаружила, что порция бренди идет на пользу ее пищеварению, — а потом хороший ланч и побольше вина. За ланчем Лина Дэвис занимала разговором Эдит, которую очень любила, предоставляя мужчинам возможность побеседовать между собой. Но, кроме этих ланчей да еще визитов детей, у Толкина было довольно мало возможностей для общения.

В 1963 году Эксетер–Колледж избрал Толкина своим почетным членом, а вслед за этим Мертон–Колледж присвоил ему звание заслуженного члена [Emeritus Fellowship — звание,

присваиваемое заслуженному университетскому профессору по выходе на пенсию]. Но хотя Толкину были всегда рады в обоих колледжах и часто присылали приглашения, на обедах в колледже он присутствовал редко, а если и присутствовал, то ел мало, поскольку относился к тамошней кухне с подозрением. Кроме того, он позволял себе обедать вне дома только в том случае, если Присцилла или кто–нибудь из подруг Эдит соглашались составить ей компанию на вечер. Забота о жене для него всегда стояла на первом месте.

После выхода на пенсию ему не пришлось сидеть сложа руки: дома оказалось дел по горло. Сперва Толкину нужно было забрать все свои книги из кабинета в колледже и найти им место дома. Комната в мансарде была уже и так набита битком, и потому Толкин решил превратить гараж (который стоял пустым, поскольку машины у Толкинов не было) в библиотеку и кабинет. Перетаскивание книг заняло не один месяц и не пошло на пользу его прострелу. Однако наконец порядок восстановился. Можно было наконец приступить к главному: редактированию и завершению «Сильмариллиона».

Верный своим привычкам, Толкин, разумеется, решил, что всю книгу надлежит переделать заново, и начал этот колоссальный труд. Ему помогала Элизабет Ламзден, секретарь, нанятая на неполный день, которая, как и две ее преемницы, Наоми Коллир и Филлис Дженкинсон, стала добрым другом Толкина и Эдит. Но стоило ему взяться за работу, как его прервали: пришли наконец гранки его издания «Ancrene Wisse», задержавшиеся из–за забастовки печатников. Толкин нехотя оставил мифологию и взялся за трудоемкую вычитку двухсот двадцати двух страниц среднеанглийского текста с подробными постраничными примечаниями. Управившись с «Ancrene Wisse», Толкин вернулся было к тому, что называл «настоящим делом», но решил, что, перед тем как браться за «Сильмариллион», следует сперва закончить редактуру своих переводов «Сэра Гавейна» и «Перла» и написать введение к ним, которого требовало издательство. Однако и этого он завершить не успел: надо было выполнить еще одну работу для «Аллен энд Анвин», отредактировать свою лекцию «О волшебных сказках», которую они хотели издать вместе с «Листом работы Ниггля». Так что Толкина все время что–то отвлекало, нити его работы рвались, это замедляло продвижение и все больше приводило его в отчаяние.

Немалая часть времени уходила и на переписку. Читатели присылали Толкину десятки писем, хвалили, критиковали, просили дополнительной информации о той или иной детали

повествования. Толкин к каждому письму относился очень серьезно, особенно если ему писал ребенок или пожилой человек. Иногда он составлял по два, по три черновика ответа — и все равно оставался недоволен тем, что вышло, или же никак не мог решиться, что ответить, и так ничего и не отвечал. А то еще, бывало, терял готовое письмо и переворачивал вверх дном весь гараж или всю свою комнату, пока не находил. В ходе поисков временами обнаруживались другие потерянные вещи, письмо, оставшееся без ответа, или неоконченная история, и тогда Толкин бросал то, за что взялся сначала, и садился перечитывать (или переписывать) то, что обнаружил. В таких занятиях прошло немало дней.

Он всегда с удовольствием отвечал на письма читателей, желавших назвать свой дом, домашнее животное или даже ребенка в честь какого–нибудь места или персонажа из его книг. Толкин считал вполне уместным, что люди спрашивают его разрешения, и весьма рассердился, узнав, что некое судно на подводных крыльях без его ведома назвали «Тенегрив» в честь коня, на котором ездил Гэндальф. Те же, кто обращался к нему, бывали порой вознаграждены самым неожиданным образом: так, заводчику коров джерсейской породы, спросившему, можно ли использовать в племенной книге кличку Ривенделл, Толкин сообщил, что по–эльфийски «бык» будет «mundo», и присоветовал несколько имен для быков, происходящих от этого корня. Кстати, отправив это письмо, Толкин засел выяснять, как получилось, что слово «mundo» означает именно «бык», — прежде он об этом не задумывался. Подобные дела затягивали его все больше и больше, так что работе над «Сильмариллионом» он уделял довольно мало времени.

Тем не менее работа понемногу шла, и не исключено, что Толкин и смог бы на этот раз подготовить книгу к публикации, если бы ему удалось заставить себя работать систематически, по расписанию. Однако немало времени он тратил, просто раскладывая пасьянс, — зачастую засиживаясь за игрой допоздна. Это была многолетняя привычка, и Толкин придумал немало собственных игр, которыми щедро делился с другими любителями пасьянса. Конечно, он не просто сидел за картами, но и о многом размышлял при этом; однако же потом его всегда терзали угрызения совести за часы, потраченные впустую. Иногда же он проводил большую часть дня рисуя замысловатые узоры на старых газетах и одновременно разгадывая кроссворд. Естественно, эти узоры вплетались в его истории и становились эльфийскими гербами, нуменорскими коврами или изображениями экзотических растений с названиями на квенье

или на синдарине. Поначалу они ему ужасно нравились. Но потом он спохватывался, ему становилось стыдно, что он убивает время на ерунду, и он пытался заняться делом; но тут звонил телефон, или Эдит просила сходить в магазин, или звала попить чаю с гостем, и на этом работа на тот день заканчивалась.

Так что отчасти он сам был виноват в том, что ничего не делалось. И это само по себе угнетало Толкина, и из–за этого работа шла еще хуже. К тому же его нередко приводило в уныние то, какой ограниченной и монотонной жизнью он живет. «Дни кажутся такими серыми, — писал он, — я просто не могу ни на чем сосредоточиться. До того скучно жить в этом заточении!»

Ему особенно не хватало мужского общества. Старый друг и врач Толкина, Р. Э. Хаварда из «Инклингов», жил неподалеку от них и, будучи католиком, нередко сидел рядом с Толкином на воскресной мессе. Разговоры с Хаварда ом по дороге из церкви домой были важным событием для Толкина, однако же они зачастую нагоняли на него тоску по былому.

22 ноября 1963 года в возрасте шестидесяти четырех лет скончался К. С. Льюис. Несколько дней спустя Толкин написал своей дочери Присцилле: «До сих пор я испытывал нормальные ощущения человека моего возраста: как старое дерево, одно за другим теряющее свои листья. Однако сейчас мне кажется, что мне подрубили самый корень».

Толкин отказался написать некролог Льюиса и отклонил предложение участвовать в издании сборника памяти Льюиса. Однако он провел немало часов размышляя над последней книгой Льюиса «Письма к Малькольму, большей частью о молитве».

Вскоре после смерти Льюиса Толкин снова начал вести дневник, чего не делал вот уже в течение многих лет. Отчасти это был повод использовать новый, только что придуманный алфавит; Толкин называл его своим «новоанглийским алфавитом», улучшенным вариантом «дурацкого алфавита, предложенного людьми, стремящимися заполучить деньги этого чудака Шоу». В системе использовалось несколько обычных латинских букв, но с другими фонетическими значениями, несколько знаков международной транскрипции и несколько символов из его собственного Феанорова алфавита. Толкин пользовался им в своем дневнике, когда хотел записать что–то очень личное. Как и во всех его дневниках, в этом куда больше говорится о горестях, чем о радостях, а потому нельзя сказать, что он дает объективную картину жизни Толкина на Сэндфидд–Роуд. Однако он многое говорит о том, в какие ужасающие бездны уныния погружался порой Толкин, пусть даже ненадолго. «Жизнь

— мрачная и беспросветная, — писал он в один из таких моментов. — Ничего не могу сделать, болтаюсь между застоем и скукой (запертый в четырех стенах), между тревогой и рассеянностью. Что же я буду делать дальше? Обоснуюсь в какой–нибудь гостинице, доме престарелых или клубе, без книг, без связей, без собеседников? Господи, помоги мне!»

Однако, как то бывало довольно часто, Толкин сумел обратить свою депрессию на пользу. Подобно тому, как в свое время его отчаяние из–за невозможности завершить «Властелина Колец» породило «Лист работы Ниггля», так и теперь страх перед будущим и печаль из–за надвигающейся старости подсказали ему написать «Кузнеца из Большого Вуттона».

Эта сказка возникла странным образом. Американский издатель попросил Толкина дать предисловие к новому изданию сказки Джорджа Макдональда «Золотой ключ». Толкин в таких случаях обычно отказывался, но на этот раз, без всякой видимой причины, согласился. Он приступил к работе в конце января 1965 года. В тот период Толкин пребывал в особенно мрачном настроении. Он обнаружил, что книга Макдоналъда нравится ему меньше, чем раньше. «Дурно написанная, бессвязная и вообще плохая, несмотря на то что в ней есть несколько запоминающихся моментов», — отозвался он о ней. Надо заметить, что Толкин вовсе не разделял страстной любви К. С. Льюиса к Джорджу Макдональду. Ему нравились книги про Керди, но большая часть творчества Макдональда была для него отравлена аллегорией и моралью, которой пропитаны эти книги. Однако, невзирая на всю свою нелюбовь к этой сказке, он (опять–таки вопреки своему обыкновению) усердно взялся за дело, как будто желал доказать себе, что он еще способен работать и все–таки может закончить хоть что–нибудь. Он принялся объяснять юным читателям, для которых предназначалось издание, смысл слова «волшебство». И начал так:

«Волшебство обладает немалой силой. Даже плохому автору не дано его избежать. Видимо, он создает свою сказку из обрывков других сказок, более древних, или из того, что сам помнит лишь смутно, и эти полузабытые вещи могут оказаться слишком могущественны, чтобы он сумел их испортить или лишить очарования. И возможно, кто–нибудь впервые встретится с ними в его глупой сказке, и увидит в них отблеск Волшебной страны, и захочет отыскать что–то лучшее.

Чтобы это стало понятнее, можно рассказать такую небольшую историю. Жил–был повар, который задумал испечь пирог для детского праздника. Он считал, что для такого пирога главное — быть очень сладким…»

Толкин собирался изложить свой пример всего в нескольких абзацах. Но история продолжалась, развивалась, и вскоре Толкин остановился, поняв, что она переросла границы предисловия и зажила собственной жизнью. В первом варианте она называлась «Большой пирог», но в конце концов Толкин выбрал заглавие «Кузнец из Большого Вуттона». Кстати, то предисловие к сказке Макдональда так и не было закончено.

«Кузнец» оказался необычен в двух отношениях. Во–первых, он с самого начала печатался на машинке — чего Толкин обычно не делал, — а во–вторых, он был явно и даже, пожалуй, намеренно автобиографичен. Толкин назвал эту сказку «стариковской историей, наполненной горестным предчувствием близкой разлуки», а в другом месте он говорит, что она «полна глубоких чувств, отчасти связанных с одиночеством «ухода в отставку» и приближающейся старости». Подобно Кузнецу, деревенскому мальчику, который проглотил волшебную звездочку и получил таким образом пропуск в Волшебную страну, Толкин, в своем воображении, долго блуждал по таинственным землям; теперь он ощущал приближение конца и знал, что вскоре и ему тоже придется отказаться от своей звезды, своего воображения. И в самом деле — то была последняя сказка, которую он написал.

Вскоре после того, как «Кузнец» был окончен, Толкин показал его Рейнеру Анвину. Рейнеру «Кузнец» очень понравился, но он счел, что необходимо присоединить к нему другие сказки, чтобы книга имела достаточно внушительный объем. Однако же в конце концов «Аллен энд Анвин» решили опубликовать сказку отдельно, и она вышла в течение 1967 года в Британии и в Америке, с иллюстрациями Паулины Бэйнс. «Кузнец из Большого Вуттона» был в целом принят критиками достаточно доброжелательно, хотя ни один из них не заметил автобиографичности сказки и не обратил внимания на то, что она содержит нехарактерную для автора аллегоричность. Толкин писал на эту тему: «Волшебная страна — это не аллегория, она воспринимается как нечто реально существующее за пределами воображения. Там, где речь идет о людях, действительно присутствует элемент аллегории, и мне это кажется очевидным, хотя никто из читателей и критиков на это внимания пока не обратил. Никакой «религии» в сказке, как обычно, нет; но Мастер–Повар, Большой Зал и т. д. представляются мне достаточно прозрачной (отчасти сатирической) аллегорией на сельского пастора и деревенскую церковь, чьи функции мало–помалу утрачиваются и забываются, теряя всякую связь с «искусствами» и сводясь к тривиальному поглощению пищи, так что последние следы чего–то «иного»

сохраняются только в детях».

В течение этого периода Толкин подготовил к публикации еще две книги. В 1964 году была издана переработанная им лекция «О волшебных сказках» вместе с «Листом работы Ниггля» под общим заглавием «Дерево и лист»; а когда в 1961 году тетя Толкина Джейн Нив, которой тогда исполнилось восемьдесят девять лет, написала ему письмо с просьбой «напечатать книжечку про Тома Бомбадила, только небольшую, из тех, какие мы, старички, можем позволить себе дарить на Рождество», Толкин послушался и выпустил «Приключения Тома Бомбадила». Стихи, отобранные Толкином для этой книги, датируются в основном двадцатыми — тридцатыми годами, за исключением «Бомбадил катается на лодке», созданного специально для этой книги, и «Кота», написанного в 1956 году, чтобы позабавить внучку Джоан–Энн. Эта книга, тоже с иллюстрациями Паулины Бэйнс, вышла как раз вовремя, чтобы порадовать Джейн Нив, которая умерла несколько месяцев спустя.

Несмотря на то что жизнь на пенсии временами казалась Толкину «серой и мрачной», были в ней и приятные стороны. У него впервые в жизни появилось достаточно денег. Еще в 1962 году, до начала американского «бума», Толкин писал о своих доходах: «Ситуация совершенно невероятная, и, надеюсь, я достаточно благодарен за это господу. Еще не так давно я прикидывал, сможем ли мы позволить себе продолжать жить здесь на мою жалкую пенсию. А теперь, если не стрясется какой–нибудь вселенской катастрофы, я вряд ли когда–нибудь еще при своей жизни буду испытывать финансовые трудности».

Львиную долю доходов съедали налоги, но Толкин по большей части относился к этому философски; хотя однажды написал поперек чека на большую сумму, которую следовало уплатить властям: «На «Конкорд» — ни пенни!» Ближе к концу жизни он оформил дарственную запись, согласно которой большая часть его имущества переходила к его четверым детям.

Он вообще щедро распоряжался нежданно свалившимся на него богатством: в частности, в последние годы регулярно (и анонимно) жертвовал существенную сумму приходской церкви в своем Хедингтоне. Особенно охотно Толкин помогал членам своей семьи. Одному из детей он купил дом, другому — машину, одному из внуков подарил виолончель и оплачивал обучение в школе одной из внучек. Однако отказаться от привычки считать каждый пенни, приобретенной за годы больших расходов и скромных заработков, было не так–то просто; и в его дневнике, помимо ежедневных записей о том, какая стоит погода, неизменно записывались также все траты, даже самые мелкие:

«Авиаписьмо — 1 ш. 3 п., лезвия «Жиллетт» — 2 ш. И п., почтовые расходы — 7,5 п., «Стерадент» — 6 ш. 2 п.». Он никогда не сорил деньгами. Они с Эдит не держали никаких электроприборов, потому что не привыкли к ним и не понимали, зачем это надо. В доме не было не только телевизора, но даже стиральной или посудомоечной машины.

Однако сам факт, что теперь у него куча денег, доставлял Толкину большое удовольствие. И он позволял себе отдельные роскошества в своем вкусе: хороший обед с вином в ресторане после похода по магазинам, черный вельветовый пиджак и новый жилет, сшитый на заказ у Холла, местного портного, обновки для Эдит.

Они с Эдит по–прежнему оставались очень разными людьми, с очень разными интересами, и даже теперь, через пятьдесят лет супружеской жизни, отношения между ними были далеко не идеальными. Случались минуты взаимного раздражения, как бывало на протяжении всей жизни. Но и великая любовь и сильная привязанность никуда не делись, а возможно, даже возросли теперь, когда семейных забот поубавилось. Теперь у них находилось время просто посидеть и поговорить; и они много разговаривали, особенно летними вечерами после ужина, устроившись на скамеечке на парадном крыльце или в саду среди роз. Он курил трубочку, она — сигарету (Эдит пристрастилась к курению уже в старости). Разумеется, беседовали они по большей части о семейных делах, которые неизменно интересовали обоих. Сама идея семьи, того, чего они оба практически не знали в детстве, неизменно значила для них очень много, и теперь они с радостью вживались в роль дедушки с бабушкой и старались почаще навещать внуков. Золотая свадьба, отмеченная в 1966 году с большой помпой, доставила им огромное удовольствие. Среди событий, которые стоит упомянуть, был исполненный на вечеринке в Мертон–Колледже цикл песен Дональда Суонна на стихи Толкина «Бежит дорога…». За роялем сидел сам композитор, а пел Уильям Элвин. «Это имя — добрый знак!» — заметил Толкин.

Домашнее хозяйство на Сэндфилд–Роуд было устроено далеко не идеально, и с годами, по мере того как здоровье Эдит ухудшалось, проблемы росли. Несмотря на то что Эдит все больше хромала из–за своего артрита, она сама управлялась на кухне, выполняла почти всю работу по дому и даже занималась садом. Но ей было уже под восемьдесят, и чем дальше, тем больше делалось ясно, что долго так продолжаться не может. Правда, почти каждый день на несколько часов приходила домработница, но дом был немаленький, так что забот с ним

хватало, и в то же время он был недостаточно велик, чтобы поселить в нем экономку, даже если предположить, что удастся найти подходящего человека. Сам Толкин старался как мог, чтобы помочь жене. Он неплохо умел работать руками и потому сам чинил сломавшуюся мебель или менял пробки. Однако ему с годами тоже становилось все труднее двигаться, и к началу 1968 года, когда ему исполнилось семьдесят шесть, а Эдит семьдесят девять, они решили перебраться в более подходящий дом. В этом был дополнительный плюс: предполагалось, что переезд поможет им скрыться и избавиться от навязчивых посетителей, потока писем, подарков и телефонных звонков — выносить все это дальше возможным не представлялось. Что же касается того, куда переезжать, они с Эдит обдумывали несколько вариантов в окрестностях Оксфорда. Но в конце концов остановились на Борнмуте.

Глава 2
БОРНМУТ

Надо сказать, что, даже по меркам английских приморских городишек, Борнмут — место на редкость малоприятное. Город расползся вдоль побережья россыпью неказистых домов, большая часть которых построена в конце XIX — начале XX века, и представляет собой бледное английское подобие Французской Ривьеры. Как и в большинство курортных городков южного побережья, туда стекается множество пенсионеров. Они приезжают сюда, чтобы провести последние годы жизни на дачах и виллах или в захудалых отельчиках, где зимой им очень рады, зато летом цены взлетают до небес. Старики прогуливаются по набережной вдоль Восточных или Западных утесов; посещают публичную библиотеку, зимний сад и площадку для гольфа; бродят среди сосен Боскомба или Бранксомского ущелья и в конце концов умирают.

Однако же свое предназначение Борнмут выполняет. Это место, где пожилые англичане среднего достатка могут с удобствами скоротать остаток своих дней в обществе людей своего возраста и социального положения. Эдит Толкин там очень нравилось; и не без причины, поскольку в Борнмуте она наконец–то, впервые в жизни, обзавелась большим количеством подруг.

Еще за несколько лет до того она полюбила ездить отдыхать в отель «Мирамар», расположенный на набережной в западной части города.

Отель был достаточно дорогой, но при этом комфортабельный и приятный, где селились в основном такие же люди, как и сама Эдит. После того как Толкин ушел на пенсию и перестал ежегодно ездить в Ирландию на экзамены, он тоже стал сопровождать жену в этих поездках в Борнмут и вскоре заметил, что ей там куда лучше, чем дома, в Оксфорде. Впрочем, это и не удивительно: общество в «Мирамаре» было примерно таким же, как то, в котором Эдит вращалась в доме Джессопов в Челтнеме между 1910 и 1913 годами: люди, принадлежавшие к верхушке среднего класса, достаточно состоятельные, не особенно интеллектуальные, весьма доброжелательные по отношению к себе подобным. В «Мирамаре» Эдит наконец–то почувствовала себя дома, в своей стихии, чего никогда не бывало в Оксфорде и вообще не бывало с тех пор, как она вышла замуж. Правда, многие из постояльцев отеля были знатны, богаты и весьма самоуверенны. Но в сущности все они принадлежали к одной

породе. Они отличались консервативностью, любили поговорить о своих детях и внуках, а также об общих знакомых, с удовольствием проводили большую часть дня в гостиной отеля, лишь изредка выходя прогуляться к морю, а вечером обедали, пили кофеек, смотрели девятичасовые новости в телевизионной комнате и шли баиньки. Эдит не чувствовала себя среди них ущербной — ведь теперь она была так же богата, как они; а что до знатности, то ее положение супруги всемирно известного писателя с лихвой искупало отсутствие титулов.

С практической же точки зрения, отель «Мирамар» как нельзя лучше отвечал изменившимся нуждам семейства Толкин. Теперь, когда Эдит становилось слишком трудно смотреть за домом, не было ничего проще, как заказать свой привычный номер и нанять знакомого шофера, чтобы он отвез их в Борнмут. В «Мирамаре» Эдит вскоре вновь восстанавливала силы, не говоря уже о хорошем настроении. Сам же Толкин часто бывал рад сбежать в Борнмут от рутины дома на Сэндфилд–Роуд и отчаяния, в которое он впадал от собственной неспособности закончить работу.

Сам он в «Мирамаре» себя особо счастливым не чувствовал. Он не разделял любви Эдит к тому типу людей, которые, по словам Льюиса, предпочитают «не беседовать, а рассказывать», и, хотя временами среди постояльцев отеля попадались мужчины, с которыми было о чем поговорить, по большей части он чувствовал себя точно в клетке, и это вгоняло его в молчаливый бессильный гнев. Однако в прочих отношениях поездки в Борнмут шли ему на пользу. В своем номере в отеле он мог работать ничуть не хуже (или ничуть не лучше), чем на Сэндфилд–Роуд, — разумеется, при условии, что он не забывал захватить с собой все необходимые записи, что, увы, случалось не всегда. В отеле было уютно, местная кухня ему тоже нравилась. Они с Эдит нашли себе местного доктора, который с неизменной доброжелательностью приходил на помощь, если кто–то из них неважно себя чувствовал. В городке была католическая церковь, и притом недалеко от отеля. Отель стоял близко от моря, которое Толкин так любил, — хотя, конечно, это море на его вкус было чересчур «ручным». И главное, он видел, что Эдит счастлива. Так что супруги продолжали регулярно ездить в Борнмут, и потому нет ничего удивительного в том, что, когда встал вопрос о переезде, они решили подыскать себе что–нибудь неподалеку от «Мирамара».

«Дом, в котором он живет, просто кошмарен — я вам передать не могу, насколько кошмарен, и картины на стенах тоже кошмарны». У. Х.

Оден сказал это на собрании Толкиновского общества в Нью–

Йорке, и в январе 1966 эти слова перепечатала одна из лондонских газет. Толкин прочел это и заметил: «Поскольку он был у нас всего раз, и то несколько лет тому назад, и весь его визит ограничился тем, что он зашел к Эдит и попил чаю, он, наверно, просто что–нибудь перепутал — если вообще говорил такое». Это была достаточно спокойная реакция на такое оскорбительное замечание, и, выразив поначалу легкое неудовольствие в письме к Одену, Толкин продолжал дружить и переписываться с ним как ни в чем не бывало.

Вздорное замечание Одена отнюдь не соответствовало истине. Дом на Сэндфилд–Роуд, который он имел в виду, был ничем не хуже прочих домов на этой невыразительной, скромной улице, и картины, украшавшие стены гостиной Эдит, ничем не отличались от тех, что висели на стенах любого дома в округе. Но очевидно, именно это и хотел сказать Оден. Человек утонченных вкусов, он был поражен кажущейся тривиальностью обихода Толкина и заурядностью этого пригородного дома. Нельзя сказать, что этот обиход полностью отражал личные пристрастия Толкина, — но в то же время Толкин не имел ничего против. Был в его характере некий особый аскетизм, который позволял просто не замечать всего этого. Об этом следует помнить, берясь судить о жизни, которую Толкин вел в Борнмуте с 1968–го по конец 1971 года.

Они с Эдит купили одноэтажный коттедж в нескольких минутах езды на такси от «Мирамара». Нетрудно представить, что сказал бы Оден об этом обычнейшем современном домике, номер 19 по Лейксайд–Роуд: в его понимании этот дом был не менее «кошмарен», чем тот, в Хедингтоне. Но с точки зрения Толкинов — обоих Толкинов, — это было именно то, что нужно. Там имелась хорошо оборудованная кухня, где Эдит могла готовить без особого труда, несмотря на то что она все больше и больше сдавала; и, помимо гостиной, столовой и спальни для каждого из них, там нашлась комната и для рабочего кабинета Толкина; а гараж на две машины тоже не составляло труда переоборудовать под библиотеку–кабинет, как на Сэндфилд–Роуд. В доме имелось центральное отопление, которого у Толкинов никогда раньше не водилось, а снаружи — веранда, где можно было сидеть и курить по вечерам, большой сад, где с избытком хватало места для всех их роз и даже для кое–каких овощей. Калитка в дальнем конце сада выходила в заросший лесом овраг, известный как Бранксомское ущелье, который спускался к морю. Их соседи–католики иногда подвозили Толкина в церковь на своей машине. К ним каждый день ходила домработница, и отель «Мирамар» тоже оказался под рукой: там могли селиться друзья и

родственники, приехавшие повидать Толкинов, туда можно было ходить обедать, и там же иногда можно было ночевать, когда Эдит нуждалась в отдыхе от домашних хлопот.

Конечно, переезд в Борнмут потребовал некоторого самопожертвования со стороны Толкина. Ему не очень хотелось уезжать из Оксфорда, он понимал, что почти полностью «отрезает» себя от семьи и близких друзей. И к тому же теперь, как и тогда, когда он вышел на пенсию и поселился в Хедингтоне, реальность оказалась несколько хуже того, чего он ожидал. «Я себя чувствую вполне нормально, — писал он Кристоферу через год после переезда в Борнмут. — И все–таки… и все–таки. Я совсем не вижусь с людьми своего круга. Мне не хватает Нормана. И в первую очередь мне не хватает тебя».

Но это самопожертвование преследовало определенную цель — и цель оказалась достигнута. На Лейксайд–Роуд Эдит была счастлива — так же счастлива, как на отдыхе в «Мирамаре», и уж точно счастливее, чем за все время замужества. Помимо того, что новый дом оказался куда уютнее и здесь ей не приходилось карабкаться по лестницам, она получала большое удовольствие от поездок в «Мирамар» и общения с подругами. Она перестала быть застенчивой, неуверенной в себе, нервной женой оксфордского профессора и снова сделалась самой собой: общительной и веселой мисс Брэтт челнтемских времен. Она вернулась в свою стихию.

Да и для самого Толкина жизнь в целом сделалась лучше. Сознание того, что Эдит счастлива, было очень важно для него, и это отразилось на его состоянии духа, так что в дневнике, который он вел в Борнмуте, правда, очень недолго, почти незаметно того уныния, которое нередко охватывало его на Сэндфилд–Роуд. Отсутствие «людей его круга» отчасти возмещалось частыми приездами родных и друзей, а почти полное исчезновение назойливых поклонников (поскольку адрес и телефон Толкина и даже тот факт, что он проживает на южном побережье, удалось благополучно сохранить в тайне) означало, что он сможет больше времени уделять работе. Некоторую часть секретарских обязанностей взяла на себя жена доктора, и вдобавок к Толкину регулярно приезжала Джой Хилл, сотрудница «Аллен энд Анвин», которая помогала ему разбираться с письмами. Переезд в Борнмут поначалу осложнился тем, что Толкин упал с лестницы на Сэндфилд–Роуд и серьезно повредил ногу, так что ему пришлось провести несколько недель в больнице и еще гораздо дольше проходить в гипсе; но, оправившись, он мог, хотя бы теоретически, всерьез взяться за «Сильмариллион».

Но решить, с чего начать, оказалось чрезвычайно трудно. В определенном смысле работы осталось всего ничего. Сюжет «Сильмариллиона» был завершен — если слово «сюжет» применимо к произведению, которое начинается с сотворения мира, а рассказывает в основном о борьбе между эльфами и изначальным злом. Чтобы получилось связное повествование, Толкину оставалось всего–навсего решить, какую из версий каждой главы следует использовать: ведь большинство глав существовали во множестве вариантов, от наиболее ранних работ, восходящих чуть ли не к 1917 году, до отрывков, написанных совсем недавно. Но выбор требовал принятия такого множества решений, что Толкин просто не знал, как тут подступиться. И даже если бы ему удалось завершить эту часть работы, предстояло еще привести отдельные главы в соответствие между собой. Многочисленные изменения, внесенные за десятки лет, создали изрядную путаницу. В одном месте имена персонажей были изменены, в другом — нет. Описания местности не совпадали друг с другом. А хуже всего было то, что и сами рукописи размножились, так что Толкин уже не знал доподлинно, в которой из них содержится его окончательная точка зрения на тот или иной вопрос. В последние годы он для надежности печатал каждый текст в двух экземплярах и держал копии в разных местах. Но он никак не мог решить, которая из копий является рабочей, и потому вносил поправки то в одну, то в другую, и эти поправки зачастую противоречили друг другу. Для того чтобы создать согласованный, выверенный текст, Толкину предстояло придирчиво сличить и сопоставить все существующие рукописи, и одна только мысль об этом приводила его в ужас.

Помимо этого, Толкин был до сих пор не уверен, в каком виде следует оформить все произведение в целом. Он склонялся к тому, чтобы отказаться от первоначального обрамления, истории морестранника, которому и рассказывались все эти истории. Но не следует ли подыскать другое обрамление в том же духе? Или достаточно будет просто представить все это как мифологию, что смутно маячит на заднем плане «Властелина Колец»? Кстати, что касается «Властелина Колец»: Толкин еще более усложнил свою задачу, введя в роман нескольких важных персонажей, таких, как эльфийская королева Галадриэль или древовидные энты, которые первоначально в «Сильмариллионе» не фигурировали, но теперь их никак нельзя было не упомянуть. К тому времени Толкин успел найти приемлемое решение обеих проблем, однако он знал: ему еще придется позаботиться о том, чтобы «Сильмариллион» ни в чем, вплоть до мельчайших подробностей, не противоречил «Властелину Колец» — иначе Толкина просто завалили бы

письмами с указаниями на несоответствия. Но, невзирая на то, что перед ним стояли все эти устрашающие технические проблемы, Толкин подумывал еще и о том, чтобы пересмотреть некоторые основополагающие аспекты сюжета, изменение которых означало бы, что книгу придется переписывать с самого начала.

К лету 1971–го, после трех лет в Борнмуте, работа наконец–то пошла, хотя Толкин, как всегда, частенько отвлекался на детали, забывая о необходимости выверять общий план. Какую форму, спрашивал он себя, примет данное конкретное имя? А этот вопрос вел к необходимости пересмотра какого–либо аспекта эльфийских языков… И даже когда он садился что–то писать, это, как правило, было связано не с обработкой повествования, а с огромной массой побочного материала, накопившегося к тому времени. Немалая часть этого материала излагалась в форме эссе, посвященных тому, что можно было бы назвать «техническими» аспектами мифологии, такими, как соотношение процессов старения у эльфов и людей или смертность животных и растений в Средиземье. Толкин ощущал, что каждая деталь

этой вселенной заслуживает пристального внимания, не важно, будут эти эссе опубликованы или нет. Со–творение сделалось достаточно благодарным занятием само по себе, не имеющим отношения к желанию увидеть свое произведение напечатанным.

Иногда Толкин подолгу просиживал за столом; но в другие дни он вскоре принимался раскладывать пасьянс и переставал даже делать вид, что работает. А потом — сытный обед в «Мирамаре», запитый доброй толикой вина, и что с того, если ему не хотелось после этого браться за работу? Ждали книгу — пусть еще подождут. Ему спешить некуда!

Однако в другие дни он отчаивался, видя, что время утекает, как вода, а книга все еще не окончена. А в конце 1971 года борнмутской жизни внезапно пришел конец. Эдит, которой тогда было восемьдесят два года, в середине ноября заболела острым холециститом. Ее увезли в больницу, и в ночь на понедельник, 29 ноября, через несколько дней тяжелой болезни, она скончалась.

Глава 3
МЕРТОН–СТРИТ

После того как Толкин немного оправился от первого потрясения, вызванного смертью Эдит, для него не могло идти и речи о том, чтобы остаться в Борнмуте. Естественно, он намеревался вернуться в Оксфорд, но поначалу было не очень понятно, как это устроить. Но тут Мертон–Колледж предложил ему поселиться в здании колледжа на Мертон–Стрит в качестве почетного члена колледжа. Толкину предоставили несколько комнат, а заботиться о нем назначили скаута и его жену. Это была редкая честь и идеальный выход из положения. Толкин принял предложение с большим энтузиазмом и, прожив несколько недель у родных, в начале марта 1972 года перебрался в дом 21 по Мертон–Стрит. В процессе переезда он, как обычно, успел подружиться с тремя грузчиками, перевозившими вещи, и приехал с ними из Борнмута в Оксфорд в их же фургоне.

Квартира на Мертон–Стрит состояла из просторной гостиной, спальни и ванной. В цокольном этаже жили Чарли Карр, скаут из колледжа, назначенный прислуживать Толкину, и его жена. Карры были очень добры к Толкину. Они не только подавали ему завтрак в комнаты, что входило в их официальные обязанности, но и готовили ему обед и ужин, если Толкин плохо себя чувствовал или ему просто не хотелось обедать в колледже. В принципе, вместо того чтобы столоваться в Мертоне, можно было еще сходить в соседнюю гостиницу «Восточные ворота», которая сильно изменилась с тех пор, как он обедал там в тридцатые годы с Льюисом, и перестала быть дешевой; однако теперь Толкин был богат и мог позволить себе пировать там сколько угодно. Тем не менее он часто ходил есть в колледж. Ему там полагались бесплатные ланчи и ужины, и в профессорской ему всегда были рады.

Так что в целом образ жизни Толкина в 1972—1973 годах был ему вполне по вкусу. Смерть Эдит явилась для него ужасным потрясением, и теперь он остался практически совсем один; зато он обрел такую свободу, какой не видел с незапамятных времен, и мог позволить себе жить так, как ему заблагорассудится. Как Борнмут стал в определенном смысле наградой Эдит за все, что ей пришлось вынести в первые годы брака, так и для Толкина это почти холостяцкое существование на Мертон–Стрит стало словно наградой за терпение, проявленное в Борнмуте.

О том, чтобы сидеть сложа руки, не могло быть и речи.

Толкин часто бывал в деревне близ Оксфорда, где жил Кристофер со своей второй женой Бэйли, и, в компании их детей, Адама и Рэйчел, забыв о прострелe, бегал по газону, играя в какую–нибудь игру, или закидывал спичечный коробок на высокое дерево и сбивал его оттуда камнями, забавляя малышей. Отдохнул в Сидмуте с Присциллой и внуком Саймоном. Навестил у старого друга по ЧКБО Кристофера Уайзмена. Провел несколько недель у Джона в его приходе в Стоук–он–Тренте и вместе с Джоном съездил в гости к своему брату Хилари, по–прежнему жившему на ферме в Ившеме.

Рональд и Хилари теперь походили друг на друга даже больше, чем в юности. Сливовые деревья за окном, с которых Хилари терпеливо собирал урожай более сорока лет, теперь состарились и почти не плодоносили. По–хорошему, следовало бы их вырубить и насадить на этом месте молодые саженцы. Но Хилари был уже староват, чтобы возиться с таким делом, и потому старые сливы мирно доживали свой век. Престарелые братья смотрели по телевизору крикет и теннис и пили виски.

Эти два года жизни Толкина были счастливыми еще и потому, что его осыпали почестями. Он получал множество приглашений посетить американские университеты и получить почетные докторские степени, однако чувствовал, что путешествие в Америку окажется для него слишком тяжелым. Однако и в своем отечестве его не обходили наградами. В июне 1973–го Толкин посетил Эдинбург, где ему присвоили очередную почетную степень; и он был несказанно тронут, когда весной предыдущего года его пригласили в Букингемский дворец и сама королева вручила ему орден Британской империи второй степени. Но возможно, дороже всего его сердцу была почетная степень доктора литературы, которую он получил в июне 1972 года от своего родного Оксфордского университета. Коллеги особо подчеркнули, что почетная степень присваивается ему не за «Властелина Колец», а за вклад в филологию. Тем не менее на церемонии получения степени речь официального оратора (обязанности которого исполнял старый друг Толкина Колин Харди) была пересыпана упоминаниями о хрониках Средиземья, и в конце речи оратор выразил надежду, что, «поскольку дорога бежит все вперед и деревья одеваются листвой, Толкин наконец–то добудет из своих запасов «Сильмариллион» и новые ученые труды».

Что же до «Сильмариллиона», месяцы шли за месяцами, а дело не двигалось. Сперва Толкину пришлось потратить немало времени на то, чтобы разобрать книги и бумаги после переезда из Борнмута; а взявшись наконец за работу, он снова увяз в

технических проблемах. Толкин еще несколько лет назад решил, что, буде он умрет, не закончив своего труда, его подготовит к публикации Кристофер (который, разумеется, был посвящен во все связанное со Средиземьем). Они с Кристофером часто обсуждали книгу и обдумывали многочисленные проблемы, которые еще предстояло разрешить; но далеко не продвинулись.

Толкин почти наверняка не рассчитывал, что умрет так скоро. Он говорил своей бывшей ученице, Мари Салю, что его предки все были долгожителями, и полагал, что у него впереди еще немало лет. Но в конце 1972–го раздались первые предупреждающие звоночки. Толкин начал сильно страдать от несварения желудка, и, хотя рентген не выявил ничего более устрашающего, чем диспепсия, Толкина все же посадили на диету и строго–настрого запретили пить вино. И, невзирая на то, что его работа по–прежнему оставалась неоконченной, похоже было, что ему не улыбается перспектива прожить еще много лет на Мертон–Стрит.

«Мне часто бывает очень одиноко, — писал он своей престарелой кузине Марджори Инклдон. — После окончания триместра, когда студенты разъезжаются, я остаюсь один–одинешенек в огромном здании, если не считать смотрителя с женой где–то внизу, в цокольном этаже».

Правда, у него постоянно бывали гости: родственники, старые друзья, Джой Хилл из «Аллен энд Анвин», помогавшая разбираться с почтой. То и дело приходилось решать какие–то вопросы с Рейнером Анвином или с Диком Уильямсоном, нотариусом Толкина и его советником по многим вопросам. А по утрам в воскресенье он обязательно ездил на такси в хедингтонскую церковь, а потом на могилу Эдит на Вулверкотском кладбище. Но горечь одиночества не проходила.

Летом 1973 года многие близкие замечали, что Толкин сделался печальнее обычного и, похоже, начал быстро сдавать. Однако же диета, по всей видимости, пошла ему на пользу, и в июле он поехал в Кембридж, на обед в «Ad Eundem», межуниверситетский клуб. 25 августа он написал запоздалое благодарственное письмо пригласившему его профессору Глину Дэниэлу:

> «Дорогой Дэниэл!
> С 20 июля прошло уже немало времени, но, надеюсь, лучше поздно, чем никогда, и я делаю то, что мне следовало сделать, прежде чем уходить с головой в другие дела: благодарю вас за великолепный обед в Сент–Джонзе, а особенно за терпение и доброту, с

какими вы отнеслись ко мне лично. Это был знаменательный день! Никаких неприятных последствий; так что я смог после этого отбросить большую часть табу на еду, которые соблюдал около полугода.

С нетерпением жду следующего обеда в АЕ и надеюсь, что вы там тоже будете.

Искренне ваш, Рональд Толкин».

А через три дня после того, как это письмо было отправлено, во вторник, 28 августа, Толкин поехал в Борнмут, в гости к Денису и Джослин Толхерстам, доктору, который лечил их с Эдит, пока они жили в Борнмуте, и его жене.

Развязка наступила быстро. В четверг он присутствовал на вечеринке в честь дня рождения миссис Толхерст. Он чувствовал себя не очень хорошо и ел мало, но выпил немного шампанского. Ночью ему стало плохо, и на следующее утро его доставили в частную клинику. У него обнаружили острую язву желудка с кровотечением. Майкл в то время отдыхал в Швейцарии, а Кристофер — во Франции, так что оба не могли успеть вернуться, но Джон с Присциллой приехали в Борнмут, чтобы быть с отцом. Поначалу прогнозы были довольно оптимистичные, но к субботе развился плеврит, и в ночь на воскресенье, 2 сентября 1973 года, в возрасте восьмидесяти одного года Толкин скончался.

Часть 8
ДЕРЕВО

В наше время стало модным рассматривать «Инклингов», дружескую компанию, которая в тридцатые–сороковые годы собиралась по четвергам в Модлин–Колледже, как единый конгломерат авторов, которые взаимно влияли друг на друга. Вы можете соглашаться или не соглашаться с этим мнением, но, если будете в Оксфорде, вам, возможно, захочется побывать на могилах трех известнейших инклингов К. С. Льюиса, Чарльза Уильямса и Дж. Р. Р. Толкина.

Могилу Льюиса вы найдете на кладбище при церкви его прихода, Хедингтон–Кворри. На могиле, в которой похоронены Льюис и его брат, майор У. Х. Льюис, лежит простая каменная плита. На плите высечен незамысловатый крест и слова: «Люди должны смириться с тем, что им придется уйти отсюда».

Уильямс лежит под стеной церкви Святого Креста в центре Оксфорда. Неподалеку похоронен также Хью Дайсон, еще один инклинг. На этом кладбище вообще много могил университетских преподавателей их поколения.

Льюис и Уильямс принадлежали к англиканской церкви. А католическое кладбище в Оксфорде теперь только одно — муниципальное кладбище в Вулверкоте, где выделен небольшой участок для католиков. Так что, для того чтобы найти третью могилу, вам придется оставить центр города далеко позади, миновать магазины и кольцевую автодорогу и дойти до высоких железных ворот. Пройдете в ворота, мимо часовни, через несколько акров других могил, и наконец выйдете к участку, где немало могил принадлежат полякам: здесь хоронят католиков, а большинство католиков в Англии — эмигранты. На многих могилах — остекленные фотографии тех, кто в них похоронен, и цветистые надписи. А потому простая серая плита из корнуэльского гранита с левой стороны сразу бросается в глаза; бросается в глаза и слегка необычная надпись на ней: «Эдит Мэри Толкин, Лутиэн, 1889—1971. Джон Рональд Руэл Толкин, Берен, 1892–1973».

Вокруг кладбища — обычный пригород, совсем не похожий на английскую деревню, которую так любил Толкин, но не особо отличающийся от тех мест, в которых он провел большую часть своей жизни. Так что даже после его смерти эта скромная могила на городском кладбище напоминает нам о противоречии между неприметной жизнью, которую он вел, и ослепительным

воображением, создавшим его мифологию.

Откуда же оно, это воображение, сотворившее Средиземье и населившее его эльфами, орками и хоббитами? Где источник видений, озарявших жизнь скромного ученого? И почему эти видения так потрясли умы и совпали со стремлениями бесчисленных читателей со всего света?

Сам Толкин сказал бы, что ответить на эти вопросы невозможно — по крайней мере, в книге, подобной этой. Он вообще не одобрял использования биографии для толкования литературных произведений и, возможно, был прав. Его настоящая биография — это «Хоббит», «Властелин Колец» и «Сильмариллион», ибо истинная правда о нем содержится в этих книгах.

Но возможно, он был бы не против эпитафии.

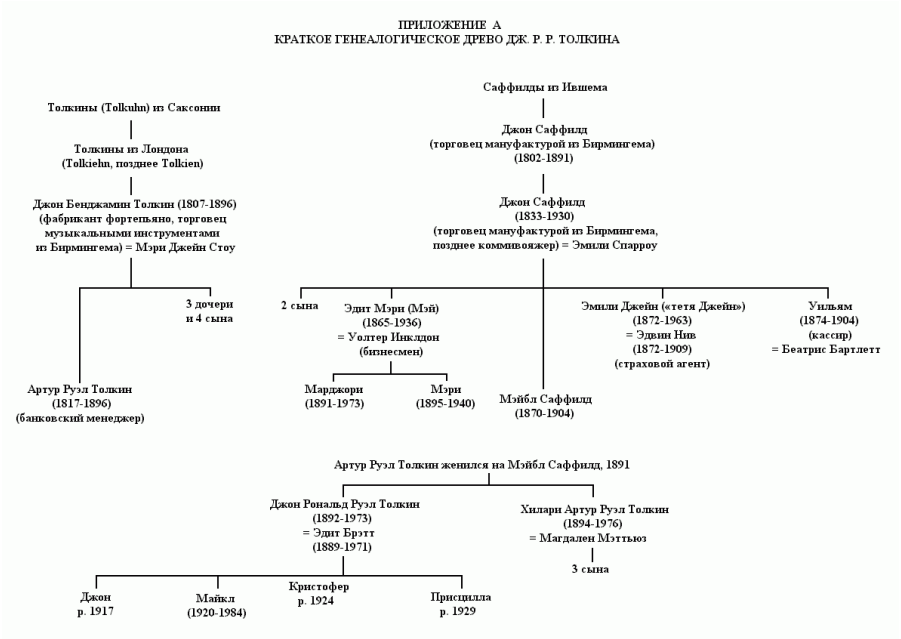
Отпевание Толкина состоялось в Оксфорде, через четыре дня после его смерти, в скромной современной церкви в Хедингтоне, где он так часто бывал у мессы. Молитвы и чтения были специально отобраны его сыном Джоном, который и служил мессу с помощью старого друга Толкина, отца Роберта Марри, и приходского священника Дорана. Проповеди не было, и цитаты из его произведений не звучали. Однако, когда через несколько недель несколько его американских поклонников служили в Калифорнии поминальный молебен, перед собравшимися зачитали короткую сказку Толкина «Лист работы Ниггля». Возможно, он и сам счел бы это уместным.

«Перед ним стояло Дерево, его Дерево, полностью законченное. И это Дерево было живым. Его листья как раз распускались, а ветви трепетали под ветром — именно так, как представлял себе Ниггль. Он часто пытался это передать — но тщетно. Ниггль, не сводя глаз с Дерева, медленно раскинул руки.

— Это дар! — воскликнул он».

ПРИЛОЖЕНИЯ

КРАТКОЕ ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОЕ ДЕРЕВО



ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ ЖИЗНИ ДЖ. Р. Р. ТОЛКИНА

1892 — 3 января в Блумфонтейне родился Джон Рональд Руэл Толкин.

1894 — рождение младшего брата Хилари.

1895 — весной Мэйбл Толкин увозит мальчиков в Англию, Артур Толкин остается в Южной Африке.

1896 — в феврале умирает Артур Толкин. Летом Мэйбл Толкин снимает домик в Сэрхоуле под Бирмингемом. Они с мальчиками прожили там четыре года.

1900 — Мэйбл Толкин принята в лоно католической церкви. Они с мальчиками переезжают из Сэрхоула в дом в Моузли, пригороде Бирмингема. Рональд поступает в школу короля Эдуарда.

1901 — Мэйбл с мальчиками переезжают из Моузли в Кингз–Хит.

1902 — Мэйбл с мальчиками переезжают из Кингз–Хита на Оливер–Роуд в Эджбастоне. Рональд с Хилари зачислены в классическую школу Святого Филиппа.

1903 — Мэйбл забирает мальчиков из школы Святого Филиппа. Рональд получает стипендию в школе короля Эдуарда и осенью возвращается туда.

1904 — в начале года у Мэйбл Толкин обнаруживают диабет. Она на несколько недель ложится в больницу. Летом они с мальчиками отдыхают в Реднэле. В ноябре она умирает в возрасте тридцати четырех лет.

1905 — мальчики переселяются в дом своей тети Беатрис на Стерлинг–Роуд.

1908 — мальчики переселяются в дом миссис Фолкнер на Дачис–Роуд. Рональд знакомится с Эдит Брэтт.

1909 — осенью о романе Рональда и Эдит Брэтт становится известно отцу Френсису Моргану. Рональду не удается сдать экзамен на стипендию в Оксфорде.

1910 — Рональд и Хилари переезжают на новую квартиру. Рональд продолжает встречаться с Эдит Брэтт, но потом опекун запрещает ему как–либо общаться с ней. В марте Эдит уезжает из Бирмингема в Челтнем. В декабре Рональд получает открытую стипендию в Эксетер–Колледже в Оксфорде.

1911 — возникновение ЧКБО. Летом Рональд заканчивает школу. Посещает Швейцарию. Осень — его первый триместр в Оксфорде. Рождество — Рональд принимает участие в

представлении «Соперников» в школе короля Эдуарда.

1913 — в январе Рональду исполняется двадцать один год. Он воссоединяется с Эдит Брэтт. В феврале он сдает промежуточный экзамен на степень бакалавра и получает второй класс отличия. Летом он переходит на факультет английского языка и литературы. Посещает Францию с семьей мексиканцев.

1914 — в январе Эдит принята в лоно католической церкви. Они с Рональдом заключают официальную помолвку. Летом Рональд посещает Корнуолл. После начала войны решает вернуться в Оксфорд, завершить образование и получить степень бакалавра.

1915 — летом он сдает окончательный экзамен на степень бакалавра с отличием первого класса. Получив чин в полку ланкаширских стрелков, проходит подготовку в Бедфорде и Стаффордшире.

1916 — 22 марта они с Эдит вступают в брак. Эдит переезжает в Грейт–Хейвуд. В июне Толкина отсылают во Францию. Он попадает на Сомму в чине младшего лейтенанта 11–го батальона полка ланкаширских стрелков и до осени служит батальонным офицером–связистом. В ноябре он заболевает «окопной лихорадкой» и возвращается в Англию.

1917 — январь—февраль: во время выздоровления в Грейт–Хейвуде он начинает писать «Книгу утраченных сказаний», которая со временем превратится в «Сильмариллион». Весной его отсылают в Йоркшир, но он по–прежнему большую часть времени проводит в госпитале. В ноябре рождается старший сын, Джон.

1918 — Толкина, получившего чин лейтенанта, переводят в гарнизон Хамбера, потом в Стаффордшир. В ноябре, после прекращения военных действий, он возвращается с семьей в Оксфорд и поступает в штат составителей «Нового словаря английского языка».

1919 — он начинает работать внештатным наставником. Они с Эдит переезжают в дом 1 по Альфред–Стрит.

1920 — он назначен преподавателем английского языка в Лидском университете и осенью начинает там работать. Рождается второй сын, Майкл.

1921 — Эдит с семьей переезжают к нему в Лидс и в конце концов поселяются в доме 11 по Сент–Маркс–Террас.

1922 — в Лидский университет поступает на работу Э. В. Гордон. Они с Толкином начинают готовить издание «Сэра Гавейна и Зеленого Рыцаря».

1924 — Толкин становится профессором английского языка Лидского университета. Покупает дом на Дарнли–Роуд. Рождение третьего сына, Кристофера.

1925 — Выходит издание «Сэра Гавейна». Летом Толкин избран профессором англосаксонского в колледже Ролинсона и Бозуорта и осенью вступает в должность. Покупает дом на Нортмур–Роуд, и в начале следующего года семья возвращается в Оксфорд.

1926 — Толкин знакомится с К. С. Льюисом, и они становятся друзьями. Возникновение «Углегрызов».

1929 — рождение дочери Присциллы.

1930 — семья переезжает из дома 22 в дом 20 по Нортмур–Роуд. Примерно в это же время Толкин начинает писать «Хоббита», но оставляет его неоконченным.

1936 — выступает с лекцией «Беовульф: чудовища и критики». Сьюзен Дагналл из «Аллен энд Анвин» читает рукопись «Хоббита», и по ее совету Толкин заканчивает книгу. Книга принята к публикации.

1937 — осенью выходит «Хоббит». По совету Стэнли Анвина Толкин начинает писать продолжение, которое потом станет «Властелином Колец».

1939 — Толкин выступает с лекцией «О волшебных сказках» в университете Сент–Эндрюз. В начале войны к «Инклингам» присоединяется Чарльз Уильямс.

1945 — Толкин избран профессором английского языка и литературы в Мертон–Колледже.

1947 — Толкины переезжают на Мэнор–Роуд.

1949 — Толкин завершает «Властелин Колец». Публикация «Фермера Джайлза из Хэма».

1950 — Толкин предлагает «Властелина Колец» издательству «Коллинз». Семья переезжает с Мэнор–Роуд на Холиуэлл–Стрит.

1952 — «Коллинз» возвращает рукопись «Властелина Колец», и Толкин передает ее в «Аллен энд Анвин».

1953 — Толкины переезжают на Сэндфилд–Роуд в Хедингтоне, пригороде Оксфорда.

1954 — опубликованы первые два тома «Властелина Колец».

1955 — опубликован третий том.

1959 — Толкин выходит на пенсию.

1962 — публикация «Приключений Тома Бомбадила».

1964 — публикация книги «Дерево и лист».

1965 — «Эйс–букс» выпускает пиратское издание «Властелина Колец». «Властелин Колец» становится культовой книгой американских студентов.

1967 — публикация «Кузнеца из Большого Вуттона».

1968 — Толкины переезжают на Лейксайд–Роуд в Пуле, под Борнмутом.

1971 — в ноябре, в возрасте восьмидесяти двух лет, умирает

Эдит Толкин.

1972 — Толкин возвращается в Оксфорд, поселяется в здании Мертон–Колледжа на Мертон–Стрит. Его награждают орденом Британской империи второй степени; Оксфордский университет присваивает ему почетную степень доктора литературы.

1973 — 28 августа он едет в Борнмут, в гости к друзьям. Он заболевает и умирает в частной клинике в ночь на воскресенье, 2 сентября, в возрасте восьмидесяти одного года.

1977 — публикация «Сильмариллиона», изданного Кристофером Толкином.

ИСТОЧНИКИ И ЛЮДИ, ПОМОГАВШИЕ МНЕ В РАБОТЕ НАД КНИГОЙ

В книге я, как правило, цитировал слова Дж. Р. Р. Толкина без указания на источник цитаты. Дело в том, что таких ссылок оказалось бы слишком много, и я счел, что это будет утомительно для читателя, а поскольку большая их часть взята из неопубликованных источников, пользы от таких ссылок будет немного. Кроме того, я не отмечал отточиями пропущенные куски цитат, как это делается обычно, — по той же причине: таких отточий было бы чересчур много, и они, по моему мнению, лишь раздражали бы читателей, не давая никакой полезной информации. Моей основной целью было не перебивать повествование тем, что сам Толкин однажды назвал «следом проползшего редактора».

Ввиду отсутствия ссылок, возможно, читателя заинтересует, откуда я брал сведения. Рассказ о жизни семьи Толкинов в Блумфонтейне основан на письмах, которые Артур Толкин писал своим родителям в Англию. Детские годы в Сэрхоуле и Бирмингеме описывал сам Дж. Р. Р. Толкин в рукописных заметках, а также в интервью для газет и радио. Кроме того, мне представилась счастливая возможность встретиться с его братом, Хилари Толкином, который немало рассказал мне об их детстве и переписывался со мной в процессе работы над книгой. Увы, он так и не увидел ее завершенной: Хилари Толкин скончался в начале 1976 года. События на Дачис–Роуд упоминались в тогдашней переписке между Толкином и Эдит Брэтт, которая позднее стала его женой, а их вынужденное расставание описано в дневнике, который он вел в течение некоторого времени в тот период. После того как молодые люди воссоединились, они продолжали переписываться вплоть до того момента, когда наконец смогли поселиться вместе в конце 1918 года, и несколько сотен писем, написанных ими друг другу в этот период, оказались ценным источником сведений о студенческих годах Толкина и о его военной службе в армии. О возникновении ЧКБО мне поведал Кристофер Уайзмен, чья дружеская помощь и поддержка доставили мне немало приятных минут во время работы над книгой. События, происходившие с Толкином во Франции во время Первой мировой, были зафиксированы им в беглых записях в дневнике, и этот дневник, вместе с «Историей ланкаширских стрелков, 1914—1918» генерал–майора Дж. С. Латтера [J. C. Latter «History of the Lancashire Fusiliers, 1914—1918», Aldershot, 1949] и

«Соммой» Джона Харриса [John Harris «The Somme», London, 1966] помог мне восстановить подробную картину его военной службы. Между 1919–м и 1933–м Толкин вел дневник в течение достаточно длительных периодов, используя при этом свои алфавиты, и этот дневник послужил мне основным источником информации об этом этапе его жизни. Что же касается последующих лет, я брал сведения из его переписки с семьей, с друзьями, с издателями и с читателями; и опять–таки из дневников, которые он вел более или менее регулярно с 1964 года до конца жизни. И наконец, я использовал автобиографические сведения, которые Толкин приводит в своих опубликованных произведениях, в первую очередь в эссе «О волшебных сказках» и лекции «Английский и валлийский».

Дневники, письма и другие бумаги были любезно предоставлены мне сыновьями и дочерью профессора Толкина, а потому мне в первую очередь хотелось бы выразить признательность именно им: преподобному Джону Толкину, Майклу Толкину, Кристоферу Толкину и Присцилле Толкин. Помимо документов, все они уделили мне немало своего личного времени и внимания; они обсуждали со мной жизнь своего отца и высказывали свое мнение по поводу рукописи этой книги. В течение всего времени, что я работал над этим проектом, они не жалели для меня доброго слова, дружеской помощи и поддержки.

Душеприказчики профессора Толкина также оказывали мне любую мыслимую помощь; они и издательство «Аллен энд Анвин» любезно разрешили мне цитировать как опубликованные, так и неопубликованные произведения Толкина.

Очень многие люди рассказывали или писали о своих встречах с профессором Толкином. Свои воспоминания они присылали мне или Энн Бонсор, любезно разрешившей мне воспользоваться магнитофонными записями, которые она сделала во время подготовки цикла радиопередач о жизни Толкина. Итак, я приношу благодарность: Рейнеру Анвину, профессору Симонне д'Арденн, Оуэну Барфилду, покойному Джону Брайсону, покойному Хью Дайсону, профессору Норману Дэвису и его супруге, Элейн Гриффитс, профессору Невиллу Когхиллу, преподобному Роберту Марри, покойному преподобному Джирвейсу Мэттью, Мари Салю, Дональду Суонну, Бэйли Толкин, доктору Денису Толхерсту, покойному Мильтону Уолдману, Дику Уильямсону и Джой Хилл. Некоторые из вышеперечисленных также были столь любезны, что согласились прочесть рукопись книги и высказать свое мнение.

Я очень признателен также многим другим родственникам профессора Толкина, кроме тех, что были уже упомянуты, за

доброжелательность и разнообразную помощь. Я благодарен также за предоставленное в мое распоряжение множество семейных фотографий и за разрешение их опубликовать.

Кроме того, мне помогали также многие другие люди, и я должен поблагодарить в числе прочих К. Тэлбота д'Алессандро, сэра Бэзила Блэкуэлла, К. Х. К. Бланта и Нормана Крейга из школы короля Эдуарда в Бирмингеме, Джулиет Гриндл, Глена и Бонни Гуднайт, Алин Дэдлес, профессора Глина Дэниэла, его высокопреподобие Паскаля Дийона, Гая Кея, Джессику Кембалл–Кук, профессора Клайда С. Килби, преподобного Р. П. Линча и его высокопреподобие К. Дж. Г. Уинтертона из Бирмингемской Молельни, мистера Майкла Маклагана и его супругу, Э. К. Маффетта, Оливера Саффилда, Грэма Тэйера, Гвендолайн Уильямс, Чарльза Ферта, мистера Дэвида Филипса и его супругу, преподобного Уолтера Хупера, Джонатана Эйнлея, и директора классической школы Святого Филиппа в Бирмингеме. Бренда Гудалл из «Суперкопи» (Оксфорд) очень помогла мне с ксерокопированием.

Я приношу благодарность также душеприказчикам покойного К. С. Льюиса за разрешение цитировать его письма к Толкину. Авторские права на письмо У. Х. Одена контролируются «Наследием У. Х. Одена».

Готовясь к работе над книгой, я побывал в университете Маркетта в Милуоки, США, в архивах которого хранится большинство рукописей литературных произведений Дж. Р. Р. Толкина. В университете Маркетта большую любезность по отношению ко мне проявили Пол Гратке, преподобный Роберт Каллен и преподобный Рафаэль Гамильтон. Я должен также поблагодарить несколько британских библиотек: Бодлианскую библиотеку, библиотеку Имперского военного музея, публичную библиотеку Ившема и ее библиотекаря Кейт Барбер и Бразертонскую библиотеку Лидского университета.

Я пользовался многими книгами, которые также очень помогли мне в работе, в первую очередь книгами К. С. Льюиса «Настигнут радостью», «Любовь» и собранием его писем, а также биографией Льюиса, написанной Роджером Ланслином Грином и Уолтером Хупером. Я использовал и другие книги, такие, как «Жизнь Джозефа Райта» Э. М. Райт [E. M. Wright. The Life of Joseph Wright. Oxford, 1932], «Расцвет изучения английского языка и литературы» Д. Дж. Палмера [D. J. Palmer. The Rise of English Studies. Oxford, 1965], «Критические работы о Толкине: библиографический справочник» Ричарда К. Уэста [Richard C. West «Tolkien Criticism: An Annotated Checklist», Kent State University Press] и «Путеводитель по Средиземью» Роберта

Фостера [Robert Foster «A Guide to Middle–Earth», New York, 1974]. Я признателен также многим журналистам, бравшим интервью у Толкина, чьими интервью я также пользовался.

Я должен поблагодарить также моих родных, которые читали книгу и давали ценные советы, и мою жену Мари Причард, которая, помимо того, что помогала мне советами, выполнила большую часть работы по «расшифровке» дневника, записанного разными придуманными алфавитами, который Толкин вел с 1919–го по 1933 год.

О Кристофере Толкине я уже упоминал выше, однако все же не могу не сказать о своей особой признательности ему. В качестве литературного душеприказчика своего отца ему пришлось взять на себя колоссальный труд по подготовке к публикации «Сильмариллиона». И в разгар этой работы он находил время помогать мне и вносил принципиально важные, бесценные замечания, которые оказали значительно влияние на окончательный облик книги. Более того, он, его жена Бэйли и его дети, Адам и Рейчел, принимали меня в своем доме пять дней в неделю в течение почти что восьми месяцев, пока я имел дело со множеством документов и рукописей, находившихся тогда у них дома. Благодаря их неизменной доброжелательности моя работа была мне в радость.